

Олег Сенин

*«Горюша моя ясная...»*

*Любовь и вера из-за решетки*

*г. Тула, 2013*

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84 (2Рос=Рус)**  
**С31**

**С31    Сенин О.**  
**Горюша моя ясная...: Проза, стихи. – Тула:**  
**ООО «Имидж Принт», 2013. – 384 с.**

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84 (2Рос=Рус)**

© Сенин О., 2013  
© ООО «Имидж Принт», 2013

*Посвящается моим милым внукам  
Александрине и Карине*

\*\*\*

Журавлю перебили крыло.  
Кареглазый, худой, неповинный,  
Он с тоскою смотрел, как несло  
Сине небо его половину,  
Как владел властелин оком  
Ее тонко очерченным телом,  
А она беспокойно смотрела  
В пустоту, где летели вдвоем.

Вот и я в казематах темницы  
Без тебя, без покоя и власти,  
Лбом к виску твоему прислониться  
Здесь почел бы за высшее счастье.

А в осенних туманах земли  
Как в безлунном саду хризантема,  
Вечно грустной скрипичною темой  
Дрогнешь ты в ожиданьи зари.

\*\*\*

## Предисловие

С августа 1969 года по март 1974 за организованную антисоветскую деятельность я отбывал наказание в лагерьях для особо опасных государственных преступников. Лагпункты числом около 10 находились в Мордовии и были объединены общим названием – «Дубравлаг». На момент ареста я работал следователем прокуратуры Советского района г. Рязани, был женат. Моей доченьке Алёне к тому времени не исполнилось и полтора годика. Рита, моя жена, училась в Московском университете (МГУ) на историческом факультете. Чувство любви к ним, к родителям, всем, кто мне был дорог, стало для меня истинным спасением в годы заключения. Переписка, редкие свидания не дали угаснуть. Странички писем к Рите сделались для меня своего рода лирическим дневником, исповеданием сердца. Из зоны строгого режима, где я обретался, разрешалось отправлять не более двух писем в месяц, между тем сказать хотелось о многом, поэтому они получались довольно большими. Благодарю Бога, что почти все письма уцелели. Готовя их к изданию, я что-то слегка поправлял, значительную часть из них сократил из-за повторов, но при этом старался сохранить цельную картину моих переживаний и раздумий тех лет.

Письма из зоны проходили обязательную цензуру.

Поэтому в них почти отсутствовали какие-либо сведения о лагерной обстановке и людях, меня окружавших. Восполняют пробел, написанные мной небольшие главки, они дают представление о повседневной стороне жизни в местах, не столь отдаленных. Кроме того, мне пришлось в голову включить в книгу те из моих стихов, которые своим содержанием дополняют эмоциональный и событийный контекст переписки.

При подготовке писем для публикации пришлось проделать немалую работу. Дело в том, что уже 15 лет как я ослеп и, к сожалению, до сих пор не овладел компьютером. Мои помощники несколько месяцев подряд переносили текст с пожелтевших, выцветших листов тонкой бумаги в компьютерный аналог. Затем весь материал необходимо было записать для меня на магнитофон. Только после этого начиналась совместная работа по редактированию. Как видите, это было непростым делом. Рад буду услышать ваши отзывы и замечания.

Мои контакты: 8 (4872) 30-60-21  
Эл. почта: [SeninOleg19-oct@yandex.ru](mailto:SeninOleg19-oct@yandex.ru)  
Сайт: [senin.pereprava.org](http://senin.pereprava.org)  
Адрес Тульской областной Думы:  
пр. Ленина, д.2, каб.110.

*Олег Сенин*

## Арест

Предчувствие беды, скорой развязки у меня появилось где-то за 4 месяца до рокового дня 8 августа 1969 г. К тому времени стали обнаруживаться некоторые «проколы» в слежке за мной оперативниками из госбезопасности. В те месяцы я работал следователем прокуратуры Советского района города Рязани. Она размещалась в недавно построенном трехэтажном здании по улице Либкнехта, где на втором и третьем этажах находились областные структуры нашего ведомства. Дверь моего кабинета в числе трех других выходила в приемную, там секретарша Зина, внешне строгая, но простодушная, целыми днями деловито отстукивала на пишущей машинке множество служебных бумаг. Помню, в один из обеденных перерывов вместе с двумя помощниками прокурора и Зиной я, по обыкновению, отправился на обед в близлежащую и сытную столовую мяскокомбината. Туда мы беспрепятственно проходили, предъявив на проходной свои удостоверения. Ходьбы до столовой было где-то около 15 минут. Уже на подходе я вспомнил, что в половину второго мне необходимо забрать в аптеке лекарство для мамы, а рецепт остался на столе в кабинете. Несколько подумав, решил вернуться за ним. Когда вошел в вестибюль прокуратуры и свернул по коридору к двери приемной, то увидел стоящего пе-

ред ней незнакомого человека, открывавшего ключом дверь. Меня это удивило. Войдя, обнаружил, что еще двое возятся внутри телефонного отсека, помещавшегося ниже пола. Мое неожиданное появление вызвало у всех троих явное замешательство. Растерявшись, они даже не ответили на мое приветствие. Я прошел в кабинет, забрал рецепт и отправился в аптеку. С того дня тревога и недобрые предчувствия не оставляли меня.

Недели за две до ареста, Павел Иванович, дедушка Риты, пенсионер-общественник, обмолвился за ужином, что Алевтина Федоровна, заведующая детской комнатой, рассказала о визите к ней двух сотрудников милиции. Они попросили разрешения посмотреть подпол. Их просьба удивила ее. К тому же, оба были в штатском и удостоверения не предъявили. Детская комната размещалась прямо напротив нашей двери на первом этаже «хрущевки». Подвала под домом не было, так как он стоял на сваях, но почти во всех квартирах первого этажа жильцы вырезали в полу люки куда спускали туда на зиму картошку и соленья. Так появилось еще одно очевидное свидетельство, что за мной следят, а телефон и квартиру прослушивают.

В самом начале августа, когда на свободе осталось пробыть считанные деньки, мне в прокуратуру позвонил участник рязанской группы Евгений Мортимонов и озадачил настойчивой просьбой увидеться и поговорить. Во время телефонного разговора и по пути к месту встречи я старался соблюдать все требования конспирации. Он предлагал мне в самое ближайшее время устроить совместный сбор активистов рязанской и саратовской групп. Год спустя, уже после ареста и следствия, я узнал от одного из «подельников», что на момент нашей встречи Мортимонов активно сотрудничал

со следствием. К этому времени двое из рязанцев уже были арестованы, меня как потом выяснилось, взяли третьим. В общении с Мортимоновым я действительно заметил в нем некоторую нервозность.

Непосредственно в день ареста, 8 августа, меня снова ожидал «сюрприз». Это была пятница. Рита с маленькой Аленкой (ей исполнился год и четыре месяца) гостили у моих родителей в деревне Желудево в 90 километрах от Рязани. В тот день после работы я намеревался ехать к ним. В моем портфеле, помимо гостинца внучке от бабушки, находился черновик незаконченной работы «Механизм лжи», где я анализировал пропагандистские методы воздействия партийно-идеологической машины на массовое сознание. Войдя утром в приемную, я услышал из приоткрытой двери соседнего кабинета голос помощника прокурора Ивана Федоровича. Занятый разговором, он, по всей видимости, не заметил моего появления. По отдельным фразам стало понятно, что речь шла обо мне. Через минуту, положив трубку, Иван Федорович, несколько встревоженный, вошел ко мне. Это был очень скромный, интеллигентный, располагающий к себе человек. Не скрывая озабоченности, он сказал: «Олег Михайлович, нас с Вами вызывают на третий этаж, к прокурору области. Дубцов интересовался, сколько уголовных дел находится у Вас в производстве и справляетесь ли Вы с работой. По всей видимости, руководство намеревается отправить Вас, как самого молодого работника, на время уборочной кампании с агитационно-лекторскими выступлениями».

В кабинете Дубцова присутствовали два его заместителя и начальник отдела кадров Огородников. Внутренняя напряженность соседствовала во мне с сознанием обреченности. Разговор был недолгим. Дубцов, не

глядя в глаза, деловито и внушительно произнес: «Олег Михайлович, мы получили из прокуратуры РСФСР предписание о сокращении численности прокурорско-следственного аппарата. Поскольку Вы недавно работаете у нас, то, посоветовавшись, мы остановили свой выбор на Вас. Понимаю, как неприятно слышать подобное известие. Но со своей стороны заверяю, что в самое ближайшее время мы позаботимся о Вашем трудоустройстве». Последняя его фраза была поистине рекущей: через полгода приговор саратовского областного суда определил место и срок моего многолетнего лагерного «стажа».

В первое мгновение явственно понимал только одно: меня увольняют из прокуратуры, и я тем самым лишуюсь должности и интересной работы. Поэтому слова прокурора стали для меня ударом. Да, у меня было предчувствие скорого ареста, но в тот момент, по причине какой-то внутренней глухоты, мне и в голову не приходило, что до этого рокового события остаются даже не часы, а минуты. После слов прокурора я резко и напористо заявил: «Мне известна истинная подоплека моего сокращения. Дело в том, что во время учебы в юридическом институте я по неосторожности и недомыслию оказался причастным к делу по одной антисоветской работе. По этому поводу мной было написано подробное объяснение в саратовском управлении КГБ. Однако, как вижу, там не поверили в мою непричастность и идеологическую благонадежность. Не сомневаюсь, что именно это обстоятельство явилось причиной моего увольнения из органов прокуратуры». Дубцов возразил: «Мы ничего не знаем о Ваших отношениях с органами госбезопасности. Вынося решение о сокращении, мы руководствовались соображениями иного рода». «В

таком случае, - решительно заявил я, - мне остается лично обратиться в КГБ». «Что ж, это Ваше дело», - ответил прокурор.

В кабинет я возвратился потрясенный и потерянный, меня даже подташнивало. В голове стучала одна лихорадочная и беспомощная мысль: «Что делать... Что мне теперь делать?» Вспоминаю про тетрадку с рукописью, и сразу пронизывает беспокойство: надо немедленно ее спрятать, либо уничтожить... Но где и как? Первое, что приходит в голову, - сжечь. Думаю, что лучше всего это сделать в туалете, но когда захожу туда, то понимаю, ничего не получится, будет много дыма, заметят... Возвращаюсь и в некой полупрострации машинально ставлю портфель с рукописью в сейф. И только закрыв его на ключ, смутно понимаю: не то я сделал. Несколько минут сижу в оцепенении за столом. За окном привычная стена высокого кирпичного забора. От взгляда на нее что-то тогда во мне содрогнулось. Внутренняя подавленность такая, что ничего не идет в голову, не могу решиться, куда идти, к кому и зачем. Всего ближе сердцу мысль: уеду домой, в Желудево. Там Рита, Алена, родители. Но с чем я явлюсь туда? Каково им будет узнать о случившемся...

Выхожу из прокуратуры и, не отдавая себе отчета, привычно иду к улице Ленина. Пасмурный августовский денек: прохладно, тихо, грустно - моя любимая погода. Дохожу до перекрестка и поворачиваю в сторону центра. Медленно, весь уйдя в себя, бреду вдоль чугунной ограды городского парка, мимо памятника Павлову до улицы Свободы. Знакомый, дорогой мне уголок города!.. Слева наш с Ритой старый сквер с памятным пнем и скамьей возле него; направо, если идти вниз по улице, здание пединститута. В его дворике сейчас цар-

ственно высится огромный дуб. Четыре года назад, без ума влюбленный, я швырял в него снежки из первого октябрьского снега, а она стояла за парашютом высокого крыльца флигеля и звала меня обратно, в тепло читального зала, где на одном из столиков нас дожидались книжки и конспекты.

Некоторое время стою в нерешительности, думаю: «Что, если пойти вниз до Затинной к торговому городку, сесть на автобус и уехать, скрыться в милой мне Солотче?... Пройти нашей тропой вглубь бора до молодого ельника, а там броситься навзничь на прошлогоднюю хвою и разрыдаться... Но почему-то ступаю с тротуара на асфальт дороги и иду...прямо, к «серому дому». Пройдя белостенную музыкалку, замедляю шаг у красивого рустованного фасада старой городской Думы, где я впервые солнечным октябрьским днем увидел ее, звездочку мою. Далее на пути каменное в трещинах крыльцо заочной школы, в ее стенах я за год одолел три класса и в итоге заполучил аттестат, необходимый для поступления в юридический. Через дорогу напротив – скругленный угол сельхозинститута, бывшей губернской гимназии с мемориальной доской на нем. Гуляя вечерами по окрестным улочкам, мы с ней останавливались там, и я, взобравшись на каменный цоколь ограды, смешил ее своим словоплетством и декламировал стихи. А вот и мост со ступенями вниз, по которым она любила сбегать непременно впереди меня, в своем светлом, с кленовыми листьями платье. До перекрестка с «Подбелкой» оставалось только здание Госбанка. Куда же я направлялся?.. В те минуты, как и теперь, не могу себе ответить на этот вопрос. Предчувствие беды провело меня прощальным путем по родному городу, закончившись у входных дверей управления КГБ. По-

равнявшись с банком, я увидел, как от металлического ограждения тротуара отделились и двинулись мне навстречу двое мужчин, оба в серых костюмах и при галстуках. Подойдя, один из них негромко, но твердо спросил: «Вы Олег Михайлович Сенин?»

– Он самый, – отвечивал я.

– Мы из Комитета госбезопасности. Пожалуйста, пройдемте с нами.

– Именно к Вам я и направляюсь.

– Ну и отлично, – сдержанно улыбнулись оба разом.

Мы перешли улицу, но прежде чем войти в парадную дверь управления, я задержался и оглянулся назад. Сам не знаю, что я хотел тогда увидеть, запомнить, запечатлеть... Сопровождающие мгновенно напряглись: «В чем дело?» Что я мог им ответить? За моей спиной оставались 22 года, которые теперь будут называться «жизнью на воле». Как только я переступил порог управления, начался долгий и мучительный отсчет ожидавшего меня пятилетнего срока заключения в лагерях для особо опасных государственных преступников.

В «сером доме» меня продержали весь день: с 10 утра до 8 вечера. Где-то через час после задержания я был препровожден в кабинет полковника Маркелова, он возглавлял тогда управление КГБ по Рязанской области. Кроме него там присутствовало 5-6 человек в штатском. Разговор начался в сдержанно-доброжелательных тонах, без нажима. На все вопросы о моей причастности к рязанской антисоветской группе я отвечал, что ничего о ней не знаю и лично никакого отношения к группе не имею. Затем мне были названы фамилии Юрия Вутки и Олега Фролова, знакомство и общение с которыми я также отрицал. Один из присутствующих строго напомнил, что позиция заpiresательства может только

повредить мне. Со своей стороны я парировал реплику словами, что сейчас не сталинские времена, задержание мое необоснованно, а невиновность рано или поздно будет доказана. Видя мою несговорчивость, кто-то из них заметил: «Судя по всему, это человек из руководства, убеждённый фанатик». В завершении разговора, полковник Маркелов не без металла в голосе сказал: «Олег Михайлович, советская власть не только дала Вам образование, но и предоставила возможность работать в органах прокуратуры. Вы же связались с антисоветчиками, клеветущими на наш государственный и общественный строй... Замечу, я знаком с Вашим отцом. Знаю его, как настоящего коммуниста и хозяйственника. Представьте, каково ему будет узнать, где оказался его сын, на которого он, как и наше государство, возлагал немалые надежды».

Около трех часов дня начался долгий допрос, его вел довольно молодой следователь с располагающими манерами общения. Поскольку вопросы ко мне были те же самые, то и в ответах ничего не изменилось. Он много расспрашивал меня о детстве, родителях, учебе в юридическом, интересовался моим отношением к литературе, современной молодежной музыке и даже бардовской песне.

Уже стемнело, когда меня вывели через тот же подъезд и посадили на заднем сидении Волги между двумя сотрудниками управления. Скоро я понял, что везут меня не в следственный изолятор, а в КПЗ. Так для краткости принято было называть камеру предварительного заключения. Как юрист я сразу оценил ситуацию: в комитете госбезопасности, очевидно, не располагали достаточным обвинительным материалом, поэтому мое задержание было оформлено по статье 122 Уголовно-

процессуального кодекса. Статья допускала лишение свободы подозреваемого без санкций прокурора на срок до трех суток. За время работы следователем я сам не раз оформлял таким образом задержание, и самолично в сопровождении работника милиции доставлял подозреваемого в КПЗ, которая находилась во дворе управления внутренних дел на площади Мичурина. Там несли службу по преимуществу офицеры-отставники, знавшие меня лично. Когда я вместе с двумя оперативниками в штатском вошел в помещение, где происходило оформление задержанных, то сразу с порога мне заулыбался и встал для приветствия хорошо знакомый седой худощавый капитан. Сопровождающие четко, как положено, представились сотрудниками управления государственной безопасности и предъявили капитану свои удостоверения. Поскольку я хорошо знал, что требуется от задержанного, то тут же вынул из кармана и выложил на стол свое удостоверение, где золотыми буквами по красному фону было выбито: «Прокуратура Союза ССР». Капитан в недоумении уставился на нас троих и растерянно спросил: «А кого же вы доставили?..» Один из оперативников, указав на меня, пояснил, что Олег Михайлович Сенин, следователь прокуратуры Советского района, задержан сотрудниками рязанского управления КГБ по подозрению в антисоветской агитации и пропаганде. После его слов капитан переменялся в лице и даже побледнел. Не желая ставить служаку-отставника в неловкое положение, я сам снял с руки часы, вытянул из брюк ремень, шнурки из ботинок, выложил на стол все, что у меня было в карманах. После того, как процедура оформления была завершена, дежурный старшина повел меня по длинному подслеповатому коридору КПЗ. Звеня ключами, он открыл дверь одной из камер, где мне предстояло

провести двое с половиной суток до утра понедельника. Она представляла собой квадратное помещение, две трети которого занимал сплошной, от стены к стене, деревянный крашенный настил. Выходило, что три ночи кряду мне придется перемогаться на голых досках. Небольшое окно под потолком было зарешечено, над дверью, в нише, день и ночь горела лампочка. В углу стояла параша. В камере, кроме меня, никого не было.

До водворения в «одиночку» на протяжении всего дня я находился в состоянии невероятного внутреннего напряжения. В эти мучительно долгие часы что-то происходило со мной и вокруг меня. Наконец, я остался наедине с собой, - тут-то меня и скрутило!.. Подступила такая истошная боль, что я не знал, куда себя девать – хоть на стенку кидайся...

Во всем, что на мне было, я улегся на помост, закрыл глаза, но расслабиться не удавалось. Как бывает после шока, во время которого не осознаешь случившегося, мне вдруг открылась жуткая своей непоправимостью реальность. Создавая подполья, мы, «марксисты-революционеры», предполагали возможность ареста, обговаривали тактику поведения на допросах, но ни один из нас в своей жизни въяве не переживал ничего похожего. И вот неотвратимое случилось... Искренность и фанатичность веры в идейную правоту была такова, что мои терзания в немалой степени усугубляло сознание провала задуманного нами дела. Горячая мысль не сразу открыла мне, что 8-го августа совершился судьбоносный перелом в моей жизни. Все, во что я верил, любил, к чему стремился, – осталось за чертой этого дня, а я оказался здесь, в камере, и, кажется, надолго. Еще утром Елена Ивановна, бабушка Риты, кормила меня завтраком, собирала гостинец для

внучки Алены. Привычным маршрутом я ехал троллейбусом по утреннему городу в свою прокуратуру. На этот день у меня были вызваны свидетели, намечены дела. Не было никакого сомнения, что к вечеру на попутной машине я доберусь до Желудево, расцелую доченьку, а после ужина мы будем гулять и любиться с Ритой. Но день обернулся непостижным для меня образом... Душевно подавленный, я лежу в оцепенении на нарах. Затылку и всему телу непривычно жестко на голых досках, пованивает парашей. До того момента, когда зачитали постановление о задержании, у меня была, неосмысленно-инстинктивная надежда, что все закончится разговорами, и я выйду отсюда, также как и пришел. Ведь этим вечером она, Рита моя, будет ждать меня в Желудево, в домике с березами, садом, рядом со старым пустующим храмом. Я даже знал, какое платье она наденет. Представлял ее светлые волосы, уложенные в любимую мной прическу. А доченька, крохотный мой воробушек – как я соскучился по ней за целую неделю! Мама моя, как водится, нажарила котлет, сварила щи, за которые я стану ее нахваливать. Лежа пластом, застегнув ради тепла все пуговицы рубашки и пиджака, я, не мигая, смотрел на запыленную лампочку и тщетно пытаюсь уяснить для себя мучительную невыразимость произошедшего.

«Рита, Риточка моя, что же с нами будет?! Как нам теперь жить друг без друга?..» Год спустя, на первом нашем свидании, в Мордовской 17-ой зоне, ты признаешься мне: «Алька, никогда я тебя так не ждала, как в тот вечер! Места себе не находила, все глаза проглядела. В 10 уложила Аленку, а сама до полуночи на лавочке перед домом сидела, тебя дожидалась. Шелест листьев, силуэт церкви и мысли, мысли... Не переставая сердце болело...»

\*\*\*

Ту комнатку в доме за старым храмом  
Мне в поволоке слезной вспоминать...  
И каждый август, сыпля соль на рану,  
Тебя, грустящую, мне будет возвращать.

Прохладу рук твоих и позолоту прядей,  
Как бы нечаянный, серебряный смешок  
Сияюще-доверчивые взгляды,  
Всевидающий смущенный потолок.

С годами на желтеющих страницах  
В забытых строчках будет проступать:  
«Любимая, печальница, Жар-птица,  
В чьем светлом облике почилa благодать».

И старый храм, березками поросший,  
Но красоту сберегший испокон,  
Украсит стены радующей ношей –  
Незримым рядом праздничных икон.

\*\*\*

*Из письма от 19 сентября 1969 г.  
Рязань, следственный изолятор*

*«Когда беды меня окуривали,  
Я, как в воду, нырял под Ригу.  
Сквозь соломинку белокурую  
Ты дыханье мне дарила»  
А. Вознесенский*

Рит, единственная моя, пишу эти строчки и вижу, как ты нетерпеливыми пальцами развертываешь листки письма. Слезинки набегают тебе на глаза, когда ты слышишь надрывное звучание моих слов. Отныне они на годы должны заменить живой голос твоего Альки. Вопреки всему, в крошечности разлуки я все же пытаюсь успокоить мою милую плаксу, осыпая ее поцелуями. Пройдут долгие горькие месяцы, а может быть и годы, и твой Сенин снова будет рядом, такой же дурашливый и любвеобильный... Ну вот видишь, соплюша, ты уже не «плакиишь» и, чуть улыбаясь, смахиваешь слезки. Так важно сознавать, что есть ты, Алена, наше. Что бы ни обрушилось на нас, до тех пор, пока ты, заплаканная, светишься во мне, – даже среди холода и отчуждения я буду находить на проталинах души мартовские подснежники надежды. Постоянно обращаю к тебе слова, жаркие, как слова молитвы, и целую во сне твои длинные пальцы.

Рит, невозможность общения, немота уст, но не сердца, подвигает меня на стихотворство. После нашего свидания в кабинете следователя, сами собой легли строки:

Где ты, моя большеглазая,  
С солнцем в витых косах?..  
В самом начале знал бы я,  
Что радость останется в снах.

Помнишь, июльский закат,  
Теплые доски причала?..  
Чудо, сливавшее нас,  
Мучило и ласкало.

Было-то сколько, б-ы-л-о!..  
Лето цвело, любило,

Но журавлиной тоской  
Осень кралась за рекой.

Звезды скрыл сизый мрак.  
Стужа цветы увяла.  
Замков разрушенных прах  
Выстелил доски причала.

Перечитал, и ощущение, будто строчки пеплом посыпаны.

Но беспокоит другое: неужели до этапа из Рязани в Саратов мы не увидимся. Будет горько, если того не случится. С другой стороны, приходят на ум строчки: «Какая боль – не видеться с тобой! Какая боль – увидеться в толкучке!» Честно говоря, мне будет больно видеть тебя в казённой тюремной обстановке. Я хочу дивоваться на тебя как прежде: под летним слепым дождем, в старом сквере напротив филармонии. Обнимать тебя, вымокшую и счастливую. На прощание целую жадно и нежно мою грустинку. Про Алену и накипевшую нежность к ней я молчу, – иначе расплачусь.

Не тоскуй. Учись. Живи полно, несмотря ни на что.

### Беда

Так трудно начался пресветлый октябрь,  
Тебя подаривший варяжскому сыну.  
Княжна милолика, ты не повинна,  
Что озими нежные в поле прозябли  
И жизнь раскололась на две половины.

Княжна, утешенье мое и надежда,  
Взметни свою белую руку к поводьям.  
Зловещи над Клязьмой заката разводы,

В крови и порубах на милом одежды,  
И ладо твое печенегу уведят.

...Гривастых коней неударная стая  
Любовь и отвагу над степью проносят,  
От топота ломаются в заросли лоси.  
Слезам и росам пыль прибывая,  
Торопит погоню союзница-осень.

*Из письма от 23 сентября 1969 г.  
Рязань, следственный изолятор*

#### **Рита моя!**

Снова вечер. Заметно теплеет в камере. Еще один день скатился в яму прошлого... Скоро он затеряется там среди других, таких же серых и пустопорожних. Дни здесь, как тюремные хлебные пайки, 340 граммов на день; их съедаешь, и никаких воспоминаний...

Вот и теперь, как и вчера, наползают в каменную стесненность камеры тоскливые сумерки. Для меня это самое паршивое время: поутихшая за день боль, словно спохватившись, принимается за свою тошную работу. Обычно я валюсь на койку и, укрывшись с головой фуфайкой, подавленно пережидая часы тоски. Не хочется читать, думать, разговаривать... Подобно червяку под подошвой, желаешь лишь одного: скорей бы отпустило! Всякое упоминание о загубленной жизни мучительно. Но разве можно забыть то, что не перестает манить к себе до боли знакомыми огоньками, наполняя опавшие паруса души ветрами ожиданий. Невозможно забыть, что за холодной, в четыре кир-

пича стеной, где-то в сырой, пахнущей осенней листвой ночи, под провисшим дождливым небом уютно светится фонарями и мокрыми тротуарами наш город. И сейчас, в эти полумертвые для меня минуты, на его улицах, сто раз исхоженных нами, девчонки, блестя глазами и дождинками, вскакивают в переполненные троллейбусы. Смеясь и переговариваясь, они отряхиваются, складывают зонтики; от них пахнет дождем и духами...

Там, в конце длинного троллейбусного маршрута, среди пожелтевших тополей есть дом, где когда-то, кажется, непостижимо давно, цвела моя юная возлюбленная. Морозными вечерами, когда я провожал ее, мы, озябшие, вбегали в теплый подъезд; запыхавшиеся, грели руки друг другу, и я целовал ее в непослушные губы. В конце концов, она начинала отбиваться от меня и, озорно помахав ручкой, нажимала кнопку звонка...

Для меня, укрывшегося от тоски под бушлатом, воспоминания о тебе похожи на то, когда в детстве смотришь в волшебную алмазную трубку. Медленно поворачивая ее у глаза, любишься разноцветными, дикивинными узорами, сменяющими один другой... На какое-то время приходил желанный, короткий полусон; утрата прежней жизни чувствовалась не так болезненно; прошлое подступало в эти минуты несказанно близко, было так чудесно и зазывно, что не хотелось расставаться с его светлыми грезами. Но забытье бывало недолгим; очнувшись, снова видел себя среди опостылевших стен. Как кровь на одежде убийцы, они убеждали меня в непоправимости случившегося. В таком состоянии начинаешь понимать, что чувствует музыкант, которому ампутуют пальцы...

Как в полубреду, постоянно думал о тебе, мучи-

тельно сознавая, какими страданиями обернулось для тебя внезапная разорванность нашей молодой жизни. Одна мысль, каково тебе теперь, была страшнее всякой пытки.

### **Заточенье**

По рукам и ногам кандалы неподъемные,  
Стены силятся вспомнить закатные блики.  
Твои губы в улыбке, до любви неумные,  
Сиротеющей ночью заходятся в крике.

А снаружи, к стенам, распокрытая осень,  
Обласкавши подножья родных мне осин,  
Паутину земли святорусской приносит  
И заплаканных глаз твоих кроткую синь.

Тихих улочек наших расписные покои  
До зазимков роднит листопадная гладь.  
Но все золото их той улыбки не стоит,  
Что в венчальный октябрь мое сердце зажгла.

Встань зажженной свечой над темничною тьмой  
Замоли, отведи все небесные кары...  
Все прошито разлуки железной иглой,  
И мне целую вечность стонать и пластаться на нарах.

## Снова в Саратове

В начале октября 1969 года меня доставили этапом из рязанской следственной тюрьмы в саратовскую. Конвой, высадив заключенных из «столыпина», приказал нам, сбитым в тесную кучу, усесться на толстые котомки. На запасных путях, под дулами автоматов, я, попривыкший за два месяца к жестокому оскалу арестантской жизни, не скрывая радовался солнечной осенней теплыни. После тесноты камеры удивлял простор и успокаивающая голубизна ненаглядного моего неба...

Осень в том году стояла ясная, сухая. На отлогих скалах, возвышавшихся над городом, неровными клиньями пестрели перелески. Помнится, я часами не отходил от зарешеченного окошка и, оставляя за спиной тоскливое удушье камеры, неотрывно ласкал взглядом ненаглядную красоту редкостно теплой осени. Из форточки, как от куста хризантем, тянуло головокружительными запахами октября, прошлого счастья. Там, у тюремного окна, ко мне легкокрылым откровением явилась мысль, что умереть легче всего осенью.

\*\*\*

Может все, и не пройду,  
Пошатнусь и упаду,

Подомну траву сухую,  
Стебли телом поцелую  
И в последней из страниц  
Прочерчу строку живую  
Взором мертвых роговиц.

\*\*\*

*Из письма от 6 октября 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

**Рит, чудная моя, здравствуй!**

Кажется, не писал целую вечность. Все время представлял, как ты, возвратясь с лекций на свой десятый этаж, потерянно отходишь от пульта, не найдя конверта со знакомым почерком. Но, поверь, в том я, не повинен: в Саратов меня этапом доставили только через месяц, 2 октября. Пишу тебе из кабинета следователя, и за недостатком времени буду немногословен. Обещаю, следующее письмо придет, как ты ждешь, «большим и светлым».

Я здоров. Много читаю. Потому прошу, когда приедешь на свидание, привези книги. Что-то не могу справиться с мыслями, в голову ничего не лезет. Видно, письмо получится холодным и бессвязным. Я бы написал заранее, но при водворении в камеру у меня забрали для проверки все бумаги.

Одно могу сказать, Рит: ты неизменно со мной, во мне. Не хочу, чтобы разлука стала для тебя тягостно-невыносимой. Пусть будет как в прошлом, когда мы по долгу жили по разным городам. Вспомни, как сумасшедший Сенин срывался и прилетал к тебе в заснеженную или листопадную Москву. Не забывай меня и живи

предчувствием минуты, когда мы, истосковавшись друг по другу, сольемся воедино. Прошу тебя, пиши мне прежние удивительные письма, напоминающие кленовые листья нашей университетской осени.

Жду. Целую тебя всю. Твой Алька.

*Из письма от 10 октября 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

Ну, что сказать тебе, дивная моя? Разве то, что с четвертого этажа через решетку окна я вижу, как на дворе чудит рыжая шалунья осень, а с аэродрома на горе знакомо и зазывно режут самолеты. Хочется без оглядки, забыв все, улететь к тебе в то удивительное, щемящее инобытие, где в светло-серой громадине университета на одиннадцатом этаже, в уютном полумраке маленькой комнаты, меня ждет яснолобая студентка-второкурсница. Вспомни, как мы без устали плутали по незнакомым московским улочкам, покусывали в сквериках дольки желейного мармелада и украдкой целовались в пустых кленовых аллеях МГУ.

Мне думать о тебе -  
Листать времен анналы!  
Пьянея от твоих овалов,  
Мне хорошо здесь думать о тебе.

Припомнится далекая Москва,  
Знакомость торопливой электрички,  
И стройной девочки моей обличье,  
И нежностью рожденные слова.

В одиночестве, среди четырех стен камеры, так недостает слов твоих, ободряющих и участливых. Они способны приблизить и воскресить наш поверженный мир. Я дождусь, услышу тебя, и мне захочется прокричать в его опустошенную глухоту, что мы, не сломленные, не потерявшие, однажды вернемся в него. Но ты, почему-то молчишь... Беззвучны твои клавиши, а хочется грустить и думать под музыку признаний.

В горечи разлуки опустели дни,  
Скрылись за березками поезда огни –  
Расплескалось счастье в шорохе дождей  
Затерялось в сумерках невозвратных дней.  
В ночь качнулась стеблями, тонкими и грустными,  
Распустилась косами, золотисто-русыми.

У меня отнято почти все из того, чем вчера была полна жизнь. В «каменном мешке» за радость малые крохи некогда пережитого.

Ветер. Мрак. Потух огонь.  
Лоб усталый тискает ладонь  
Плечи сутулы, глаза странны –  
В них видения былой весны.  
Сияются развеять скорбную явь  
Губы в поцелуе, чудо соловья,  
Таинство касаний, сосен сон,  
Слезы расставаний, нежный обертон.

Перемена моей жизни, что так внезапно произошла, сама по себе не нуждается в комментариях. А если уж потребуются, довольно будет трех слов: «Ничего хуже не придумаешь». Перед этапом в Саратов приснил-

ся сон, жутковатый, а потому и запомнившийся. Будто я по-детски радостно запрокидываю лицо навстречу крупным прохладным каплям июльского дождя. Но вдруг, как при обмороке, меня шатнуло. Почувствовал, что заваливаюсь на спину и с холодеющим испугом падаю в неведомую, вызванивающую темноту. Онемевши, без крика, я представлял, как мой хрупкий затылок несется навстречу твердокаменному дну прорвы... Странно, но я не разбился... Распластанный, полуживой, я валялся в холодной, с ума сводящей темноте, не в силах крикнуть и пошевелиться. И вдруг, не веря своим ушам, услышал негромкую мелодию любимившейся нам песни: «На тебе сошелся клином белый свет...» Мы ставили эту пластинку в Маклаково, летними вечерами после чая, и ты своим тихим голоском вторила словам певицы: «Сто дождей пройдет над миром, сто порош. Ты услышишь и когда-нибудь придешь...» И тут с поразительной ясностью понимаю, что лежу, беспомощный и покинутый, на полу нашего каменного погребка в Маклаково и даже слышу, как ты в распахнутое окно окликаешь и что-то выговариваешь Аленке, но у меня нет никаких сил позвать тебя...

Когда от тебя ничего нет, внутри меня зовуще звучит: «Ритка, милая... Ритка, где?...» Тебе ли не знать, что творится со мной, когда я долго не получаю твоих писем...

27-го октября, в наш день, тебе разрешат свидание. Оно пройдет в кабинете следователя. Привези фуфайку (простую, рабочую), зимнюю шапку, книги. В передачу вместе с вещами и продуктами положи пару общих тетрадей, карандаши и конверты. И к слову, Рит, из Рязани до сих пор не переслали мне денег для отоваривания в тюремном ларьке. Из-за того сижу «на бобах». Если

сможешь, отправь мне 10 рублей. Привези побольше книг. Здесь с чтивом скудно: выдают по две книги в месяц. То-то было в Рязани. Адрес: Саратов, п/я ИЗ 61/1.

Подробнее напиши про Алену. Надо думать, ее словарик изо дня в день пополняется. Порадуй меня хотя бы словечками, что слетают с ее губок. Знала бы, что во мне творится, когда люблюсь ее фотографией.

Будь осторожна, когда поедешь ко мне.

Целую и жду.

*Из письма от 29 октября 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

**Здравствуй, Рит!**

Скоро стукнет три месяца, как тянется этот кошмар. Три месяца... Казалось бы, так долго и в то же время так ничтожно мало в сравнении с тем, что придется перенести. Кажется, начал отчасти смиряться. Свыкнуться совсем, как мне думается, невозможно. Первая боль поулеглась, притупилась. Чтобы не беречь едва начавшие подживать раны, стараюсь увести мысли от нашего лучезарного прошлого. Но разве возможно спрятать от себя, похоронить многоцветный мир пережитого?.. Его светлым средоточием стала ты, моя милая, златокосая избранница. Там секут по луговым травам летние дожди, а в рязанском двореике по аллейке из облетающих тополей резво перебирает ножками шалунья Алена.

Долгими, тянучими вечерами, когда в камере из-за скудности света становится трудно читать, я вытягиваюсь на койке, укрываюсь, как в детстве, с головой одеялом, и проваливаюсь в сладостную и больно стонущую

пропасть грез. Вижу, как мы с Аленой под вечер отправляемся гулять в желудевскую рощицу. Довольная, она высоко восседает на папином плече, о чем-то забавно лопочет и время от времени шаловливо таскает его за выгоревшие вихры. А он, готовый на все ради нее, умиленно сознает, что эта легонькая девочка с льняной челкой, в пестрой косынке «под матрешку», его дочь – голубоглазая разбойница Алена. Кажется, еще недавно она и понятия не имела о штанишках с сандалиями, а теперь запросто «справляется» с ложкой и «наводит порядок» на папиных книжных полках. Боже, сколько бы я отдал за то, чтобы июльскими сумерками возвращаться с ней по заросшей подорожником тропинке. Мне бы целовать ее ручки с зажатыми в кулачке ромашками и знать, что у калитки нас дожидается красивая, большеглазая мама...

Забытье не бывает долгим. Очнешься вдруг и, увидев себя в убожестве каземата, сразу понимаешь, где ты и кто ты.

Замечаю, как в сереньком миноре настроений вдруг являются озарения, подобные тем, что случаются в детстве. Во время скучного урока неожиданно вспомнишь об оставленной дома недочитанной книжке и весь сразу вспыхиваешь от предчувствия предстоящего удовольствия. В эти минуты я в душе переступаю через то страшное, что ждет впереди. Позабыв обо всем, вижу нас в тех светлых днях, когда втроем по весне снова будем гулять по нашему старому скверу. Подобные наития исчезают так же быстро, как и появляются. Но ощущения, оставленные ими, хочется удержать, запрятать в самый сокровенный уголок сердца.

На этих полутора листах малая капля того, чем полнится сердце твоего Сенина. Ты спросишь: «А что еще?» А еще благодаря библиотечной книжке меня

снова порадовала прелесть бунинского языка, слушай: «...Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести». Согласись, как это напоминает наш маклаковский сад в те незабвенные августовские дни, когда мы оставались в доме вдвоем. У него же прочел: «Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь».

Что ты скажешь на это, грустинка моя?

### **Тоска**

Мне б камнем разбиться  
И, в пыль обратясь,  
К тебе устремиться,  
Чтоб вдруг, в одночасье  
Ничтожной пылинкой,  
Крупницей любви  
Слезинкой скатиться  
На щеки твои.  
И в слезном сиянии  
Стоцветным алмазом  
Тоску расставанья  
Отсечь одним разом!

*Из письма от 7 ноября 1969 г.*

*Саратов, следственный изолятор*

Рит, хочешь, расскажу про первый после осени снег, который падал два года тому назад, когда ты провожала

меня в Саратов с аэродрома в Быково? Совсем недолго оставалось время до отлета, и мы, дорожа последними минутами, в поисках уединения забрели в небольшой заснеженный ельник. На тебе была длиннополая, по шиколотки, шубка, на голове – красиво повязанный мохеровый шарф. Как и всегда, расставание было для нас чем-то болезненно-истязующим. Холодные щечки твои были влажны от слез и тающих снежинок. Что поражало, ты всегда плакала беззвучно, и только мелкие жемчужинки слезинок катились по опечаленному личику. Притягивая тебя за плечи, я не отрывал губ от заплаканного лица, пытаюсь утешить словами, которые могли хоть как-то передать мою страдающую нежность.

Здесь, в камере, мне не дано другого, как только представлять, что где-то там, среди глубоких сугробов, старых сосен и застывших речек, дышишь, грустишь и ждешь ты, не тающая снежинка моих счастливых зим. А та, что пришла, станет первой в нашей долгой разлуке. Где бы я ни был, видя, как из черного морозного неба слетают на озябшую землю мириады снежинок, забывая горечь настоящего, буду стремиться туда, где под снегопадом ты в задумчивости возвращаешься домой по запорошенному тополиному дворику. Может быть, в эти минуты вспоминаешь наши семестровые каникулы, маклаковский сад, запущенный инеем, как в сказке. А мне не забыть, как в валенках весело и неумело ты раскидывала деревянной лопатой снег. Когда я прогонял тебя с мороза в избу, забавно обижалась и ни за что не хотела уходить.

Рит, а ведь время, ставшее сущей пыткой, в конечном счете, работает на нас. Представь, всякий день приближает к заветному вечеру, когда, обнявшись и запрокинув головы, мы замрем под осыпающимся чудом снего-

пада. На нашем излюбленном углу, у мемориальной доски на стене старой рязанской гимназии, я взберусь на запорошенный цоколь чугунной ограды и буду читать моей снегурке свои стихи:

\*\*\*

Город стал от снега бел,  
Захрустел, поголубел...  
На озябшие ладошки  
Город варежки надел.

\*\*\*

*Из письма от 18 ноября 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

**Здравствуй, Рит!**

Пытаюсь выразить словами одно-единственное: невыносимость разлуки, и неутолимую тягу к тебе, оставленной мною. Знай, ты, несмеяна, необратимо растворена в моей крови. Чем дольше тянутся горем убитые дни, тем сильнее хочется видеть тебя: похудевшую, жалкую, мою... Мне бы осязать тебя с прежней негой, слышать из губ в губы волнующие слова признаний... Подумать только, где-то за ветрами, тьмой, в которую уносятся холодные рельсы, есть ты, влекущая, красивая с мороза, с прядями волос, выбившимися из-под шали... В казнящей тесноте камеры глаза твои не светятся мне под Новой год, подобно хрустальному сиянию бокала, и руки твои не обвивают в танце моей шеи...

Душа просится в Рязань, в нашу старушку Рязань...

Помнишь вечерние прогулки в листопадном октябре при первом морозце по старинным улочкам? Там щедрыми пригоршнями разбросаны даты, слова и чувства незабвенного прошлого.

Так хочется от злой беды  
От маяты в сознании воспаленном  
Туда, где в старые следы  
Упали листья кленов.  
Где в переулках шепчешь ты  
Сосулек тихим звоном.  
Там на изморозь карнизов,  
Как февральский синий наст,  
Искрится печально снизу  
Полнолуние твоих глаз.

Вот и все. Пиши, не дай мне затеряться в одиночку.  
Твой Алька.

*Из письма от 28 ноября 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

**Здравствуй, Рит, здравствуй, моя хорошая!**

Хочу известить тебя: следствие по нашему делу заканчивается. Суд, по всей вероятности, начнется в середине января, и, скорее всего, ты сможешь присутствовать. Видеть тебя рядом будет для меня большой поддержкой. Очень беспокоюсь за родителей: как они перенесут многодневный судебный процесс.

После твоего отъезда дважды видел тебя во сне. Будто мы в тихом, сосновом бору у небольшого озера. От-

плыв на середину, я весело кричу, чтобы ты раздевалась и плыла ко мне, а ты, стоя на берегу, обеспокоенно просишь, чтобы я сейчас же возвращался. Не смея ослушаться, с наслаждением разгребаю руками кристальную воду, плыву обратно, не спуская с тебя глаз. Выбравшись на берег, не обращая внимания на веселые визги и крики, подхватываю мою донну на руки. Твои загорелые босые ноги дразнят и безудержно влекут...

Пришло письмо, где в строчках ты видишься прозрачной, как янтарь. Глядя на тебя такую, я верю, ты дождешься меня.

Целую так же страстно, как у озера, во сне

*Из письма от 1 декабря 1969 г.*

*Саратов, следственный изолятор*

Рит, два года назад я прилетел к тебе рейсом Саратов–Москва, нашим привычным, 480-м. Был вечер и снег, густой-густой, падавший на землю в черно-белой тишине. К огорчению, мы разминулись, и ты не встретила меня. Но будто в утешение по прилету меня ожидал сказочный московский снегопад!..

А год назад, возвращаясь с сессии, сошел с электрички на платформе в Мервино. Почти две недели не видел тебя, Алену, страшно соскучился. Не верилось, что я наконец-то вернулся, и ты, милюся моя белокожая, уже совсем рядышком. Нетерпеливым шагом спешу к знакомой светло-серой четырехэтажке, к двери квартиры номер 17 на первом этаже... Как и загадал, открываешь мне ты. Переступаю порог, и мгновение мы смотрим друг на друга, молча, неотрывно. Родную и те-

плюю притягиваю за плечи , чувствуя под тонким свитером всю тебя. Целуя, слышу твой облегченный шепот: «Алька, тебя заждалась, - наконец то...»

На календаре та же дата – 1 декабря. Ты грустно улыбаешься с фотографии, а глаза будто говорят: «Алька, не раскисай. Рано или поздно все проходит... Ты еще не раз откроешь дверь, за которой тебя ждут и любят...»

После такого хочется ответить возвышенно, но в то же время сердечно и просто: «Спасибо тебе, чудо мое, за слова, что обнадеживают и снимают боль... Спасибо!..»

*Из письма от 21 декабря 1969 г.  
Саратов, следственный изолятор*

Девять вечера, «наш» час. У меня стало привычкой думать в эти минуты о вас с Аленой. Слава Богу, что воспоминания не несут мне, как прежде, одну лишь боль. Я влекусь к ним, как тянется пришедший с мороза к жаркой печке. Представляю такой же вот зимний вечер. Свет настолки в нашей рязанской комнатке. Умилительно посапывает в кровати разметавшаяся Аленка, а мы с тобой, готовя диплом, листаем новгородские летописи. Ты, неженка, забралась на тахту и укрыла пледом ноги. На часах половина одиннадцатого, и по всему видно, тебе хочется спать. Но Сенин неумолим: он укроет тебя и, не выдержав, щекочет, даже покусывает за коленку. Для него важно, чтобы ты думала, а не клевала носом. Но мои увещевания не идут впрок. В конце концов, надувшись, ты подхватываешь плед и демонстративно удаляешься в зал, к телевизору. Вскоре, сменив

гнев на милость, иду мириться. Подсев рядом на диван, шепотом на ушко признаюсь, что сам-то я, листая летописи, грешным делом постоянно отвлекался на алые бретельки ночной рубашки: так дразняще смотрелись они на белизне твоих плеч.

Ритэт, женушка моя, сама того не зная, ты оставила во мне непостижимо много: прежде всего память чувств и ласк. Иногда, вечерами, перечитываю твои письма. Некоторые даже выучил наизусть. Вчера, в ответ на твои строки про «белые снега», набросал два пятистишия:

Я не знал, что леса потемнели,  
Что опять задымились метели  
И под святки, студя терема,  
Колядою шалила зима  
...Это все я узнал из письма.

Я за вести стихами плачу,  
Полутьмой, прислоненной к плечу,  
Онемевшими в горе губами  
И провалом кругов под глазами.  
Боже мой, что же станется с нами?!..

Обижает, что ты мало пишешь про девочку-картинку, дочку нашу... Хочется знать милые подробности ее беспечной жизни. Растрогало, как она, отвечая на вопросы, всем заявляет, что папочку зовут «Алек».

Целую ваши мордашки, невероятно похожие.

## Мои родители

Отец мой, Михаил Павлович Сенин (20.01.1924 – 07.05.2001 гг.) выходец с Рязанщины из Казачьей слободы города Шацка. Мама, Александра Никаноровна, урожденная Павлухова (2.03.1921 – 17.08.1998). Родилась в д. Колесово Чарозерского района Вологодской области, близ Кирилло-Белозерского монастыря. Всю жизнь свою они трудились на земле. Отец, имея всего 8 классов образования, поначалу работал пасечником, потом – управляющим отделением, наконец, директором совхоза. Мама, закончив сельхозтехникум, как молодой агрономом была направлена в наши края. Родители вырастили и достойно воспитали нас троих: Гаину, Михаила и меня. Благодаря им мы все получили высшее образование.

Отец от рождения был самородком, любил и умел шутить, слыл непревзойденным рассказчиком историй и случаев из жизни. Бывало, сочинял стихи, в основном пафосно-патриотические. За прямоту и правдолюбие не раз подвергался гонениям, лишался должности. К людям, несмотря на положение, относился по-доброму, всегда старался помочь. Как пеняла и выговаривала ему мама, что он готов был отдать свое последнее. Сама она была домовитой, чистоплотной, неутомимой труженицей: вставала спозаранку, а ложилась всегда послед-

ней. За день ни разу не отдыхала, несмотря на уговоры и ругань отца. Мама отличалась редкой памятью, которую, как и неутомимое трудолюбие, я у нее наследовал. Отец тоже много делал по хозяйству, но горазд был и отдохнуть: поваляться на диване с газетой, после обеда всхрапнуть часок-другой. Душой он был нараспашку. Мама же все держала в себе, мало с кем сходилась. Зато доподлинно могла копировать артистов и соседей, смеша всех нас. Если отец отличался вспыльчивостью, то маму трудно было вывести из себя. Она любила читать, и нас к тому приучила. По деревенским меркам мы имели достаточно большую библиотеку. В детстве чуть ли не каждый вечер мы с мамой слушали по радио передачи «Театр у микрофона». Учеба нам всем давалась. Когда мы с Галей одновременно поступили в институт, она – в педагогический, я – в юридический, для родителей это был праздник. С отцом нас соединяли товарищеские, доверительные отношения. Мечтатель по натуре, он постоянно мозговал над разного рода «проектами», к примеру, будучи хорошим пчеловодом, замышлял «залить страну медом». Когда я стал работать в прокуратуре, отец гордился мной и возлагал немалые надежды. Он полагал, что отныне в моем лице будет иметь надежную опору и защитника.

Мой арест стал для родителей страшным потрясением, поломавшим весь уклад их жизни. Отца, как члена партии, отстранили от должности директора совхоза. Они с мамой вынуждены были вернуться из Желудева в «Лесную поляну» на родину, где в 1958 году у нас был выстроен деревянный дом с усадьбой, огородом и садом. До пенсии им оставалось по 15 с лишним лет. Денежки, отложенные на сберкнижку, почти до копейки ушли на поездки в Саратов, адвоката, на тюрем-

ные передачи и многое другое. Мама признавалась, что в ту пору им постоянно приходилось занимать у соседей. На руководящих постах отец уже не мог работать, надо было на что-то жить и зарабатывать пенсию. Они с мамой устроились в МТМ (Машинно-тракторную мастерскую), он – сторожем, а она уборщицей. После «отсидки» отец рассказывал мне: «Знаешь, сынок, тебе там явно не сладко было, но и мы с матерью здесь натерпелись. Когда в конце августа я начал сторожить МТМ, в первые ночи приходилось кемарить на ворохе соломы. Хотя я и полушубок с собой прихватывал, а все равно зябко, особенно под утро. Проснешься, а рядом, в десяти шагах, остов грузовой машины, в которой месяц назад сторел дядя Ваня Спиряев, наш сосед. Жутковато делалось, и такая обида за себя возьмет, что слезы накипают...»

В январе 70 года должен был начаться суд. Я надеялся, что на протяжении процесса каждый день буду видеть моих несчастных стариков. Но судья-изувер Теплов запретил им присутствовать в зале заседаний, пока они не будут допрошены в качестве свидетелей. А допросил он их, как впрочем и Риту с сестрой Галей, в самый последний день. Все то время пока длилось судебное разбирательство, они, бедные, томились в коридорах облсуда, не имея возможности видеть меня.

Каждое утро нас из тюрьмы доставляли «воронком» во двор здания суда. На воротах неизменно дежурил милиционер. Открывались двери автозака и мы поочередно спрыгивали на землю. Каждого из нас справа и слева сопровождали конвоиры. Тут же раздавалась команда: «Руки за спину! Не оглядываться! Вперед пошел!» Обвиняемых заводили в специально оборудованную камеру, размещенную под залом заседания. Лестница оттуда

выходила непосредственно к скамье подсудимых. Рассаживали нас на расстоянии полутора метров друг от друга, переговариваться между собой строго запрещалось.

В одно такое утро я привычно спрыгнул из «воронка» и, не дожидаясь команды, заложил руки назад. Но у конвоиров произошло замешательство. Какие-то секунды я продолжал стоять, думая о своем. Неожиданно показалось, что мамин голос окликает меня: «Алька, сынок!» Только мама в детстве звала меня так. Повернул голову, неожиданно в трех метрах от себя увидел ее... Она стояла одна в вязаной душегрейке, с непокрытой головой, и, сжав пальцы рук на груди, не отрываясь смотрела на меня. Не успев сказать ей ни единого слова, я повиновался команде: «Вперед, пошел!» Всего несколько мгновений я мог видеть ее, мамочку мою милую...

Пятнадцать лет, как ее не стало... Но в душе, как некий иконный образок, до конца жизни храним ее страдальчески-горестный вид. По сей день он вызывает во мне слезное содрогание жалости и любви к ней.

Маме моей посвящается...

*...Не видел того глаз, не слышало ухо,  
и не приходило то на сердце человеку,  
что приготовил Бог любящим Его  
Первое послание св. Ап. Павла  
к Коринфянам, глава 2, стих 9*

\*\*\*

Не печалься, милый человек,  
О напастях, горестях, о доле.  
Голубое небо боли лечит,

Травы прорастают Божьей волей.

Видит глаз свечение созвездий,  
Слышит ухо плеск ночного моря,  
Но никто не ведает на свете,  
Что Господь для верных приготовил.

Там Христа не поведут к ответу,  
На пророков рук там не наложат.  
Словно вечер ласкового лета,  
Тих приют божественных подножий.

И только псалмов млечное струенье,  
Только даль немеркнувшего света,  
Да хвалы познавших воскресенье,  
Да любовь Создателя Завета!

\*\*\*

## Приговор

Начало антисоветскому подпольному движению было положено в 1965 году в г. Рязань. Оно объединяло радикально мыслящую молодежь, сознававшую необходимость коренных политических преобразований. Инициатива исходила от Юрия Вутки и Олега Фролова, студентов Рязанского радиотехнического института. Осенью 1965 года я познакомился с ними и вскоре стал активным участником рязанской антисоветской организации. По поступлении в Саратовский юридический институт, мне удалось в короткий срок объединить группу студентов не только юридического, но и других вузов.

Основываясь на трудах классиков «марксизма-ленинизма», мы полагали, что существующий строй представляет собой разновидность государственного капитализма, с отсутствием демократических свобод и партократией, как правящим классом. Наша программная цель предполагала подготовку новой революции. В кратком виде идейно-стратегическая платформа была изложена в работе «Закат капитала». Мне, как и другим членам организации, вменялось на суде написание ряда статей подобного характера.

Аресты начались в июле 1969 года в Рязани. Я был третьим из числа тех, кого взяли под стражу. Такая же участь постигла активных членов саратовской и петрозаводской организаций. В Рязани было привлечено к уголовной от-

ветственности 6 человек, в Саратове – столько же, в Петрозаводске таковым оказался Александр Учитель, студент университета. Число осужденных могло быть куда больше, если бы не одно обстоятельство: процесс выпал на 1970 год, когда в стране широко и помпезно отмечали столетний юбилей В.И. Ленина. Международная и внутренняя огласка суда над убежденными «марксистами-ленинцами» была не в интересах партийного руководства страны. Поэтому многие из участников движения, которые могли оказаться на скамье подсудимых, «отделались» исключением из вузов и лишением работы.

Суд начался в начале января. Заседания проходили в закрытом режиме, но при полном зале. В число приглашенных по преимуществу входили представители партийно-комсомольского актива области и саратовских вузов. Материалы дела составили 26 объемистых томов. За семь дней судебного следствия было допрошено несколько десятков свидетелей. Мои родители, Рита и Галина были допущены в зал заседаний в последний день, когда прокурор, завершая обвинительную речь, запросил мне семь лет лишения свободы. Никто из них по простоте сердца и мысли не допускал, что мне дадут почти «на полную катушку». Через три дня состоялось оглашение приговора. Считалось, что суд обычно назначал меньший срок наказания, чем то запросил прокурор. Но председательствующий судья Теплов, вопреки ожиданиям, добавил мне от себя «на орехи» сверх семи лет еще два года ссылки. Никто не ожидал столь сурового наказания.

Мы стоя выслушали текст приговора, судьбоносного для всех нас:

«...На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 71, 301-303 УПК РСФСР, судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда

## ПРИГОВОРИЛА:

...По совокупности совершенных преступлений на основании ст. 40 УК РСФСР окончательно назначить наказание Сенину Олегу Михайловичу – семь лет лишения свободы, со ссылкой сроком на два 2 года, Кирикову Валентину Ивановичу – шесть лет лишения свободы со ссылкой сроком на два года, Романову Александру Ивановичу – шесть лет лишения свободы без ссылки, Куликову Дмитрию Георгиевичу – пять лет лишения свободы без ссылки, Боброву Виктору Александровичу – четыре года лишения свободы без ссылки, Фокееву Михаилу Георгиевичу – три года лишения свободы без ссылки.

Определить отбывание наказания осужденным Сенину О.М., Кирикову В.И., Романову А.И., Куликову Д.Г., Боброву В.А. и Фокееву М.Г. в исправительно-трудовой колонии строгого режима»

\*\*\*

Предречена минута,  
Когда под медный бой,  
Среди толпы сомкнутой  
Предстану я босой.

За семь шагов до плахи,  
За миг перед концом  
К застиранной рубахе  
Ты припадешь лицом.

В красе простоволосой,  
Страданием исполненная,  
Ты перед тьмой откоса  
Мне ангела напомнишь.

Видения не нарушит  
Взлетающий топор.  
И примет мою душу  
Всеангельский собор.

\*\*\*

*Из письма от 26 Февраля 1970 г.  
Саратов, следственный изолятор*

**Моя милая рязаночка!**

Вошло в привычку писать тебе каждый день, хотя бы по 2-3 страницы. Берусь за перо и, кажется, поворачиваюсь спиной к тому мертвящему, что окружает меня теперь. Внутренне просветляясь, душой улетаю туда, где мирно в веках пребывает город, почитаемый нами. Прикрыв глаза, вижу нас на вечерних тротуарах улиц, и букет бело-розовых флоксов в твоих руках. На тебе все такое легкое, летнее, полетное, от босоножек до ниспадающего потока светлых волос. Так хочется, чтобы снова вернулось наше рязанское лето. Спустившись по деревянным ступеням кремлевского вала, уходить с тобой в предвечернюю даль окских лугов. Мне бы валяться на сене, пьянеть от хмельного, веками выдержанного вина чувств и, не находя слов, шептать и шептать одно: «Я люблю тебя... Тебя одну люблю...»

Полгода назад пришла беспросветно черная полоса, проклятием ареста и приговора обрекая нас на, разлуку, слезы, ожидания. Еще недавно мы не могли нарадоваться живому, всечасно осязаемому чувству любви. Отныне нас ожидает горестная череда дней и месяцев, прожитых порознь. Рита моя, одно меня мучает: смо-

жем ли мы все претерпеть и не сломиться? Где-то прочел, что вера рождает жизненный стоицизм. А в евангелии сказано: все, что то, что устрояется на зыбком песке, – завалится, а созидаемое на камне – устоит. Окажись я где-то на краю света, обратная моя дорога – всегда к тебе, к молчаливой, с грустными глазами женщине.

Как добрая лесная фея, ты некогда показала мне поляны с целебными травами. Если мне становится плохо, бессонными ночами я забредаю туда, чтобы потом испить прозрачные, душистые отвары, настоянные на родниковой воде прошлых радостей. Приходит ощущение, будто ложишься на теплые доски прибрежного мостка и опускаешь усталые руки в прохладную, темную воду вечернего озера. В первые месяцы, было совсем худо: вспоминать значило своими же руками срывать бинты, присохшие к ранам. Но и тогда мысли о прошлом приносили больше успокоения, чем боли.

Рит, знай, после ответа на кассационную жалобу нас отправят на зону, скорее всего, в апреле. Стану ждать тебя уже там, в Мордовии. Представляешь, не минуты, и даже не часы, а двое, возможно, трое, суток мы проведем вместе. Как только доберусь до зоны – сообщу тебе. Сразу приезжай, не медли.

Еще раз целую тебя и Алену.

*Из письма от 1 марта 1970 г.*

*Саратов, следственный изолятор*

Рит, весна-красна пришла, сегодня первый день ее. Правда, он пока ненастоящий, а лишь календарный, и ничем не отличается от вчерашнего, выстуженного,

зимнего. Но его календарное явление – радующий знак скорых капелей и веселых ручьев. Недельки через три, за тюремной стеной, на воле, девчонки сбросят надоевшие сапожки, и стуком каблучков своих легких туфельек заставят смотреть вслед долговязых очкариков. Надо же, верба распухнет, талая вода покроет заливные луга, мальчишки после школы будут шлепать по лужам, горлопанить, размахивая сдернутыми шапками.

От века повелось, что вместе с весной к нам приходит ожидание тайны. Многим она просияет в облике неожиданно явившейся царевны любви. Жаль, что не все весны идут за руку со счастьем. Думаю о тебе, и на память приходят чеховские слова: «Цветы повторяются каждую весну, а радости – нет».

2 марта. На прогулку не повели, а досадно: денек выдался расчудесный, так и дразнит. Через жалюзи прокуренной камеры вижу небо, обновленное, поголубевшее, чистое. В него хочется смотреть и смотреть: начинаешь ощущать нечто похожее на неясное, обещающее предчувствие. А солнца из-за высокого кирпичного забора мне никак не увидеть, перед глазами лишь полоска мартовского неба...

Так стоял я, слушая частый стук капли, восторженное чириканье воробьев, вдыхая тянувший в форточку запах мокрого асфальта. И вдруг, из молчавшего до сих пор радиоприемника мне в спину ударил проливень фортепианной музыки. Она возникла разом и неожиданно, но ее все наполняющие звуки как бы вторили моей слезной радости от наступившей, но недостижимой весны. В музыке, как и во мне, сквозь надрыв безысходности торжествующим сиянием капли заявляла о себе неубиваемая жажда жизни.

Когда звуки оборвались, диктор сообщил, что про-

звучавший 12-й этюд Шопена был написан композитором после разгрома польского восстания 1830 г.

### **Двенадцатый этюд Шопена**

Не помню про начало,  
Но, вздрогнувши, на миг  
Я ощутил плечами  
Восстаний гулкий крик.

И сразу по суровости  
Чеканных желваков  
Героев белой костью  
Скользнула дрожь веков.

Огнем из-под кресала,  
Торжественно и чисто,  
От звуков засверкало  
Тех звонких дней монисто.

Крошилась сталь от драки,  
И падали поводья.  
Восставшие поляки  
Рубились за свободу.

Распластанные руки  
Белели по бурьянам...  
Разгневанною мукой  
Стонало фортепьяно.

Под звуки Шопена, припадаю к руке моей ясновельможной пани, такой весенней и неистово желанной. Как заблудившийся в пургу, проплутав, приходит к тому же месту, так и я неизменно возвращаюсь к моей горюше.

Мне не требуется больше, чем ты дала! Да наверное, большее и немисливо... Я не могу ступить и шага, постоянно обнаруживая даты, события, слова, тронутые твоими тонкими пальцами.

В то лето, на мокром песке солотчинского пляжа, ты провела березовой веткой черту, от которой мы пошли вместе, рука в руке, не сбиваясь. Как дразнили меня твои загорелые колени из-под легонького сарафана, а светлые волосы по плечам пахли речкой и сосновыми иголками, запутавшимися в них... Возбужденные, ища уединения, мы уходили все дальше, вглубь леса. Там-то и застал нас дождь. Он не шел, а радостно летел с неба сквозь верхушки сосен на теплую хвою. Поначалу мы пытались укрыться, растянув над головой твоей болоневый плащик. Но скоро все, что было на нас, вымокло. Сияя глазами, ты выглядывала из-под плаща и, запрокидывая голову, восхищенно шептала: «Как здорово, Алька. Хочу, чтобы так было всегда-всегда...» Я целовал твое лицо, родинку на шее, пахнущие дождем и хвоей плечи... Невозможно было налюбоваться на тебя, казалось, нас никогда не оставит счастье того незапамятного дня. Но почему так грустно звучит Шопен, и глаза щиплют слезы?..

Недавно видел во сне – будто я в МГУ, в нашей комнате, на десятом этаже. И все как прежде: я лежу на тахте, а ты, опустившись на колени, гладишь пальцами мое лицо и негромко читаешь стихи. Слушаю и узнаю в них те, что были написаны в рязанской тюрьме. Становится тревожно, как на тюремном свидании, когда чувствуешь, что сейчас, может быть через минуту, меня уведут и надолго оторвут от тебя, живой, юной, моей... И снова стены камеры, зершеченный полумрак, гнет безысходности... «Не надо, Рит, слышишь, не надо», –

умоляю я. Но ты почему-то продолжаешь читать. Тревога усиливается, давит. Протянув руку, хочу зажать тебе рот, но ты, откинув голову, уклоняешься. Становится обидно: я не ждал от тебя такого. Повернувшись лицом к стене, затыкаю уши. Ты замолкаешь, и я слышу звуки, похожие на детский плач. Забыв обиду, поворачиваюсь и вижу как ты, в халатике, стоишь на коленях, опустив голову, и, закрыв лицо ладонями, всхлипываешь. Становится невыносимо жаль тебя!... Не отрываясь, целую твои мокрые щеки, ресницы, утираю слезы и молю растерянно и виновато: «Глупенькая моя, ну что это ты... Не плачь... Не надо...» Не поднимая головы, ты испугано шепчешь: «Алька... мне кажется, так будет недолго, ты снова оставишь меня и исчезнешь...»

*Из письма от 28 марта 1970 г.  
Саратов, следственный изолятор*

Ритэт, наконец-то получил твои письма, к удивлению, сразу два! Можешь представить невообразимое, что творится с Сениным?! Похоже на те минуты, когда радость сверкает и дробится, как россыпи салюта в праздничном небе. Ты просто чудо! А я – ревнивый и обидчивый юнец, мучительно и безрассудно любящий свою светловолосую женушку. В последнем письме я, идиот, обидел тебя ни за что, ни про что... Но в эту минуту, когда перед глазами строки и слова, полные любви, только и могу проговорить: я верю тебе, верю! Ты чувствуешь, как горит мое лицо? Всем своим существом понимаю: ты – прежняя, до последней клеточки моя - заплаканная и одинокая...

Не можешь представить, как важно снова и снова слышать от тебя, что между нами все остается по-прежнему. Успокоенный, уже не сомневаюсь, что как в лучшие наши годы, ты смотришь в мою сторону.

Надо же, апрель на дворе!.. Скоро у вас с Аленькой именины. Очароваша мои, поздравляю с той сердечностью, на какую способен тоскующий, безмерно любящий вас человек. Придет время, и я стану дарить вам в этот день букеты первых весенних цветов. А пока я целую вас много-много и столько же люблю.

\*\*\*

Еще березы берегут  
Последний снег подножий,  
А южный поезд, на бегу,  
От радости неосторожно  
Им разглашает тайны марта  
О скором торжестве теплыни,  
О том, что бита стужи карта  
И что черёд за благодатьней  
Шмелей, черемух, разнотравья  
И акварелей в майской раме.

\*\*\*

*Из письма от 11 апреля 1970 г.  
Саратов, следственный изолятор*

Рита, звездочка моя! Сколько раз я, лиходея, оступался, и ты, переболевши моей виной, прощала. Чего не доставало мне – понимания, сочувствия – я всегда находил у тебя. Разлука расшвыряла нас, навязала му-

чительный ритм существование, где нет места простой человеческой повседневности. Я не могу, как прежде, дарить тебе цветы, просыпаться в одной постели, умиляться вместе с тобой проказам Алёнки. За восемь месяцев неволи, благодаря тебе, я познал цену истинной жертвенности. Ни словом, ни намеком, ты не дала мне повода усомниться в твоей готовности и дальше идти вместе. После ареста страшно было даже предположить, сколько лет мы проведем в разлуке, терзало сомнение: не дрогнешь ли ты? Оказалось, что святое в человеке – будь оно величиною с зернышко – живуче и неуничтожимо. Если есть в нас капля любви, сострадания, даже ослабленные мы бываем способны на подвиг. Слава Богу, что у меня есть ты – любящая, неизменно помнящая. А ты знай, что есть губы, с которых не сходит твое имя. В нашем удивительном прошлом, как в куске горного хрустала, навеки хранимо чарующее полноту твоих глаз.

Много раз ты успокаивала меня, говоря: «Алька, вот увидишь, все устроится. Ты же у меня сильный...» А это значит, печальница моя, что через завалы лет я буду пробиваться к тебе, чтобы поцелуями вернуть к жизни мою спящую царевну. Как сладок мёд твой, как упоительна небесная манна твоего присутствия, возможность видеть, прикасаться и обмирать, любить единожды и вечно. В мучительных перекрутах разлуки я готов поступиться всем, чтобы снова вернуть наши уединения, прогулки, разговоры за чаем о доченьке. Мученица моя светлоликая, обреченная питаться крохами, но блаженная в своей жертвенной любви. Знала бы, какую всерадостную зарю зажгла ты там, где до сих пор светлели лишь сполохи предчувствий твоего явления... Пусть тебя греет мысль, что с утратой многого ты не

лишилась моей любви, безудержной и славословящей.

Во мне не сомневайся, в камере, под замком, – я тот же, по-прежнему растроганно отзываюсь на все, что как-то напоминает о тебе. Скажем, слушаю утром по радио метеопрогноз, сообщающий, что в Москве ожидается теплая солнечная погода. И я уже вижу, как ты, спеша с последней пары в «читалку», шуришься от апрельского веселого солнца. Замедлив шаг на Моховой, будешь наблюдать, как на тротуары из-под крыши падают и с грохотом разбиваются, сбитые дворником, огромные сосульки.

Недавно, читая «Асю» И.С. Тургенева, встретил имя Гретхен. Разом вспомнил, как на лестничной площадке саратовской «науки» начертал по запыленной побелке стены твое имя – Грэт. Сделал это украдкой, как мальчишка, с замиранием сердца. Каждый вечер, покидая 6 гуманитарный зал библиотеки, ласкал взглядом знакомый, сотни раз повторенный в письмах к тебе росчерк самого дорогого мне имени. Спускаясь по лестнице, приветно приподнимал руку и шептал: «До завтра, чудо мое...»

11 апреля. У меня новость – два дня назад из полуподвала перевели в камеру на четвертом этаже. К моей радости здесь на окне нет жалюзи. После трех месяцев мрачного затвора я могу видеть, как начинает рассветать, когда зажигаются звезды. Внизу громыхают трамваи, распускаются тополя, куда-то спешат люди. Выставив раму с запыленными стеклами, два дня не отхожу от окна. Ощутимо напоминает о себе весна, – влекущая, хмельная, равнодушно-неприкаянная к моим злосчастиям. От апрельского воздуха, голубизны, шума улицы, чувствую, как внутри властно заявляют пробужденные желания. Но стоило оглянуться, увидеть, где я, как сразу

принималась за свое поднывающая боль. Наступит май, займутся белым и розовым яблоневыми сады вокруг МГУ. Моя дипломница встанет на босоножки и сразу похорошеет. Но уже не сорвется, не прилетит к ней, как всегда неожиданно, ее Сенин, не поведет свою красу вечером на Воробьевы горы прогуляться. Представишь, и тут же уколется в самое сердце ревнивая тревога:

«Нас этот заменит и тот,  
Природа не любит пустот...»

В моем положении, а его не назовешь иначе как обреченным, хочется верить, что Сольвейг существует не только в книге и на сцене. Слава Богу, меня не оставила убежденность, что кроме пошлости и банальных прописей, где-то в ком-то хранимы реликты человеческих добродетелей.

Рит, ты не думай, будто я подразумеваю нечто дурное. Поверь, в сердце накопилось столько нежности к тебе, что никакие запруды ее не удержат. Между тем, мой жалкий удел – сообщаться с тобой не въяве, а по преимуществу письмами. К сожалению, слова на бумаге бессильны соделать то вседарящее чудо, на которое способны истосковавшиеся руки и губы твоего одержимого Альки.

Ты знаешь и слышала, что любовь это счастье и она невозможна без страдания. Но есть любовь-страх. Так вот, соплюша, последние две ночи я несколько раз принимался плакать из страха за нас. Но полно об этом, прости... Ничего, Ритэт, как говорят, время лечит. Бог даст, несмотря ни на что – останемся человеками, с совестью и понятиями. Лишь бы огонь не погас... Данте Алигьери прошел круги ада и чистилище, чтобы встретить, об-

рести свою возлюбленную в светлой райской долине.  
Сам я пока еще в пути. Терзаясь сомнениями, стиски-  
ваю зубы, отчаиваюсь и снова зажигаюсь надеждой, что  
рано или поздно наши объятия уже не разомкнутся.

### **Читая Данте**

От невозможности связать концы  
В суровых сроках ожиданья  
Тускнеют брачные венцы,  
Слабеют клятвы и признанья.

Но, прекословя безразличью,  
Всё попирающему тупо,  
Данте восхитил Беатриче  
Из мрака смерти неотступной.

Так бесподобен краткий миг –  
Награда трепетному чувству –  
Взнесший «мыслящий тростник»  
Под своды вечного искусства.

Над будничным чертополохом  
Цветет старинным изразцом  
Потупленное с детским вздохом  
Её прелестное лицо.

*Из письма от 21 апреля 1970 г.  
Саратов, следственный изолятор*

Представь, Рит, на зону нас до сих пор не отправили,  
так как из Москвы не пришло утверждение кассацион-

ной жалобы. Клянусь себя, что попросил не писать мне на Саратов: мог бы доньне получать твои письма и не терзаться неведением.

Ждал тебя на свидание, тосковал. Оказывается, облсуд предоставляет свидания каждый месяц. Последнее у нас было в марте, выходит, в апреле могли бы увидеться снова. Но, с другой стороны, может оно и лучше: у тебя сейчас преддипломная горячка и безденежье.

Представляю, как больно одной, без Сенина, встречать новую весну. Прошу тебя, бодрись, держись, как подобает моей жене, подруге и судьбе.

Целую всю-всю и всю люблю. Алене подари что-нибудь от меня. Алька.

*Из письма от 8 мая 1970 г.*

*Озерное*

### **Рит, мой тебе привет из Мордовии!**

3 мая, расчудесным деньком, нас шестерых в «вагон-зэке» отправили этапом к месту отбывания наказания. Несколько дней проторчали на пересылке в Потьме. Со станции Явас нас «воронками» развезли по разным лагпунктам. Мы с Мишей Фокеевым оказались в поселке Озерном в 17-ой «большой» зоне.

Обещанного на свидании письма я пока не получил. Но рано или поздно, оно найдет меня. Впечатления от той короткой тюремной встречи – незабвенны и доньне волнуют. Подобно архивариусу, записываю даты, слова, подробности свиданий: как ты выглядела, какая прическа украшала тебя. Ты-то знаешь, что за мной давно водится эдакая чудинка.

На зоне – не то, что в камере: здесь над головой небо, под ногами травка и вокруг зелень, я свободно передвигаюсь, общаюсь. Не говоря уже о том, что после затхлости и вони камеры славно вдыхать запахи весны и леса! А он рядом, за забором, картинный сосновый бор!..

После 8 месяцев, проведенных в каземате, эти трогательные напоминания о прежней жизни, радуют. Возвращается утраченное, вспоминается подзабытое. Опять же весна-красна, как бесплатное приложение. Ее чары дают о себе знать, но, слава Богу, здесь я надежно укрыт от соблазнов мира сего, а за тебя, москвичка моя, представь, переживаю. Саша Романов на пересылке напел мне песенку, как раз под настроение:

«Ну что ты смеёшься, а слёзы в глазах?  
Уже не вернёшься ты прежним назад...  
Друзья отвернутся, изменит жена -  
Беда никогда не приходит одна  
Соломинку счастья, сломав пополам  
Разорван на части по разным домам,  
На лыжах желаний несешься с горы  
А ночью стучат и стучат топоры...»

Не бери в голову, Ритэт, я не очень-то кручинюсь. Скоро заявится моя царь-девица, упьюсь ею, и снова она станет моей пленницей.

Алена, доченька... Воображаю, какая она в свои 2 годика... Тебе, Ритэт, наказ: при первой же возможности сфотографируйся с ней, чтобы передо мной красовался веер из карточек.

Надеюсь вскоре целовать ваши мордашки въяве.

## Арестантская одежда

С момента ареста и до прибытия в лагерь позволялось носить обычную гражданскую одежду. Во время следствия, зная, что меня ожидает в зоне, попросил родителей, чтобы они заказали для пошива черную куртку рабочего покроя, с утолщенным слоем ваты. Помимо ее, им удалось передать мне в тюрьму шерстяные носки, варежки и черный шарф домашней вязки. Были опасения, что все это у меня могли изъять сразу при поступлении в зону, как несоответствующее режимным требованиям. На деле все зависело, кто из прапорщиков будет принимать в этапный день новоприбывших. Среди них попадались службисты, что ни на йоту не отступали от буквы инструкции. В таком разе многое из того, что было на мне и в моем вещмешке, ожидала короткая категоричная фраза: «Не положено». Но нам с Мишей Фокеевым повезло. Этап из 5 осужденных, прибывших на 17-ю зону поселка Озерное, оформлял чернявый, отстраненного вида прапорщик. Ему-то за проявленную человечность я в душе и въяве сказал тогда скупое ээковское «спасибо». Считалось, если заключенному удалось пронести те или иные вещи в зону, то изъять их будет не так-то просто. На вещевом складе я выбрал две пары кирзовых сапог, одни для работы, а вторые как повседневные. С весны и до осени удоб-

нее было ходить в ботинках из грубой кирзы. Строгий режим предписывал ношение единообразной одежды, состоящей из штанов и куртки, пошитых из черного либо темно-серого х/б. Один комплект использовался как рабочая спецовка, другой – в качестве сменной одежды. Кроме обычных фуфаяк можно было выписать стеганный, удлиненный до колена бушлат. Зимой носили кургузые шапки-ушанки, в остальное время – подобие глубокой пилотки с гладким верхом и матерчатым козырьком. За все это добро заключенный должен был выплатить положенную сумму денег с личного счета. Потому-то из соображения экономии у заключенных не принято было обновлять гардероб без особой надобности: предпочитали носить, что гнушаясь, одеждой с чужого плеча. Спецодежду и валенки выдавали только стройбригадовцам: сварщикам и механикам.

Насельники зоны, даже из молодых, не очень-то озадачивались своим внешним видом. Для некоторых в этом выражался своеобразный вызов системе: «Плевать я хотел на то, что на мне. А вы никогда не заплюете мое достоинство и убеждения». Но были и такие, кто вопреки лагерному убожеству стремились выглядеть достойно: драили до блеска кирзовые сапоги, ботинки, ушивали, подгоняя по фигуре, одежду. По натуре и воспитанию я принадлежал к последним. Когда в ноябре 1970 года моего друга из Питера Бориса Шилькрота отправляли этапом в крытку, он подарил мне ладно пошитую, с кокеткой и строчкой, куртку на ватине. Литовец-весельчак Алекс Пашелис, освобождаясь, ссудил мне приличного вида джинсы, которым не было износа до конца моего срока. Помню, в швейный цех поступила плотная темная ткань для пошива спецрукавиц, отменный закройщик Женька Мурашов своим дру-

гарям, в том числе и мне пошил вполне стильные куртки. За все время срока я старался выглядеть подобающий внешний вид, при котором мне было бы не стыдно предстать перед ней...

*Из письма от 22 мая 1970 г.*

*Озерное*

Рит, занимался в библиотеке, когда сообщили, что в бараче меня ждет письмо. Обрадованно сорвался и... через минуту держал его в руках. Прочел. Отложил в сторону, чувствуя наползающую горькую обиду: нечто иное ожидал, хотел услышать. И, надо же, обманулся... Чужой ты становишься, Рит: во всем письме ни словечка о нас, все о делах и делишках. Не покидает ощущение, что каждое письмо для тебя – тяжкая повинность. Пойми, мне и двух строчек достаточно, лишь бы в них были мы. Замучила душевная маята, приезжай поскорей. Мне бы взглянуть в твои глаза, и не надо слов – я все пойму и для себя решу как быть.

Твоя холодность беспощадней пытки,  
От слов твоих чужих в глазах темнеет.  
Спасибо, милая, теперь в избытке  
Я мед и уксус опытов имею.

Спасибо за февраль, неожиданно-негаданно  
Открывший мне сокровища твои,  
За краткий миг любви обетованной,  
За горечь слов, развеявших наив.

Давясь обидой, рук не расцепляя,  
Я над остывшим пеплом каменею.  
Поверь мне, милая, теперь я это знаю,  
Ты в сагах грез моих пребудешь Лорелеей.

И зачарованно, резонов не приемля,  
Мой флюгер будет устремлен на север.  
В ту райскую и гибельную землю,  
Где сгинул я, в твою любовь поверив.

Под занавес хочу сказать что-то приятное: твои фразы на судебном процессе, когда ты отвечала на жесткий вопрос судьи, сделались нарицательными у моих подельников. Во время этапа кто-нибудь из них к делу и без дела, подражая твоей интонации, с улыбкой вставлял в разговор: «Вы знаете, это очень интересно...», «Ну право, что Вы такое говорите...»

Рит, после защиты диплома жду тебя на свидание. Из книг привези: грамматику по немецкому языку, словарь и 2-3 книжки по немецкому на бытовые темы.

Целую, жду.

*Из письма от 23 июня 1970 г.*

*Озерное*

**Здравствуй, Рит!**

Представляешь, вскоре после отправки мне вручили разом все твои саратовские письма. Я прямо-таки просиял!.. Такие светлые, прочувственные строки может написать только она, моя горюша. Сознаюсь, последний раз наговорил много глупостей, обидел тебя не за

что. За все прости... Верно замечено, что овны склонны к преувеличениям.

Еще раз спасибо тебе за письма, читал их с восторженным сердцебиением. Надеюсь, ты не забыла, как после дней разлуки я жадно припадал к твоим губам в затяжном поцелуе? Знай, что так же страстно целую тебя за сиреневый букет с воли. Его пахучие ветки, не сомневаюсь, были наломаны твоей рукой в палисаднике перед нашим домиком в Желудево. Представь, еще вчера, раздавленный хандрой, я думал о тебе невесть что.

Благодаря тебе, Ритэт, на душе вроде бы отлегло, но неизбывной остается тревога за нас. Она бывает питаема чем угодно: снами, мрачными сентенциями, строчками стихов. Стоило прочесть сентенцию: «разлука убивает любовь», как в голову полезли дрянные мысли. Невыносимо бывает подолгу оставаться наедине с подобным адом. По инстинкту самосохранения пытаюсь отстраниться от самого себя, занять позицию наблюдателя, «обсерватора». Для последнего характерно, прежде всего, отсутствие страстной привязанности к чему-либо. Он сдержан не сам по себе, а по внутреннему принуждению. Сказанное не значит, что обсерватор лишен эмоционального отклика. Напротив, он, как интроверт, способен на переживания в большей степени, чем любой другой психотип. Оно и понятно: постоянно пульсирующая энергия ответных впечатлений, не прорываясь вовне, создает дугу высокой эмоциональной напряженности. Потому-то в пределах самозамкнутой автономии обсерватора образуются очаги болезненных психических вопрошаний. У обычных людей подобные состояния можно было бы обозначить понятиями: «мнительность», «обостренная впечатлительность», «депрессия» и т.д. В банальной жизненной ситуации возникший в

сознании очаг психического негатива невозможно погасить усилием воли и самовнушением. Мировосприятие в таких состояниях отличается большой степенью искаженности и гипертрофией чувственных реакций. Чтобы свести до минимума неизбежные издержки пессимизма, предпочтительнее не сгорать, испепеляя все в себе, а озарять все вокруг сдержанной добротой и умудренностью. Обсерватор из-за своей статичности ограничен в возможности общения, диалога, он обречен на монологичность. Чаще всего это происходит не по его воле, а по действию промысла, рока, фатума.

Вот, скажем, я, имея свою звезду, не спуская с нее глаз, люблюсь и мучаюсь ее недоступностью, пытаюсь выяснить два вековых вопроса. Способен ли кто устоять перед диктатом эгоцентризма? И второе: насколько совместим в каждом обет верности и искусвождения? Скажу тебе честно, я одним мучим: существуют ли в повседневной жизни исключения из правил? Или их можно встретить только в рыцарских романах и в образах тургеневских героинь? Так вот, звездочка моя, во многом от тебя зависит вера или безверие твоего мордовского анахорета. Итак, станем жить и будем видеть! Но знай, я за звезды, которые не гаснут. Помнишь у Пастернака:

«И мы по жилищам  
Пройдем с фонарем  
И тоже поищем,  
И тоже умрем.  
Железо и порох  
Заглядов вперед,  
И звезды, которых  
Износ не берет»

Послушай, что я написал тебе в утешение:

Прости, что я ушел, но за собой оставил  
Старинный город с летом и дождями,  
Где смотрят улочки вслед мокрым тротуарам  
И помнят тысячи твоих следов и взглядов.  
Ты вечно там, и ты – со мною рядом!

В эти дни ты прощаешься с университетом... Поразительно, что в недолгой жизни вдвоем небо одаривало нас местами необычной красоты и значимости: Воробьевы горы в осенней позолоте, величие главного корпуса в окружении цветущих яблоневых садов... Память о них связана для меня с твоим пресветлым присутствием там.

Конец мая, яблони уже отцвели, но весна еще царит на Ленгорах. И, возможно, ты не без грусти вспомнишь, как теплой ночью в гуще университетского скверика, сидя в обнимку на скамье, я целовал твои веки, чувствуя, как они вздрагивают под моими губами. Обещаю, когда приедешь, все заново повторится.

...1 июня. Год назад я прилетел из Саратова в Москву. В тот день мы не знали, что это будет последний прилет с букетом, поцелуями, радостным ожиданием. Ты поедешь встречать в Быково, но, досада, самолет посадят в Домодедово. Я стану поджидать тебя в том же университетском дворике на нашей скамье. Потом ужин наедине, болгарское вино в красивой оплетке и сладостное предчувствие бессонной ночи вдвоем... Назавтра я возвращусь в Рязань. Дни буду проводить в прокуратуре, а вечером с предвкушением счастья возвращаться к нашей лопотунье в прохладную детскую. Мы с ней считали дни, чтобы в пятницу вместе встречать нашу маму-студентку на платформе в Дягилево.

В зоне, подступают мгновения настолько проникнутые лиризмом, весенней истомой, что окажись ты рядом, — я сжег бы тебя в объятиях. Но ты, живая, влекущая, так далеко, невесть где от меня... Ничего не остается, как выплескивать эту одичавшую энергию в жаркие строчки писем. Писать тебе — единственно доступная возможность общения, читать твои письма — сплошное обмирание. Они бередят, мучают, обнадеживают. Помимо моей воли, Ритэт, никто другой, а именно ты завоевала мое сердце. Я уже не смогу без тебя...

Рит, до личного свидания осталось всего ничего. Живу ожиданием встречи с тобой, малышкой Аленой, с родителями. Думаю, и ты переживаешь нечто похожее...

*Из письма за июнь 1970 г.*

*Озерное*

...Выпускница моя большелобая, поздравляю тебя с окончанием Московского государственного университета. В подарок отправляю написанный еще в Саратове этюд.

**Вера**

Каждое утро, после забытья сна, где еще живешь в прежней жизни, от одного вида камеры разом возвращаешься в жутковатую реальность дня. Мучительно бессилие перед тупой неподатливостью решеток и невозможностью что-то изменить. Чтобы прийти в себя, спускаю ноги с тюремной койки и подхожу к окну. Сквозь щели жалюзи проглядывает небо, голубеющее или пас-

мурное. Еще вчера осеняло оно мою недавнюю поистине райскую жизнь на воле... Неужто придет тот пресветлый день, когда распахнется дверь в твою комнату, и я увижу удивленные глаза моей светловолосой Сольвейг. Ты засветишься мне навстречу и осторожно дотронешься пальцами до моих заросших щек. Поблуднев, молча захлестнешь на шее ослабевшие руки свои и, подставляя губы, прошепчешь: «Алька, милый, вернулся...» Два человека, уставшие от разлуки, годами жившие ожиданием, наконец-то обретут друг друга. Огрубевшими пальцами я стисну твою запрокинутую голову и долго буду молча целовать большелобое, все в слезах лицо моей милой горяши. Может быть, впервые за эти страшные годы по твоим щекам покатятся не горькие, а счастливые слезинки. Потом, по-детски всхлипывая, ты уткнешься в мое плечо. А я, задыхаясь от волнующего запаха тяжелых льняных волос, буду шептать тебе понятные только нам двоим слова. Поднимая на меня заплаканные глаза, ты со счастливой улыбкой снова и снова будешь убеждаться, что это он – твой прежний Алька. Он здесь, рядом, теперь уже навсегда...

Поверь, чудо мое, мы снова будем вышагивать под летним дождем по улочкам, валяться на сене, хрустя яблоками, читать вместе Грина и совсем по Блоку «слушать в мире ветер».

### Путь

Ты прости меня, ты прости,  
Что иду к тебе долго и трудно:  
По мостам разметали настил,  
Обобрала ватага приبلудная,  
И цыган за коня не скостил.

Ты прости, что тебя к Покрову  
Не утешу неожиданным приездом,  
Дней твоих безотрадных канву,  
Порасцвеченных слабой надеждой,  
Я владычной рукой не прерву.

Ты прости меня, ты прости,  
Что твое одинокое ложе,  
Где давно уже жар мой остыл,  
На холодную келью похоже,  
И подняться к молитве нет сил.

Но поверь мне, что ты, только ты,  
Моих радостей грустная вестница,  
Там, за далью последней версты,  
Душу рвущей лампадкою светишься  
И мои воскрешаешь мечты.

\*\*\*

## Личное свидание

В заключении особенно тяжкими кажутся 2 гири: неотвратимость срока и неослабная мука разлуки. Что до первого, то каждый зэк тайно или явно надеется на чудо досрочного освобождения. В вынужденном одиночестве свидания были подобны голубеющим просветам в однообразно серой пелене тягучего времени.

На строгом режиме в год полагалось два общих свидания и одно личное. Общие предоставлялись на 4 часа, встреча проходила в присутствии надзирателя, что называется «через стол». В то время в Дубравлаге содержались политзаключенные со всего Советского союза. Для части родственников встречи на 4 часа были не по карману, так как добираться приходилось «за тридевять земель». Личное свидание в зависимости от поведения осужденного, по усмотрению администрации давалось на срок до трех суток. От наличия взысканий зависело: будет ли оно без вывода или с выводом на работу. В последнем случае заключенный должен был в 7.30 утра явиться на развод, откуда всех строем перемещали в рабочую зону. И только к 6-ти часам вечера, усталый и подавленный, он мог снова возвратиться обратно. Для зэка и его близких в эти 9 часов небо виделось в овчинку. На свидание допускались жены, дети, близкие родственники. Приезжавших, не исключая и детей,

тщательно обыскивали. Досмотру подлежали и привезенные продукты. Замечу, что родственникам разрешалось проносить любые продукты, однако по окончании свидания заключенный не мог вынести с собой ни кусточка из оставшихся деликатесов.

В 17-й «большой» и «малой» зонах, где мне пришлось сидеть, комнат для свиданий было не более 5. В каждой из них размещались 2 двуспальные, с металлической сеткой, кровати, стол с тремя стульями. Еду можно было приготовить на кухне, туалет был самый примитивный, с выгребной ямой. А душа не было совсем. При всем этом из всех лагерных строений «дом свиданий», который размещался под одной крышей с вахтой, был для меня самым притягательным местом. Раз в год, под его крышей, ко мне на время возвращались полузабытые переживания былой жизни. В летние месяцы, после ужина, я брал фуфайку, книги и располагался на травке за бараком, стоявшем близ вахты. Часами я читал, думал, писал письма, но при этом взглядом и душой я видел и чувствовал, что в 10 м от меня есть пустеющая комнатка с казенной обстановкой, зарешеченным окном. Она хранила чудоподобное присутствие моей любимой, доченьки, родителей.

Весной 71 года меня с одним литовцем в сопровождении надзирателя привели в «дом свиданий» для ремонта пола на кухне. Отрываясь от работы, несколько раз с замиранием заходил в «нашу» комнатку, как в некое святилище. При виде места моего недавнего скоротечного блаженства я заново пережил ту неувыдаемую радость. Едва сдерживая слезы, гладил спинку стула, на котором она оставляла на ночь свой халатик, мне казалось, что я чувствую запах её духов. Половицы коридора были мне дороги уже тем, что по ним ступали но-

жонки моей бесподобной трехлетней дочурки.

На личные свидания, а их за время моей отсидки было шесть, помимо Риты и Алены почти всегда приезжали отец с мамой. Каждой встрече предшествовал томительный и тревожный нервоз ожидания. Заводили меня к ним на исходе дня, сразу после развода с работы. По истечении времени, с трудом берусь выразить свое впечатление от первых мгновений встречи. Никогда после я не переживал в своей жизни похожих минут... Как сейчас вижу страдальчески милые лица моих стариков, слегка испуганные застенчивые глазенки Алены, и она, моя Рита... При одном взгляде на ее сдержанно-улыбчивое лицо, волосы, загорелые ноги из-под цветастого платья чувствую подступающее к горлу удушье... Объятия, слезы, восклицания, – наконец-то мы вместе!.. Потом меня ожидало царское угощение, радость семейного застолья, моя легонькая светловолосая крошка на коленях.

По обыкновению, через два-три часа общения, родители с присущей им деликатностью покидали нас с Ритой и отправлялись с Аленой в поселок, где ночевали у одной добросердной тетеньки. Наутро, часам к 10-11 они возвращались обратно. Аленка не отходила от меня: ласкалась, тормозила, требовала внимания. Как хорошо было видеть ее рядом, мою зацелованную, затисканную девчущку. По обыкновению, где-то после обеда родители, давая нам возможность побыть наедине, звали её погулять в лесочек, поискать грибов и ягод. Она охотно соглашалась, и принималась просить меня, чтобы я непременно пошел вместе с ней: «Папа, папочка, там такие большие елки! Баба сказала, когда мы придем в лесок, белочка сорвет шишку и бросит мне под ножки. Пойдем, папочка, я тебе подарю ее...»

Смутно помню, чем я отговаривался и что плел в свое оправдание. На второй день родители с Аленой обычно уезжали, прощание всегда саднило душу. До сих пор жива совестливая укоризна за все, что они претерпели из-за меня.

### СВИДАНИЕ

Я жду тебя в наскучивших стенах,  
А где-то там, в пространстве октября,  
Как птица райская, преодолевая страх,  
Взлетаешь ты на зов государя.

В холодном небе, пересекая дымку,  
Грустящую над Суздальской землёй,  
Ты грезишь комнатой, где под пластинку  
Я обмирал, склоняясь над тобой.

В твоих глазах, потерянных от счастья,  
В славянских льнах разбросанных волос  
Губами жадными я постигал согласие  
Любви и ревности, шипов и роз.

И уступала ночь круговращенью  
Объятий, шёпота, счастливых слез...  
А за окном по злему наущенью  
Бледнел разлукою предутренний мороз.

Доченьке:

Напрасен свет закатного портала  
Прощанья час, что не вернется вновь,  
Сегодня мне ручонкой помахала  
Дочурки мотыльковая любовь.

Напрасны запахи и перемахи птичьи,  
Июльской ночи круглая роса,  
Когда в пространстве нет ее светличья  
И кисточки в опущенных руках.

\*\*\*

*Из письма за июль 1970 г.*  
*Озерное*

Милая Тэт, получены два твоих письма, трогательно-печальных, прошли все сроки, чтобы ответить. Несколько дней кряду гложет и беспокоит, что их ждешь, тревожишься. И между тем только сегодня нашел в себе для этого силы. Спросишь: «Отчего так?» Поверь, после счастья, что захлестнуло меня в трех скоротечных днях, я не смел прикасаться к тому, что осталось на сердце после себя. Все то похоже на цветущий куст сирени, осыпанный каплями утреннего дождя. Представь: сад, свежесть запахов, тишина, и вдруг ударило из-за облачка солнце и разом сделало его бело-зеленым, сверкающим бриллиантом. Стоишь и не смеешь прикоснуться к чудодействию весны.

Девочка моя! Те три дня заново открыли мне, что ты – мой солнечный лучик, молодая травка, суженая мне от века, свет преображения моего. Ты одна способна успокоить, наполнить тихой радостью. Твоя легкая походка всегда несет тебя, моё лебяжье пёрышко, навстречу мне. Я обожаю тебя!.. Спасибо за дни любви, грусти и восторгов.

Помни, ты не одинока, я оставляю тебе жгучую любовь свою, упоения и голубизну прошлого. Год, как мы

переживаем блокаду. Мне совестно за свое бессилие пробиться к тебе, согреть, утешить. Одно нам остается: терпеть и верить. Все в жизни рано или поздно обретает истинную цену, Бог и время воздадут каждому. И опять же у нас дочь растет... По-моему, видом она будет походить на нас обоих. Цветы из ее букетика я принес со свидания в зону вместе со словарем, где она разложила их своими ручонками между страниц. Представить себе не мог, что она такая интересная... Будь мы вместе, не расставался бы с ней!.. Мы убегали бы от тебя в город, гуляли, лопали сладости, качались на качелях и только под вечер возвращались к нашей доброй и самой красивой маме.

На этом заканчиваю. Другое письмо отправлю дочкой, а в августе жди большущих и расчудесных писем, ты их как-то назвала «роскошными». За меня не беспокойся, я у тебя сильный.

Целую, твой Алька.

## Олег Фролов

На третьи сутки первого личного свидания с Ритой, от одного из зеков я узнал, что вчера, с этапом, на зону привезли моего подельника по рязанской группе Олега Фролова. Оставались считанные часы нашего с ней общения. Уже подступала боль неминуемой разлуки. И вдруг, будто в утешение, такое светлое известие. Ожидание не обмануло: Олег с Борисом Шилькротом встречали меня у вахты. Мы обнялись, и, переговариваясь, ожидали, когда надзиратель выведет Риту. Ей предстояло на виду у нас сделать несколько шагов до металлических дверей пропускного пункта. Выйдя, она помахала нам свободной от сумки рукой и все пыталась улыбаться. Я едва успел сказать ей, показывая на своих друзей, их имена. Она приветливо кивнула и... на полгода скрылась за громыхнувшей засовами дверью. В пакете у меня осталось большое махровое полотенце, что мне позволили вынести с собой. Спустя две недели оно продолжало хранить запах ее духов.

Весь вечер до отбоя мы провели с Олегом. Все это время меня не оставляла истощающая боль, мне требовалось высказаться, отвлечься. Олег, сам того не зная, скрасил мучительные минуты после нашего с ней прощания. Он стал для меня человеком от Бога. На воле мы с ним почти не общались. Он учился в Рязанском радиотех-

ническом институте, где встретился с Юрием Вудкой и вскоре присоединился к подпольной неомарксистской группе. Высокий, худой, несколько не складный, Олег имел несколько отрешенный вид молодого ученого. О том свидетельствовали большой лоб и рыжеватая интеллигентская борода. Он был рассеян, ироничен, сдержан на слова. Войдя в барак, поступью командора, стуча каблуками, шел по проходу вдоль стены и ряда тумбочек, едва не сбивая их. Не поворачивая головы, я уже знал, что идет Олег. А ходил он размашистым шагом, как бы ничего не видя перед собой. Мой поделщик, в отличие от меня, был совершенно безразличен к еде и своему внешнему виду. По зиме у него на шее из-под фуфайки вместо шарфа серело затертое вафельное полотенце. Не признавая ботинок и тапочек, он не снимал сапог ни зимой, ни летом. Зато любил после ужина выкурить трубку, набивая ее махрой, и всегда с удовольствием прихлебывал из общаковой кружки крепкий чаец. Имея интерес к высшей математике, постоянно выписывал и основательным образом прорабатывал книги, одно название которых у меня, неуча, вызывало пиетет перед его способностями. Изредка он брал у меня то одну, то другую книгу, например, Историю инквизиции, и штудировал ее от корки до корки. По складу ума Олег был систематиком, но чистая душа его, как шкатулка, хранила много разного, что наполняло наше общение сердечным лиризмом.

Всегда и во всем он оставался для меня настоящим товарищем. Помню, в начале весны 1971 года я переусердствовал в закаливании, что обернулось жестоким грудным кашлем. Из-за него я почти не спал ночами, а если и удавалось немного вздремнуть, то разве полулежа, с подушкой под спиной. Тогда-то я вспомнил, как в детстве мама лечила нас с сестрой и братом горячим паром. Пе-

ред сном она ставила всех троих на колени вокруг тазика с горячей водой, набрасывала сверху ватное одеяло и опускала в тазик раскаленные в печи куски кирпича. Потая, задыхаясь, чуть не плача, под ее строгим присмотром мы должны были терпеть эту врачующую экзекуцию. В моем случае усердным «лекарем» стал Олег. Несколько раз рядом с его заботливой помощью я проходил проверенный, стародедовский курс лечения.

Харчевались мы сообща, закупая два раза в месяц продукты в ларьке. Поскольку я не курил, он из деликатности, не желая урезать тратами на курево наш съестной рацион, пользовался обычной махрой, набивая ее в «профессорскую» трубку. Однако, снисходя вредной привычке своего друга, я каждый раз прикупал ему по три пачки дешевеньких сигарет с фильтром. По причине полной бытовой беспомощности и некоторому анархизму поведения, он целиком положился на мою хозяйственную рачительность. В зоне среди солагерников нашего возраста обычным делом было в еде и чаепитиях кучковаться по 3-4 человека. Но зачастую жизнь впроголодь и русская безалаберность приводили к тому, что дав брюху волю в начале месяца, можно было остаться без жратвы и курева всю вторую его половину. Нам с Олегом ларька вполне хватало «от» и «до». Более того, на дни рождения, праздники и особые даты в каптерке были припасены «деликатесы» в виде консервов, плиток шоколада и даже меда в баночках. Случалось, после чая, при наличии настроения, мы отправлялись на прогулку. Не в пример мне, Олег не любил гулять в одиночку.

Сколько за тот год нами было пережито и переговорено... Иногда мы яростно спорили, бывало, что и дулись друг на друга. Любезными сердцу каждого оставались воспоминания о Рязани. Олег знал город гораз-

до лучше, поскольку он там родился и возрстал. Я слушал его увлекательные рассказы, как сказку. Но более всего мне были любы наши оживленные диалоги об уголках и улицах города, которые были связаны с моим чувством к Рите. Едва ли не с первых дней общения мы доверительно открылись друг другу в самом дорогом, потаенном. Олег получал из Рязани от своей Таисии ежедневные письма. Меня восхищало постоянство этой удивительной девушки. Она дала своему возлюбленному обет дожидаться его и обещала отправлять в каждый день по письму.

Мы с Олегом прожили душа в душу целый год, после чего, к моему огорчению, его перевели на другой лагпункт. Как оказалось, нам больше не суждено было встретиться... Замечу, что лагерное начальство опасалось тесного сближения между заключенными и по режимным соображениям разрывало подобные дружеские альянсы.

Олег Фролов отсидел свой пятилетний срок от звонка до звонка и в последствии эмигрировал в Израиль. Его отец был еврей, а русскую фамилию он получил от мамы. Приезжая раз в год из Караганды в Рязань, я старался позвонить его родителям. В одном из разговоров его мама порадовала меня словами: «Олег всегда тепло отзывался о вас и о том времени, что вы провели в неволе...» Сам я никогда не забывал о нем и нашей братской приязни. Два года назад узнал со слов Саши Романова, моего саратовского поделщика, что в 1998 году Олег Фролов умер в Израиле от рака.

Царство ему небесное, и моя неизбывная о нем память.

*Из письма от 8 августа 1970 г.*

*Озерное*

Милая Рит, ты, конечно, заждалась письма, беспокоишься и, что хуже, гневаешься. На этот раз не услышишь банального «прости», попробую объяснить.

Понимаешь, потребность высказаться, излить душу неизменна во мне. Каждую минуту я готов как под копирку описывать череду своих душевных состояний. Они до краев наполнены воспоминаниями о нас, дорогим сердцу прошлым.

В письмах пытаюсь выразить, донести до тебя невообразимую какофонию переживаний, чтобы едино со мной ты жила тем же. Неистребимая во мне романтичность подсказывает, что так нам легче будет сносить каверзы судьбы.

Но стоит мне взять перо, вижу, как скучно мое слово и тщетны усилия. Начинаю нервничать, комкаю листы, кляню свою бездарность и в итоге... затыгиваю с письмом. Все оттого, что письма к тебе для меня не «ля-ля-ля», а лирическое, из сердца идущее откровение. Я ни на мгновение не забываю, что они обращены не к кому-нибудь, а к тебе, и потому должны быть достойны моей слезно обожаемой девочки.

Напрасно ты, Риточка, думаешь, что твои письма не нравятся мне, напротив. В них всегда ты – тоскующая, отстраненная и неизменно моя. А мне больше и не надо, читаю их и будто слушаю знакомую мелодию.

Август, Рит, ясноутрый, небесно-чистый. В бочке с водой, рядом с умывальником, плавают первые опавшие листья. Всюду кроткое предпечалье, тонкая музыкальность золотых сентябрей, в небе – краски воздушного хрустала. Вечера сделались звездными и свежими.

Август – любимый нами месяц!... На него выпадало время каникул, когда неделями мы были неразлучно вместе. Оттуда и наша песня:

«Скоро осень, за окнами август,  
От дождей потемнели листья...  
И я знаю, что я тебе нравлюсь,  
Как когда-то мне нравилась ты...»

Недавно прочел Генриха Белля «Дом без хозяина». Героиня удивительно похожа на тебя. Общее не только в характере, но – и это главное – в судьбе. Прочти. Поговорим и обсудим. Такие вещи воодушевляют, делают жизнестойким. Но основное достоинство их в том, что они дают возможность на опыте других взглянуть на себя со стороны.

Штудирую Ключевского. К сожалению, только с третьего тома, со Смутного времени. В «Вопросах истории» №2 за 1970 – рецензия нашего общего знакомого по Рязани А.Г. Кузьмина на работу Селецкого «Повесть временных лет». Имею намерение со следующего года подписаться на основные журналы по исторической науке.

Ритэт, Аленкина фотография вызвала у всех, кому ни показывал ее, неподдельное восхищение: «Не девочка, а картинка из сказки «Красная Шапочка и Серый Волк»...», «Бесподобная русская милашка!», «Сразу видно – рязанская девчушка!» и в том же духе... Не говорю уже о себе: я пришел в восторг от вида улыбающейся соплюшки в платочке и сарафанчике, красующейся на копне сена. Чудесно! Скоро заведу карманный блокнотик, помещу в него ваши милые мордашки, чтобы они были, как говорится, всегда при мне, на виду.

Целую тебя, чудо мое заплаканное. Всю целую.  
Твой Алька.

*Из письма от 24 августа 1970г.*

*Озерное*

Третий день стоит пасмурная, тихая погода, и лишь изредка, перед вечером, выпадает мелкий, сыпкий дождичек. После него еще острее пахнет опавшими листьями тополей и мокрой травой, подвядшей и жесткой. Осень, как и всякое время года, начинается с запахов. Все наполняя, они приносят предчувствие погодных перемен. Конец августа, и по мановению свыше в воздухе проступают полузабытые за год запахи, предвещающие осень. Как у Пушкина, они указывают на явление листопадной поры и возвышенных дум. Похоже на один из дней маклаковской осени, когда, надев ватники и сапоги, мы отправились за терном в поредевший, вымокший лесок. С его опушки, за лощиной, заросшей дубняком, и дальше, за жнивьем, виднелась колокольня старой церквушки. Было во всем что-то от русской старины. Казалось, стоит перейти на ту сторону лощины и увидишь остатки засечного рва, за которым когда-то предки наши стояли насмерть против крымских татар... Помнится, я импровизировал что-то в этом духе и читал Есенина:

«Опять я легкой грустью болен  
От овсяного ветерка,  
И на известку колоколен  
Невольню крестится рука.  
О, Русь, малиновое поле!  
И синь, упавшая в реку  
Люблю до радости, до боли  
Твою озерную тоску...»

На голову ты повязала мамин платок. Глаза от этого сделались еще больше, и вся ты смотрелась по-деревенски милой. Переходя от куста к кусту в густом и колком терновнике, мы обирали с мокрых веток синевато-сизые ягоды. Ссыпая их в корзину, неспешно, умиротворенно говорили о будущем. Обратно возвращались через лес, засыпанный влажной листвой, и ты все пыталась найти грибы. Грибов как не бывало, зато наткнулись на куст шиповника с остатками алых, сладких ягод.

Боже, каким чудным видится мне все это теперь, а ведь вроде бы в те недели, проведенные в Маклаково, мы иногда хандрили, на что-то недовольствовались, скучали по Рязани. Вот уж воистину, прав был Пушкин: «Всё мгновенно, всё пройдет; что пройдет, то будет мило». Время то для меня навсегда незабвенно. И наш облетающий сад, моя раскладушка в сенях, где пахло яблоками и тулупом, Аленкины ползунки, развешанные в палисаднике... И неизменно ты: в своем голубом халатике, вечно кое-как причесанная, занятая, но такая близкая, моя.

Когда приедешь ко мне в ссылку, мы будем уходить в тайгу, по-осеннему многоцветную. Ожившая и помолодевшая от моих поцелуев, ты снова повяжешь платок «матрешкой», и мы отправимся блуждать по сентябрьскому лесу.

...Сегодня 25-е. Год назад в этот день прошло наше первое после ареста свидание. Вспоминаю, как все происходило...

Где-то в 2 часа дня меня из тюрьмы привезли в управление КГБ. Допрос проводился в кабинете, окна которого выходили на «Подбелку». С разрешения следователя придвинул стул ближе к окну, чтобы видеть улицу. Жаркий август, люди, лица. Для кого-то всего лишь обыденная повседневность, а мне, просидевшему три недели в

камере под замком, предстала моя прежняя, недостижимо счастливая жизнь. Сживаясь с миром, человек пребывает в убеждении, что без него жизнь невысказима. Растроганно разглядывая из окна с решеткой уголок любимого города, и больше всего на свете хотел бы оказаться там!.. При этом я знал, что она, Рита моя, где-то неподалеку, рядом, и сегодня мы наконец-то увидимся!.. Как обещал следователь, это произойдет в конце допроса, но уже сейчас меня трясет от нетерпения: поскорее бы!..

Вдруг с удивлением вижу на противоположной стороне улицы сестру Галину: с озабоченным видом она прохаживается по тротуару, то и дело поглядывая в сторону серого дома. На лице растерянность и плохо скрытый, внутренний испуг. Виногато сознаю, что творится с ней. Да разве только с ней одной? Как переживают сейчас все, кто остался там без меня. К горлу подступает слезное удушье... Вижу ее какие-то секунды: скоро она уходит по тротуару в сторону почтамта и больше не появляется.

Телефонный звонок. Виктор Константинович снимает трубку. Из разговора заключаю, что подошла ты. «Пусть подождет...», - слышу я. Значит, так и есть. Волнуюсь, не могу усидеть на месте. С разрешения следователя встаю и начинаю ходить по кабинету. Наконец, допрос закончился. «Боже, совсем скоро я увижу ее, дотронусь до нее...» И сразу неумемная дрожь радости и нетерпения. По коридору стук твоих каблучков. Ближе, ближе... Встаю, поворачиваюсь к двери и... я уже обнимаю тебя. Забыв обо всем, целую в губы. Оторвавшись, слышу твой шепот: «Алька, ты?...» «Рит, чудная моя»... Через минуту сидим лицом к лицу. Не выпуская прохладной руки, неотрывно смотрю на тебя. Похудела... Глаза как у больной... Навертываются слезы, вижу, что и ты готова расплакаться... «Сенин, глупый мой, что ты наделал...» Невнят-

но отвечаю, утешаю, пытаюсь ободрить. На тебе летний приталенный костюмчик, колени касаются моих. Сжимаю их ладонями и чувствую твоё тело, тело моей любимой. Тревожным озарением прожигает мысль: «Страшно не то, что ожидает меня за приговором, а разлука с ней, утрата её...» Находит жуть и страх сомнения: «Будем ли мы когда-нибудь вместе?»

Говорю, что прочитал повесть Тургенева «Накануне», нашёл много общего с нами. Напомнил слова из твоего письма в то первое наше лето: «Я буду любить тебя, как Елена... Я способна на это» И тут же привожу признания Елены: «Я пойду за тобой, это мой долг. Я люблю тебя... Иного долга я не знаю»

Растроганно улыбаясь, ты рассказываешь, что Алёна до сих пор показывает, как папа уехал на «жи-жи». Признаюсь, что невозможно соскучился по ней, прошу обязательно взять её с собой на следующее свидание.

Как одно мгновение пролетели полчаса. И самое мучительное – прощание...

В камере не нахожу себе места от нечеловеческой боли. Вовек не забыть тот день – 25 августа.

...Сообщаю тебе, Ритэт, позавчера с друзьями за чаем отметил первую годовщину лагерного срока. По утрам делаю зарядку и обливаюсь. После смены (работаю теперь в швейном цеху) снова обливаюсь. Приспособил для этого дела кусок шланга и прямо в умывальнике, раздевшись по пояс, приступаю к водным процедурам. Снова, как в студенческие годы, занимаюсь закаливанием.

Надеюсь, время отсидки не пройдет даром. Тут есть все необходимое, чтобы основательно повысить уровень общей эрудиции. Уже немало перелопатил из истории религии и православия. Досадую, что не прочитал в своё время «книгу книг» – Библию. Благодаря дедуш-

ке кое-что помню из Евангелия.

Занятия историей идут своим чередом. Единственно, недостает времени и нужной литературы. В этой связи положил первый камень в дело обзаведения собственной библиотечкой, «книга-почтой» заказал:

1. «Литература и общественная мысль Древней Руси» под ред. Д.С. Лихачева.
2. Жан-Поль Сартр «Слова».
3. «История средних веков», учебник для вузов.
4. «Очерки русской культуры XIII – XV вв.» ч.2 Духовная культура. Под ред. Арциховского.
5. Словарь по этике.

Проработал подшивку журнала «Вопросы истории» за 1970. Рекомендую посмотреть некоторые статьи. В №2 и №3 – Артемьев «Следствие и суд над декабристами». Составишь себе представление о поведении заговорщиков из дворян на следствии. Откровенно говоря, наши первые революционеры оказались жидки на расправу. Но Пестель не сломился, он да еще несколько бунтовщиков достойны подражания.

Во 2-м номере просмотри статью Назарова «В диком поле». Она содержит очерк набегов на Русь отрядов Крымского и Хазарского ханств в 16 веке. Оказывается, берег Оки городами Коломна и Рязань в 15-16 вв. являлся защитным рубежом против частых разорительных набегов беспокойных южных соседей. Представь себе, наш маленький Пронск в 1541 году выдержал 3-дневную осаду многочисленного войска Сагиб-Гирея, который так ни с чем и убрался от его стен.

Рит, к тебе просьба: при возможности набросай характеристику Ключевского как личности и историка.

Пиши. Рекомендуй, наставляй. Я жду. Со временем, когда немного обживешься, стану докучать вопросами.

*Из письма от 12 сентября 1970 г.  
Озерное*

### **Здравствуй, Рит!**

Прими очередное исповедание. Тебе, единственному человеку на всем белом свете, я доверяю самое сокровенное. Отсюда неизбывная потребность в письмах, желание говорить с тобой хотя бы посредством тонких листков. Авиапочтой они пересекают пространство в 2 тыс. км, и вот ты держишь их страницы в длинных красивых пальцах.

Знаю наверняка, что ты ждешь и нуждаешься в них. В каждом конверте присутствие ласки, без которой тебе и мне жизнь была бы не в жизнь. Год назад, когда этот неприкаянно счастливый мир разом перевернулся, почернел от общей нам беды, я по-настоящему оценил, как много ты значишь для меня. Раньше, твое дыхание во сне, рядом, на подушке, воспринималось как самоочевидное. В разлуке мне открылось удивительное свечение четырех лет, проведенных с тобой. Ныне, в лесной глухомани, вдали от тебя, я благодарю Бога за светлые обретения тех лет.

Ты, грустинка моя, одновременно там – в далекой неведомой Караганде и неизменно со мной – за колючкой. Не будь тебя, Алены, жизнь сделалась бы серой и ничемной. Как тонкая свечечка, ты озаряешь и теплишь сумеречный закуток моего существования.

Перечитай письма, и увидишь, что они написаны человеком, для которого весь мир преломляется через хрусталик обожания его избранницы. А зовут-прозывают ее Ритой-Маргаритой, соплюшей и очаровашкой. Да будет ей известно: единственное, чего я от нее жду, прошу и даже требую – любви и преданности!

Кстати, наш «артишок» прислал письмо – собственноручное, да ко всему и с рисунками. Ясно, что кто-то из взрослых водил ее ручкой, но как приятно было получить письмецо, адресованное «миленькому папочке». Как отец, я от ее посланий просто в восторге. Представляешь, она «печет» пирожки и «отправляет» их папе. Галина ее спрашивает: «Что мы с тобой напишем ему в письме?» Она: «Скажи, что я люблю шоколадные конфеты...» Святая простота!

Целую в макушки вас обеих.

*Из письма от 1 октября 1970 г.*  
*Озерное*

### **Хорошая моя!**

Ты права: не стоило тратить столько бумаги, чтобы обыграть одну опрометчивую фразу, что была сказана тобой по настроению. Но тебе, голуба, ведома моя впечатлительность, импульсивность, и самое скверное – самоистязающая ревнивая мнительность. Всякое твое неосторожное или двусмысленное слово способно произвести такой психический бурелом, что после, в часы затишья, мне остается сокрушаться и каяться. Насколько то плохо или хорошо – вопрос другой. Тебе, между прочим, не следует забывать, где я ныне обретаюсь, равно как и о моей душевной ранимости.

Слава Богу, последнее твое письмо напрочь развеяло черные подозрения. Ты оказалась просто волшебницей, впрочем, что значит оказалась, ты всегда была ею... Похвально, что стала чаще писать. Тепло твоих строчек согревает меня до следующей весточки. Из далекого далека

они доносят обаяние фразы, сколок настроения, впечатления минуты. На конверте каждого письма тут же по прочтении набрасываю черновик ответа. Когда-нибудь, по выходу из зоны, ты прочтешь уйму не дошедших до тебя «писем».

На последней фотографии ты удивительно как хороша, что-то есть в тебе от принцессы крови. Один из моих друзей, человек сдержанный и несколько мрачноватый, взглянув на карточку, неожиданно спросил: «Олег, а какое у нее имя?» Я ответил, на что он проронил: «По мне, ей более подошло бы имя Иоланта». Так что, краса моя, прими и порадуйся комплименту из Дубравлага.

...Продолжаю на другой день, получил еще одно письмо от тебя, написанное сквозь слезы. Зашемило сердце: такая ты в нем потерянная, одинокая... Вижу, как непросто тебе достаются первые шаги жизни в Караганде. Представил тесно заставленную койками комнату в общежитии: с утра и допоздна голоса, смех, стук каблуков и невозможность остаться наедине, забиться. По себе знаю, как плохо тебе сейчас, горяша моя... В том и драма, что я здесь, за колючкой, а нужен тебе там, чтобы рядом и вместе. По-мужски стыдно сознавать свое бессилие. Через кромешную даль отчужденности пытаюсь донести до тебя, как истосковались руки мои по нежно-белой коже твоей. Думы мои всегда о тебе, моей светлой женушке. Я привит к тебе, как черенок к ветке – однажды и навсегда. В узилище, стал понимать, что общение душ – больше, чем слияние плоти. Но по-человечески счастье там, где присутствует то и другое.

Вот я и выговорился, путано и пылко. Лучше бы тебе, Ритэт, меня, Селадона, не слушать.

А теперь, Рит, я сообщу тебе нечто неприятное: за нарушения лагерного режима я наказан водворением на 2 месяца в помещение камерного типа (ПКТ). Среди зэков

ПКТ более известно как БУР (барак усиленного режима). Название само за себя говорящее. Сразу успокою: хуже мне там не будет. Однако есть режимные ограничения: запрет на свидания и личную переписку. Поэтому свидание в октябре придется отложить до декабря. В предстоящие два месяца смогу отправить всего одно письмо. Обещаю, за 2 месяца я напишу тебе уйму чудесных писем и перешлю сразу по выходу из БУРа. Не переживай и немного потерпи: скоро все вернется на круги своя. Набрал с собой много книг, тетрадей. Употреблю время для самообразования и творчества. Знаю, ты станешь бранить меня, но, пожалуйста, не в письмах, а потом, наедине. Уверяю, ничего страшного не случилось. Но постараюсь впредь не попадать сюда, дабы не огорчать тебя.

Тэт, милая, скоро 27 октября, наша негасимая, как лампада, годовщина. В декабре пришлю тебе огромное письмо, где вспомню тот не по-осеннему теплый день, цветы в руках ослепительной невесты, и мои слова, исполненные восхищения, когда мы мчались в машине по Комсомольской набережной.

Арестантским приветом да будет для моей ясной эта открытка. Видишь, как похоже на нашу Рязань, набережную Кремля, крепостной вал? Будем вместе помнить и, Бог даст, все переживем.

## БУР

Так называли барак усиленного режима, куда выдворяли «злостных нарушителей» на срок от 2 до 6 мес. Название сохранилось со сталинских времен. С «хрущевской оттепели» грозно звучавшее наименование было заменено на более мягкое ПКТ (помещение камерного типа). Советское исправительно-трудовое право узаконило 5 видов режима. Первые три – общий, усиленный и строгий – допускали свободное передвижение заключенных по территории жилой и рабочей зоны. Исключение составляло время с отбоя до подъема, с десяти вечера до шести утра. В эти часы осужденные должны были находиться в жилых бараках. При этом двери не запирались, и можно было отлучиться по нужде, но всякое групповое общение и хождение в эти часы запрещалось. На особом и тюремном режимах заключенные жили и работали в камерах, под замком, имея в день лишь одну получасовую прогулку в закрытом двореке. Лагпункты для особо опасных государственных преступников были немногочисленны: в каждом них содержалось примерно от 200 до 700 человек. Общее число их не превышало 10-ти. В печально известной Владимирской тюрьме, крытке, имелось отделение для «политических». Там поддерживался особо суровый вид режима. По решению суда в крытку определяли нарушителей, не поддающихся исправлению. Но прежде чем отправить заключенного во Владимир, лагерная ад-

министрация последовательно использовала имеющиеся меры дисциплинарного наказания. Поводом являлся рапорт надзирателя, составленный по факту конкретного нарушения. Начальной дисциплинарной мерой было лишение дополнительного пайка, когда зэка лишали возможности ежемесячно отовариваться в продуктовом ларьке на сумму от 5 до 7 рублей. Всякий, кто лишался возможности «отовариться», вынужден был довольствоваться скудным трехразовым питанием в столовой.

Очередной мерой являлось лишение посылки весом в 5 кг, содержимое ее было строго регламентировано. После следовало лишение права на общее, а затем и личное свидание. Если перечисленные меры не оказывали должного воздействия, и заключенный не становился на путь исправления, его сажали в карцер от 3-х до 15-ти суток. Карцер представлял собой одиночную камеру, с парашей и деревянным топчаном, плоскость которого крепилась к стене на петли и опиралась на два бетонных стульчака. С момента отбоя и до подъема, надзиратель пристегивал плоскость лежака к стенке посредством замка. У заключенного отбирали бушлат или фуфайку, и он вынужден был 16 часов кряду «бодрствовать» в холодной камере. Приходилось согреваться непрерывной ходьбой либо зарядкой, время от времени присаживаясь на неудобный бетонный стульчак. Кормежка в карцере была скуднее обычной, ларек и посылка не полагались. Но даже столь суровые условия карцера бессильны были остудить горячие головы некоторых из моих солагерников. в личной карточке некоторых из них значилось: «До 10-ти и более карцерных отсидок». Таковых ждал скорый прямой и скорый путь в БУР.

Мне исполнилось 23 года, когда я оказался на 17-й «большой» зоне Дубравлага. Примерно 2/3 заключенных составляли «старики», так между собой мы, «антисовет-

чики», называли осужденных за военные преступления. В большинстве своем эти люди имели по приговору по 25 лет срока. Отбывая нечеловеческие по длительности «четвертаки», они покорно несли свой крест: старели, болели и умирали в зоне. У них было единственное желание – выйти на свободу, и малый остаток дней провести на Родине, с уцелевшими сродниками. 1/3 насельников зоны составляли осужденные за антисоветскую деятельность, в возрасте от 20-ти до 40 и более лет. Сами они в шутку называли себя «мальчиками-антисоветчиками». Имея политические убеждения и сознание своей правоты, эти люди были объединены неуступчивым противостоянием лагерной администрации, режиму и существующей власти как таковой. Одержимые молодостью, полагая, что им уже нечего терять, подобно Дон Кихоту, они бесстрашно и самозабвенно сражались с «ветряными мельницами». Когда свежим огурчиком я попал в этот рассол, то сразу пропитался общим нам бойцовским духом. Мы постоянно составляли и подписывали разного рода обращения и жалобы в государственные и зарубежные инстанции, бумаги эти нередко переправлялись запрещенным способом. Кроме того, по разным поводам объявлялись голодовки, отказы от работы и выполнения производственной нормы. Подобными мерами мы пытались принудить администрацию выполнять заявленные нами требования.

За 5 месяцев бунтарского дуросветства, в котором обнаружилась безудержность моей натуры, я испытал на себе все перечисленные меры наказания. 2 октября меня неожиданно вызвали к начальнику лагеря, капитану Горкушову. Он зачитал распоряжение о выдворении меня в ПКТ на 2 месяца за многочисленные нарушения и упорное нежелание встать на путь исправления.

Здание Бура находилось недалеко от вахты, и было от-

делено от жилой зоны двумя рядами колючей проволоки. Всех, кто попадал туда, сажали на пониженный паек, лишали возможности переписки и свидания. Круглосуточно, за исключением получасовой прогулки в огороженном деревянном дворике, заключенный должен был находиться в жилой либо рабочей камере. В БУР дозволялось взять с собой одежду, книги, все постельные принадлежности: матрац, подушку, одеяло. Большую часть камеры занимала «вагонка» – так назывались сваренные из металлических уголков двухъярусные нары, с дощатыми настилами. Моим соседом оказался Валерий Петрашко, по виду совсем еще мальчишка, смуглый, с горящими глазами и по-детски смешливый. Его с группой таких же, как он, «малолеток» (несовершеннолетних), посадили за поджог прокураторы в небольшом сибирском городке. Через коридор от нас, в рабочей камере, стояли несколько швейных машинок с электроприводом, на которых мы были обязаны в течение рабочего дня заниматься пошивом рукавиц. Мы с Валерой раза два принимались за шитье, но так как в БУРе не топили, и в камерах было зябко, мы решили отказаться от работ. За отказ нас перевели на карцерный паек. Это было совсем ничего, одним словом, «голодуха». Зато теперь у нас появилась благословенная возможность общаться и читать книги с утра до ночи. Чтобы вконец не задрогнуть, приходилось утепляться: не снимая фуфайки и сапог, в одежде, мы ложились на голые доски настила. Затем, поверх тонких одеял наваливали на себя матрацы, набитые техническим тряпьем. Расположившись головами к оконному проему, мы принимались за чтение. Книги в неограниченном количестве можно было выписывать из библиотеки. Благодаря полуголодному досугу, я за два месяца прочел шеститомник Ключевского, почти всю «Историю» Соловьева, не говоря уже о художественной литера-

туре, состоявшей преимущественно из русской классики.

Пребыванию в БУРе сопутствовали, неожиданные для меня, греховодника, Божии благословения. В соседней с нами камере сидели двое эзков с «малой» 17-й зоны: Леонид Иванович Бородин, впоследствии крупный русский писатель, многолетний редактор журнала «Москва», и его подельник – Николай Викторович Иванов, кандидат исторических наук. Они принадлежали к ленинградской подпольной организации ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа). По этому делу в Ленинграде в 1967 году были арестованы и осуждены на разные сроки 33 человека. В организацию входили колоритные идейно-зрелые люди, в большинстве своем православные, с националистическими и даже монархическими взглядами. Мы с Валерой не имели возможности общаться с ними непосредственно, но, благодаря добряку-надзирателю, часто обменивались книгами, а случалось и записками. Когда дежурный надзиратель по необходимости покидал здание ПКТ, мы переговаривались с ними через дверь. Среди переданных нам книг оказались: «Духовные основы жизни» религиозного философа Владимира Соловьева и «Изборник». В последнем были собраны лучшие произведения Древнерусской литературы от «Повести временных лет», «Киево-Печерского патерика» до «Жития протопопы Аввакума». Обе книги оказали на меня воистину переворотные действия. При чтении не покидало замирающе-радостное чувство узнавания своего, родового, национального. Неожиданно открылась подспудная приверженность к русским корням и православному благочестию. Летописи, Жития святых, исторические сказы вызывали одухотворенно-горделивое чувство родства с моими соотчичами, славными своим героизмом и святостью. У Соловьева, через толкование молитвы «Отче наш»,

убежденный марксист, открывал для себя любовь Бога, непрестанно изливаемую на мир земной и небесный. В полумраке нетопленной камеры, ослабленный многодневным недоеданием, 3 недели не получая писем от нее, я в те дни растроганно ощущал тепло Божьего присутствия.

Именно таким Он открылся мне в прогулочном дворике в ноябрьский вечерний час. Однажды испытал допрежде неведомую сопричастность с Ним, я доньше не перестаю помнить об обещанном рае, как возможности навечного единения с моим Господом. С того дня, оступаясь, падая, бесчинно согрешая, содрогаясь от близости ада, я малодушно тешу себя тем, что еще есть время, еще не наступила та рекущая минута, когда стану безраздельно принадлежать Ему.

*Из письма от 20 ноября 1970 г.*

*Озерное*

Наконец-то пришло от тебя письмо. Три недели ждал его. В конце стало казаться, что ты бросила меня, совсем бросила, навсегда... Мучительные дни ожидания, нервного, мрачного, с губами, искусанными до крови. Не находил себе места, часами, до усталости вышагивал по камере. Четыре стены, я и боль. Вначале, что-то похожее на зловещую догадку: «Между нами все кончено...» Считал дни, ждал. В конце уже готов был принять наихудшее. В письме ждал подтверждения, как приговора, окончательного для меня. Решил завтра дать телеграмму, но тут, как спасение, принесли конверт. Знакомый почерк... Твои слова... Почти не верилось, боялся раскрыть его... Истягивающая пауза перед страшной вестью.

Но ничего такого в письме не было. Твои оправдания

показались мне легковесными и мало что говорящими, пустоватыми. Облегчение не пришло. Осталась жгучая детская обида: разве можно так небрежно, бесчувственно причинять боль душе, доверившейся тебе и неотделимой от тебя?..

Скандала не будет, – сил на то нет. Да и зачем? Бог тебе судья и дочь наша.

### РАЗРЫВ

Снежинки марта запоздало  
Темнеющий крахмалят снег, -  
Прощальный жест зимы усталой,  
Без всяких видов на успех.

Азарт летящей электрички,  
Сквозной унылый березняк;  
И ясной девочки моей светличье,  
И память грустная по отзвеневшим дням.

Что так легко произносилось,  
Что влагой застилало взгляд,  
Влекло, пленяло, возносило, -  
Все обратилось в тлен, в распад.

И слабых рук твоих сплетенья,  
И губ целуемых дурман,  
Моих восторгов песнопенья, -  
Все скрыл невидящий туман.

Но в мгlistой дали отчужденья  
Мерцает кованой звездой  
Превозмогающий забвенья  
Печально-милый образ твой.

## Боженька

На получасовую прогулку из БУРа нас с Валерой выводили в 5 часов вечера. Проходила она в небольшом глухом дощатом дворике с высотой стен где-то в три метра. Надзиратель запирали за нами дверь и уходил. Мы с Валерой делали зарядку, дурачась толкались, либо вышагивали из угла в угол каждый по своей стороне. В тот вечер мой сокамерник заспался и отказался идти на прогулку. Меня же, напротив, тянуло побыть на воздухе, под небом.

Прошло полтора месяца моего пребывания в БУРе, пониженный паек за отказ от работы давал о себе знать ватной слабостью в ногах и болями в сердце, особенно по ночам.

Осень в том году стояла на удивление теплой. Оставшись один, я какое-то время ходил, но скоро устал и расслабленно прислонился спиной к стене. Взгляд мой поверх забора привечали макушки сосен. Долгих 3 недели от Риты не было писем. При голоде и холоде они как никогда были нужны. Непреходящая тревога, ревность, самые мрачные предположения просто изводили меня. Терзаясь, я не способен был ни о чем другом думать. Сколько ни пытался забытья, переключиться на что-то другое, мне это не удавалось. Вечер был тихий, знакомые запахи осени делали его необычным, умили-

тельным. Запрокинув голову и прикрыв глаза, пытался представить ее там, в далеком, чужом мне городе. Мне хотелось ее пожалеть, утешить. Но выходило что-то другое: подозрительное, нечистое, вызывающее горечь обиды. В дощатом тюремном двореике, среди милой русской осени, в те минуты, я нестерпимо остро почувствовал одиночество и оставленность. «Ну где же ты, Рита моя? Если бы ты знала, как мне плохо...»

Не помню, сколько я так простоял, и вдруг откуда-то извне, как бы сверху, на меня стало сходить нечто легкое, ласковое, радостно узнаваемое. Оно мягко кружило, заслоня и удаляя все наболевшее. Тепло, которое я ощутил, напоминало то, что блаженно согревало меня в детстве, когда ребенком я зябко прижимался к маме, засыпая под одним с ней одеялом. Наитие свыше свершалось без моей воли, но ощущалось таким сладостным, умиротворяющим, что ничего помимо и не желалось. Блаженство и покой, которые оно приносило, невозможно было выразить. При этом во мне самом – ни удивления, ни каких-либо отчетливых мыслей. Но в то же время все существо мое, ощутившее прикосновение неизъяснимой благодати, растроганно осознавало – это Он, Бог. Он вернулся ко мне из моего незапамятного детства. Мой Боженька!..

Чувство реальности вернулось ко мне, когда я ощутил, что запрокинутое лицо все залито слезами. Без всхлипов и рыданий они катились из глаз. В те мгновения только слезы, обильные и беззвучные, могли выразить благодарную потрясенность моей души.

\*\*\*

Кто в скорбной нежности нас всех теплом дарит,  
Кем отогреты рученьки ледащие?

Как слезы радости, слова моих молитв,  
Во благости твоей ответы находящие.

Кому обязан я сиянием истин,  
Чей смысл для гордых душ непостижим?  
В ком нахожу хранительную пристань  
И сердца жар средь холодов и зим?

Кого, растроганному, мне благодарить  
За сад осенний, облетающий,  
За небо, не уставшее дарить  
Сочувствием своим все понимающим?..

\*\*\*

*Из письма от 3 декабря 1970 г.  
Озерное*

Рит, наконец-то выпустили меня... Морозец, солнце, снег, сосны невдалеке, – хорошо-то как! Чувствую: не только я им рад, но и они мне. Совсем не хочется укорять тебя за неоправданно долгое молчание. Забыть и наплевать! Мне бы сейчас зацеловать, закружить, и махнуть с тобой, моя боярыня, в сказочную заснеженную Солотчу.

Перед глазами – сияние такого же зимнего дня. Ты провожаешь меня на самолет в Быково. Случайно сели не на ту электричку; спохватившись, дожидаемся следующей на одной из снежно-нарядных подмосковных станций. Передо мной – из-под пушистой шали твое опечаленное лицо. Тебе не хочется отпускать меня, а я бы и сам вовек никуда не уезжал. Стучат электрички.

Солнышко не по-зимнему радостное. Под ногами слегка утопанный снежок перрона. Подумать только, я мог протянуть руку и дотронуться до рукава твоей шубки... За счастье почел бы только коснуться, ничего больше, - этого достаточно, чтобы задохнуться, чтобы покатались слезы и захотелось жить...

Нас ждет то, чему суждено быть. Боль, терзания – я люблю! Ночь, удушье обиды, слезы в подушку – не перестану любить! Годы беспросветные, долгие, жалость к тебе, страх, самоистязания ревностью – вопреки всему буду любить тебя!..

### ЗОВ

Перекажи то поле дикое венком,  
Взлети на крик мой тошный серой утицей.  
Не приведи полжизни пролежать ничком,  
Я верю, знаю: у тебя получится.

*Из письма от 7 декабря 1970 г.*

*Озерное*

Горюша моя ясная!.. За два месяца отсидки в БУРе ты почти ничего не получала от меня. И без того-то одна одинешенька, а тут еще и без писем... В оправдание ничего не остается сказать, кроме как: «Каюсь, каюсь, каюсь...» Имею намерение скрасить свою провинность.

Несказанно завидую, что ты побывала дома, в Рязани, целовалась и миловалась с нашей светлоголовой щebetуньей. Представляю, как она подросла, поумнела и запросто изъясняется на любые темы... Пытался во-

образить вашу встречу. Скажи, а от меня ты чего-нибудь привезла ей в подарок? Пожалуйста, Рит, для тебя ничего не стоит, а ей гостинец от папы – настоящий праздник. Что она спрашивала обо мне? Где вы с ней гуляли? Надеюсь, ты обо всем напишешь.

У нас давно зима, она пришла рано и неожиданно. Снег падал ночью, а утром, в рассветной полумгле, повсюду господствовала нетронутая снежная осыпь. После невзрачности осени её белое наваждение, как в детстве, радовало мягкой красотой. Смиренницы-сосны еще ближе подступили к забору зоны в своем заснеженном величии.

Проваливаясь едва не по колено, я не без радости ступал по легкому снегу моей первой лагерной зимы. Все напоминало о безмятежно счастливых зимах на воле. Нагибаясь, набирал снег в пригоршни и катал в ладонях холодящие, тугие, отдающие талой свежестью комья. Зримое чудо обновления природы позволяло вопреки власти времени и пространства ощущать нерушимую слиянность настоящего и прошлого. Представлялось, что такой же снег лежит на колких лапах сонных солотчинских елей. Он наполовину сокрыл стебли высохших, оставшихся в зиму цветов, под окном уютной детской, где сейчас в кроватке разметалась малышка Алена.

В будущем, встречая с тобой новую зиму, вспомню, как много лет назад похудевший и заросший бородой, в эковском бушлате и кирзовых сапогах я стоял на снегу и зачарованно смотрел в сторону темнеющего бора. Где-то далеко, за ним любимый мною город, утро, светлеющее снегом, первые троллейбусы и спящая малышка-дочь. Все там звало к себе, тосковало и ждало повторения трогательной сказки о моей влюбленно-

сти в студентку-снегурочку. Вижу ее, как на новогодней открытке, рядом с собой в вечернем затишьи зимнего сквера... Как восхитительна ее расстегнутая шубка, откинутая в ожидании поцелуя голова со сбившейся, припорошенной прической...

В душе что-то невообразимое, снегом подсвеченное. Помню первый вечер наших скитаний по зимней Рязани. Вижу убеленный, старорусский город, огромный темный силуэт Успенского собора, чугунную решетку набережной вдоль крутого откоса Кремля. Как в незапамятном «тогда», так и в лагерном «теперь» благоговею перед образом светловолосой студентки с портфельчиком. Мы самоотверженно мерили сугробы, обходя закутки между церковных строений и прошловековых деревьев. На краю обрывистого крепостного вала, напротив Спаса-на-Яру, я впервые поцеловал ее в мягкие, податливые губы. Падал снег, мелкий как крупа, на купола церквушек, на крыши города, по-зимнему уютного, молодил сосны Луковского леса, темнеющего за Окой... Под конец я увязался провожать тебя до твоего дома в пригороде. Всю дорогу, возбужденно веселые, мы тряслись на заднем сидении троллейбуса. Не помню, о чем говорили, но не забыть, как я сладко обмирал, когда мои ноги, не вмещавшиеся между скамьями, касались твоих коленей.

...Ты спросишь: «То был или видение?» Для меня, Ритэт, жизнь – это одновременно грустное и светлое смешение времен, спасающее от мозглостей, уныния и забвения. Оттого ты, как звездочка, мерцаешь мне ярче прежнего.

На удивленье мягкая пороша  
Твой легкий замедляет шаг,

И, пудря след твоих девичьих ножек,  
Парит над городом ее белесый стяг.

Из-под бордовых складок капюшона  
Венециановский светлеет лик.  
Как из картины, в прелести исконной,  
Он средь порталов каменных возник.

И нет ему подобных в галерее,  
Открывшейся для глаз моих.  
Любя, благоговей и шалея,  
Я припадаю к следу ног твоих.

Не дают покоя бунинские «Темные аллеи». Они восторгают и мучают сознанием, что для меня, бездаря, немислимо изобразить даже отдаленно схожее с письменами Мастера. Бунин... Мэтр и учитель. Одно имя его зажигает во мне ощущение родства в трепетном, фибральном осязании мира, в неутоленном чувстве любви к нему. Язык Бунина подобен росписи золота по черни на чашах из богатых скифских кладов. Написанное им дивно, исконно, точно, — оно волнует, помнится.

Представь, его как писателя открыла мне именно ты. В один из прилетов в МГУ я увидел у тебя на столе раскрытую книгу в темно-коричневом переплете. От тебя узнал о недавно вышедшем девятитомном собрании сочинений последнего русского классика. Появилось оно благодаря Твардовскому, с его вступительной статьей и замечательными примечаниями Олега Михайлова. За годы совдепии оно явилось самым полным изданием. Помню, в тот же вечер мы читали вслух рассказ «Новый год» и нашли много похожего на переживаемое нами.

Недавно открыл наугад «Лику» и долго не мог ото-

рваться. Казалось, что перечитывал мною самим о нас написанное. Хотелось плакать от светлой зависти и сознания бессилия, сказать так верно и красиво. Как благодарен я ему за способность облекать в слово невыразимую тайну любовного чувства, которое животворит и увековечивает все сущее. Лирическая проза Бунина мне видится высшей степенью писательского мастерства! Читая «Лику», не мог отделить ее от тебя. Ронял голову на книгу и видел твои, забрызганные дождем косы, болоневый плащик и милый пришептывающий выговор... С неослабным чувством вины часто вспоминаю твои слова из недавнего письма: «Алька, я успокаиваю себя тем, что когда-то меня будут любить больше, чем кого-либо...»

Холодов льдисто-хрусткая ясность  
Возвеличила лунные ночи,  
Очевидней представилась разность  
Наших жизней, незримых воочию.

Твоих сосен посадских гравюры,  
Жемчуга твоих грустных путей  
Я, лишённый наследия, сдуру  
Получил от царицы моей.

А взамен, беспросветный невежда,  
Одураченный радужной чушью,  
Поманил я тряпичной надеждой  
Твою детски наивную душу.

...Полтора месяца назад, двадцать седьмого октября, в БУРе, «отмечал» нашу грустную и золотую дату. Такой она пройдет через все последующие осени предре-

ченной нам разлуки. Весь тот день я был с тобой. Прочувствованно, с религиозным проникновением, я почи-  
таю здесь наши даты. С годами не слабеет надо мной  
власть их очарования... Переживая час за часом собы-  
тия того дня, не выпускал из своей покорную руку моей  
Царевны-Несмеяны.

Вечером в камере с двумя своими сотоварищами  
устроили скромное «застолье». Прошло оно на уров-  
не душевности, внутреннего такта. Ради такого слу-  
чая попросили надзирателя заварить две кружки креп-  
кого кофе. На табуретке, поверх журнальных обложек,  
прельщала запахом плитка рубчатого шоколада. Здесь  
же, куски подсушенного хлеба, помазанные рязанским  
медом, и горстка грецких орехов. Лакомство нам тай-  
ком передали из зоны через зэка-уборщика. Приняв по-  
здравления, твой Сенин держал краткую речь, которую  
привожу дословно: «Други мои, хочу, когда, Бог даст,  
каждый из вас обретет подругу сердца, пусть он будет  
так же счастлив. Хотите – верьте, хотите – нет, но весь  
день я вспоминал и нежил её в своем сердце».

Потом, в полумраке, читал им любовную лирику  
Тютчева, Пастернака, Евтушенко, и кое-что из своих  
виршей. Помнишь, у Ахматовой:

«Тешил ужас, грела вьюга,  
Вел вдоль смерти мрак...  
Отняты мы друг у друга.  
Разве можно так?»...

Лирический концерт открылся «Бабым летом»:

«Я кручу напропалую  
С самой ласковой из женщин.

Я давно хотел такую –  
И не больше, и не меньше»...

Звучали известные тебе «Причал» и «Белый свет»... Когда все спали, полулежа записывал на обертке от шоколада самое-самое из прошедшего дня. В те минуты появилась еще одна грустная страница нашей летописи.

Сестра Галина пишет: «Лёнка сетует на папу, что он писем ей «из Саятова» не шлет». Полагаю, обида справедлива: нечасто балую ее своими приветами, потому решил отправлять ей по письму в месяц. А ты не сочти за труд, пересылай их в отдельных конвертах, адресуя самолично Алене Олеговне Сениной. Так что мне предстоит попробовать себя и в сказочном жанре. Со следующего письма открываю переписку с моим маленьким «лукошком». То-то она будет рада! К слову, древнерусское именование дочери звучит донельзя подкупающе – «рожение мое». Стану хотя бы изредка величать так нашу светлоголовую щебетунью. Хочется, чтобы ты поскорее забрала ее к себе, спокойней будет. Кроме хлопот, придет утешенье и радость.

У меня есть самодельный блокнот для записей. На обложке я любовно вывел вензель «R» (надеюсь, значение его, тебе раскрывать не стоит). Ниже наклеена маленькая фотокарточка, с которой смотрят два похожих личика. Ношу его в боковом кармане, как говорится «у сердца». Временами открываю обложку, люблюсь вами, и легче становится.

Уединяясь на два месяца, прихватил с собой в БУР целую книгу. Читалось и думалось легко. Как повелось, поведаю о прочитанном.

«Слово о полку Игореве» удивительно по лиризму и целостности. Прочитал его в «Изборнике» вкупе с про-

чим. Мало что можно поставить рядом со «Словом» по языку и образности. Оно в этом смысле сияет как жемчужина среди малахита. Неудивительно, что сделано столько попыток поэтического переложения этого шедевра.

Из житий святых сердце задело «Житие протопопа Аввакума», собственноручно им написанное. Свидетельством фанатичной неуступчивости старой веры дошли до нас духовно-страстные писания «огнепального» протопопа. Неистовый Аввакум, принявший за свое непокорство муки неизреченные, привнес в них гордым мыслие, хлесткое полемическое красноречие и подкупающее описание своих невзгод. Меня-таки умилило упоминание о черной курочке, которая во время его голодного пути с семьей до места ссылки, несла, по милости Божией, по два яичка в день. Столь необычное просторечие впечатляет. Можно представить, как вдохновляла его последователей личность самоотверженного раскола-учителя, героизированная несокрушимой верностью старому обряду. На казни, уже объятый пламенем, он, поднявши руку со сложенным двуперстием, из огня выкликает последние слова: «Тако креститься...» У Ключевского нашел развернутое изъяснение причин раскола, который стал подлинной трагедией для нашего отечества.

Прочел повесть о походе Грозного в 1570 году на Новгород, с описанием души отвращающих опричных зверств. Страшно, что даже малых детей метали с моста в Волхов. Во мне еще больше укрепилось неприятие жестоких мер, которыми сопровождалась его реформы, по существу необходимые. Очевидна его заслуга в искоренении боярского сепаратизма и утверждении сильной государственной власти.

Любопытно, что в древнерусской литературе некоторые женщины имеют рязанское происхождение. Известная Февронья была взята в жены князем Муромским Петром из деревни Ласково, что близ Солотчинского монастыря. Приведу тебе притчу из «Жития о Петре и Февронии». Изгнанные из Мурома боярами, Петр и Февронья плыли в Рязань. Заметила Февронья, что человек один, плывущий с ними вместе с женой своей, смотрит на нее с блудным помыслом. Поняв похотливую нечистоту его желаний, Февронья попросила его почерпнуть и испить воды вначале с одного борта, а потом с другого. Когда он сделал это, она спросила, почувствовал ли он разницу. Тот ответил, что нет. Тогда Февронья смиренно и строго вразумила его: «Таково и естество женское».

Заметь, Ритэт, святая Ульяна Осоргина – также уроженка нашей достославной земли, не говоря уже о молодой жене рязанского князя Федора Игоревича – Анастасии. В декабре 1237 года, при известии о гибели мужа от татарских сабель, она бросилась с колокольни с грудным младенцем на руках.

Известно ли тебе, что предков твоих по бабушке, когда они еще в язычестве пребывали и именовались зырянами, просвещал и обращал в православие преподобный Стефан Пермский, впоследствии канонизированный? В заслугу ему ставится и создание пермской азбуки, благодаря которой он переводил на язык аборигенов библейские и церковные книги. Представь, моя белокожая зыряночка, кому обязана ты обращением в христианство.

Из афоризмов мне по душе пришлись: «Не тако огонь жжет тело, яко же душу разлучение от друга»; «не остави друга древняго, новый бо не будет ему подобен». Как

видишь, моя избирательность прямо-таки по пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

При возможности прочти в «Вопросах истории» за сентябрь и октябрь статью твоего рязанского метра Аполлона Григорьевича Кузьмина «Варяги и Русь на Балтийском море». Там же помещена информация о книге профессора Гуревича из МГУ по генезису феодализма.

Заканчиваю. Прошу тебя, нарисуй в пустой рамочке моего письма к Алене кота Мотьку. Появятся у меня карандаши – будет выходить лучше.

Целую, ваш Сенин.

*Из письма от 26 декабря 1970 г.  
Озерное*

### **Рит, бедная моя плакса!**

В последние две недели отсидки в БУРе во мне произошел некий внутренний слом, повернувший меня к светлодушию и иноческой тихости. Кажется ничем-нибудь недавнее бунтарское противление, на душу нисходит раздумчивость, от суетности потянуло к вечным истинам. Похоже на то, как реставратор, послойно расчищая старую икону, постепенно, по сантиметру, раскрывает красочную палитру изначального лика. Чувствую, помягчал я как-то...

Ты упрекаешь, что не жалею я тебя. Но такое можно сказать лишь с обиды. Сама знаешь – дороже тебя нет человека. Ты для меня всегда была Светом и донныне осталась родной и лучезарной. Мне ли не жалеть тебя, горемычную мою?.. О многом из того, что полыхает в

душе и вокруг меня, ты не ведаешь, потому что в письмах я многого не могу сказать тебе.

Догадываюсь, как тебя обидели мои укоризны. Ты не писала долгих двадцать дней. В камере время идет медленно, тягуче. И, конечно же, в голову лезут и приживаются самые невероятные мысли и страхи. В таком состоянии не различить, где явь, а где наваждение. Остается одно – лежать на нарах, укрывши голову бушлатом, и корчиться от боли. Поверь, не разжалобить тебя пытаюсь, но прошу и призываю, чтобы ты по возможности прониклась моим миром, перекошенным и непонятным тебе.

Разве ты забыла, как мы тосковали и влеклись друг к другу, когда жили по разным городам. Вспомни, как горячи были мои губы в ночах наших коротких упительных встреч. Но недолги были дни блаженства, прерываемые неминуемой разлукой. Не забыть, как ты чуть ли не каждый вечер плакала в телефонную трубку на другом конце провода. До сих пор в ушах твоей всхлипывающий лепет: «Алька, мой хороший Аллька, я больше так не могу... Хочу, чтобы ты был со мной рядом... Ну пожалуйста, сделай что-нибудь...» Выйдя из главпочтамта, я шагал по сырым, темным саратовским улицам, едва сдерживая слезы от жалости к тебе...

Вспомни первую ночь нашего лагерного свидания в июле. После моей истерики, ты, утешая, порывисто обвиняла меня и повторяла, что никогда-никогда не оставишь и не обманешь. Тем обещаниям я верю поныне. И знай, если предашь, то тем самым проткнешь кислородную подушку, что поддерживает прерывистое дыхание моей любви. Язык не поворачивается, но я все-таки скажу тебе: помни, во имя твоего счастья я готов посту-

питья своим. Случись что, ты не жалеяй меня, скажи прямо, и я отступлюсь.

...За окошком снег, мелкий, вьюжный. За белым полем серо-седой полосой темнеет лес, - привычная в своей печали зимняя картина. Рукой подать до Рязани, где так же метет. Наверняка в такую пургу Аленку на улицу не пустили. Она прижимается сейчас носиком к холодному стеклу и видит наш запорошенный двор, беседку, высокие тополя в окружении пятиэтажек.

...Получил разом оба твоих письма. Письма как ладошки, чуткие и ласковые... Как пыль с мрамора они смахнули мое прескверное настроение... Хорошо просыпаться по утрам после таких трогательных листков. Оказывается, ты при желании можешь быть чародейкой, а я, ты же знаешь, - отходчив и доверчив, как котенок.

Такое ощущение, будто до этого долго спал в ужасно неудобном положении. Но вот желанная перемена - и по телу разливается блаженство. Так немного надо, чтобы снять затянувшееся напряжение последнего времени. Наконец-то, на смену душевной мозглости пришло согревающая взаимность. Не устаю повторять детские заискивающие слова твоего оправдания: «Алька, прости и считай, что я долго-долго болела...» Ты, как всегда, остаешься немножко ребенком по причине своей мягкости и отстраненному спокойствию.

Вспомнил, как в один из прилетов зимой в МГУ ты получила письмо от бабушки Елены Ивановны. На обратной стороне конверта старая учительница, как нечто чрезвычайно важное и обязательное для сведения, приписала, что этой зимой напало очень много снега, а в районах так занесло дороги, что не пройти, не проехать. Протягивая мне конверт с бабушкиным эпистолярным причудом, ты восторженно хохотала, при этом

красиво пристукивая одетой в сапожок ногой. На лице у тебя было столько смешливого, девичьего!

Рит, видела бы ты, какие сосны красуются за барачным окном: запорошенные, стройно-величавые!.. У тебя в блоке 1041 на торце книжного шкафа висела картинка с видом зимних Альп. Голубеющее небо, горы со стройными темно-зелеными елями, а в самом низу – манящий цветами и травами альпийский луг. Всякий раз, любуясь своими соснами или просто бросая на них взгляд, я вспоминаю уют твоей комнатки, картинку с Альпами и те незабвенные для сердца дни.

Заказал «книга-почтой» альбом с фотографиями Москвы, надеюсь найти в нем места и улочки, по которым мы некогда с тобой плутали.

В одном из журналов натолкнулся на цветную фотографию зимнего МГУ, с фонарями и голубыми елями в снегу, довершающими великолепие университетской высоты. Иллюстрация хранится у меня вместе с фотографиями. Стоит открыть папку и один вид университета, с которым так много связано, трогает струны, вызывающие мелодию прошлого.

...Скоро Ритэт, Новый год. Обещай, положив ладонь на Библию, что напишешь, как ты его встретила, где, в какой компании? У меня каждый из праздников вызывает тревогу, тревогу за тебя. Добра от них, признаться, не жду. Стоило заговорить на эту тему, как разом испортилось настроение. Подозреваю, что становлюсь психом, мнительным и недоверчивым, неким «Угрюм-Бурчевым». Но не стану смазывать впечатления, - пусть сцену закроет светлый занавес.

...Помнишь, как вдвоем с тобой встречали наступающий 68-ой? Он должен был стать годом рождения нашего ребенка... Еловая ветка на столе, шампанское,

апельсины, и ты, мой умильный колобок, с округлым, едва заметным животиком. Вина тебе было никак не можно, и я, за веселыми разговорами, выдул всю бутылку. Потом ты надела свое бело-кисейное свадебное платье летящего покроя. Со стороны никто не принял бы тебя за беременную. Сияя глазами, со жгутами золотистых кос, ты выглядела ослепительной снегуркой. Мы спустились на первый этаж университетской громады, где яблоку негде было упасть. По углам громыхали сразу четыре оркестра. Мы танцевали все «медленные», не пропуская. В тот вечер я не сводил с тебя восторженно-влюбленных глаз...

Запомни, 31го, начиная с половины 9-го вечера по Москве, стану думать о тебе. Побудем в эти минутки вдвоем, ты – фея моя и я – твой похудевший принц. Как в МГУ, в нашей последней новогодней сказке...

Отправь от меня Аленке интересную игрушку. Обещанные стишки теперь уже в январе.

А сейчас я целую тебя в губы, жадно и нежно. Притягиваю к себе твои хрупкие, теплые плечики и пьянею от запаха твоих волос.

Твой Алька.

### ***Открытка 28.12.70***

Моя милая белоснежка, моя далекая и желанная!

С Новым годом!

Пусть 71-й, открывая собой десятилетие, приблизит заветный день, когда я снова смогу смотреть в лицо и целовать кончики пальцев самого дорогого мне человека. Не забывай, как нужна ты мне, как многого жду я от

тебя, всегда надеясь и веруя. Да укрепит тебя в разлуке причастность к миру Вышнему!

Целую. Твой Алька.

### *Открытка от 1 января 1971 г.*

Рит, 2-й год мы встречаем порознь, и оттого праздник, ясная моя, мне не в радость. Иное дело 1967, в Саратове... на квартире Вити Боброва. Кроме нас – Алеша Рудченко с Людмилкой, Юрочка Ильин, наряженная елка в полутьме комнаты. Вино, веселье, разговоры, танцуем с тобой под мелодию «Нежности». Мне кажется, будто голос Майи Кристалинской, похожий на падение снежинок с новогоднего неба, звучит с твоих губ. Пахнет хвоей, угощениями стола, тонкими духами твоей невообразимо красивой прически. Слиянность взглядов, касание тел, сознание невозможности прожить друг без друга ни дня, ни часа. Вот твои мерцающие глаза чуть скосились в сторону зеленой красавицы: «Алька, посмотри. Хорошенько запомни: елка, мы, снег за окном. Пройдут деньки, и мы станем грустить об этом сказочном вечере. Ты здесь, в своем Саратове, а я в Москве».

Рит, позволь я продолжу: «Одиноко и зябко мне в лесах Мордовии... А каково тебе в Караганде с ее буранами? И все же есть повод для слабой надежды: боли нашей поубавилось на целый год».

\*\*\*

Зима, цепenea снегами,  
Коснея январскою стужей,

Незримо, легко и загадочно  
Весне неминуемо служит.

Длинней, просветленнее дни,  
Цыган продает свою шубу,  
Темней проступает родник  
У старого зимнего дуба.

По небу белесая синь  
Торит непогоде дорогу;  
Метельных затиший теплынь  
Капелям спешит на подмогу.

\*\*\*

*Из письма от 5 января 1971 г.*  
*Озерное*

**Здравствуй, Рит!**

Всякий раз, начиная письмо к тебе, стараюсь вообразить, как ты станешь читать его, каким вижусь тебе, пытаюсь представить изменчивую гамму твоих чувств и мыслей. Ты ни разу не написала о впечатлениях от моих мятежных писем, оттого порой они кажутся мне канувшими. А сердце, поверь, ждет, как говорили в старину, чаёт отклика. Обреченный на разлуку, я закрыт надолго и накрепко, живу Небом и тобой. Влечение к тебе, перемноженное на импульсивность, ранимость души, у твоего острожника проявляется в чувстве рыцарского преклонения. Говоря проще, донна моя, мне без тебя здесь не выжить. Кому, как не тебе ведомы мои душевные прибабасы. Наделенный способностью нервно-

лирического восприятия, я сиюминутно и непроизвольно влекусь к тебе. Своими письмами стараюсь отчасти заполнить пустоту, образовавшуюся утратой непосредственного общения; по ним ты можешь судить, что видят мои глаза, чем занята моя голова. С их страничек до тебя доходят не только лучики нежности, но и тени сомнения, обиды, - словом, многое и разное. Всякий раз, отправляя письмо, я чувствую некоторое успокоение, наивно надеясь, что мои строчки могут остановить, удержать тебя от того дурного, что может убить нас. Признайся, Рит, читая их, ты невольно видишь всего меня, вертопраха. Не может быть, чтобы в эти мгновения, ты не ощущала в себе знакомые знаки моего недавнего живого присутствия.

Ты как-то обронила, что после моих писем тебе становится стыдно за свои. Это признание, вырвавшееся у тебя, для меня добрый знак: значит ты меня слышишь и усталым сердечком своим откликаешься, сопереживаешь.

...Сегодня, Ритэт, новый день, иное настроение. Его можно выразить словами из оперной арии: «Мне хочется Вам нежное сказать...» Невозможно как хочется, но... нет слов. Какие и были – устарели и затерлись. А мне просто не терпится сейчас, в эту минуту, в пасмурный снежный день конца декабря, прокричать, что я обожаю тебя!.. Твои тяжелые светлые волосы, которые могут пахнуть костром и лесом, пальцы твоих рук, с которых я, смеясь, губами брал цветные конфетки-горошинки, твой милый носик, предмет моих добродушных насмешек, ... Моя нежность, как белые туманы по оврагам в лунные июльские ночи. Помнишь, в сумерки, в нашей комнате, я садился подле тебя, лежащей на тахте, и медленно, без слов, гладил твое лицо, плечи,

волосы? Закрывая глаза, ты тихо улыбалась и протягивала ко мне руки. Они встречались с моими губами, и я целовал твои длинные прохладные пальцы. Осторожно опустив их себе на плечи, я склонялся к твоему запрокинутому лицу и, едва касаясь его губами, пытался в поцелуях донести до тебя невыразимое словами. Мы оба будто растворялись в беззвучной томной нежности. Нам хотелось, чтобы так длилось долго, всегда, вечно... Слова были ни к чему в упоительной музыке слияния двух... Сумерки за окном, тишина в доме, и пальцы, ласково ворошащие мои волосы...

Давным-давно, в прежней жизни, наши письма друг к другу нельзя было отличить – так они были схожи. Ты писала: «Знаешь, мне иногда хочется повторять шепотом и нараспев только одно твое имя: «Алька», «Алек», «Алечка»...» Представь, Рит, ловлю себя на том же...

Слышишь ты меня, в чужом, пугающем меня городе с гортанным названием «Ка-ра-ган-да». Мне бы глоточек от пьянящего лета шестьдесят шестого года, чтобы рука в руку, вместе пойти от Кремлевского вала по дощатому мостку через Трубеж в луга, сенокосные сумерки... Знай, пока тебя нет рядом, в объятиях моих, при мне остается заповедный дар: Рязань с ее исхоженными улочками, твои любящие письма в Саратов, маклаковский сад в августе...

Задумался и не без грусти представил, как с годами, чужая, похожая на тебя красивая женщина наткнется на мои письма, прочтет эту страничку и расплачется...

...Продолжаю на следующий день, 30-е декабря. Еще не получил твоего новогоднего письма, но чувствует сердце – оно придет завтра. С нетерпением, благоговей, надорву конверт и выну лощеные листки со знакомым почерком. Если их сразу поднести к губам, то можно с

ума сойти, чувствуя, что они слегка пахнут твоими ду-  
хами...

Четыре года назад... Саратов. Ослепительный мо-  
розный день конца декабря. Ты должна была прилететь  
ко мне на Новый год. Невообразимое счастье: три дня и  
три ночи мы проводим вместе! Для кого-то предпразд-  
ничная суета, для меня возбужденное ожидание скорой  
встречи. За час до прилета уже был в аэропорту, но са-  
молет запаздывал. Нервничая, то и дело подходил к дис-  
петчерскому окошку и в который раз спрашивал, что из-  
вестно о 480-м рейсе. Мне отвечали, что рейс «задер-  
живается на неопределенное время». Возвращаясь к по-  
доконнику, где стоял мой рыжий портфель, снова рассе-  
яно смотрел на сверкающее накатанным снегом летное  
поле. Наконец, где-то в третьем часу объявили прилет  
480-го. Мне уже почти не верилось, что ты вообще при-  
летишь, и в то же время в телеграмме значилось, что  
тебя надо ждать именно этим рейсом. Разом вместо не-  
терпения и тревоги пришла сладкая внутренняя дрожь,  
предвосхищающая долгожданные мгновения встречи.  
Подумать только, совсем немного – и ты, чудо мое го-  
лубоглазое, уже не за тридевять земель, не где-то под  
небом, а в моих объятиях, пахнущая морозом и мятны-  
ми карамельками! Стоя у низкой, чугунной оградки, я  
видел, как с полосы вырывается к аэровокзалу неболь-  
шой матово-серебристый самолет. Он-то и был мисти-  
ческим центром таинства, что началось с объявления  
о прилете 480-го. Сверкающий снег, деревья сквери-  
ка, рев моторов, ожидающие и прилетающие, – все они  
были лишь фоном предстоящего действия. Мне уже ви-  
делась она, заждавшаяся, как и я, любовь моя, припав-  
шая носиком к стеклу иллюминатора...

Надо же, на календаре моей грусти тот же 30-й день

декабря. Должно быть, тебе в нем так же одиноко, как и мне, а вокруг столько счастливых... Порой язык не поворачивается утешать тебя. По себе знаю: помимо слов изболевшееся сердечко твое ждет и чаёт тепла повседневной близости. От одной мысли становится жаль тебя до слез ...

31 декабря. Старик-дневальный принес твое письмо. Всякий раз это как вспышка, от которой все внутри напрягается в ожидании. Однако выдержал «паузу»: читать в бараке не стал, засунул в карман и отправился наружу, куда-нибудь в уединение. Читая, дошел до последней строчки и поразился: до чего же мы схожи в переживании рая и ада нашей недолгой супружеской жизни. Те же слезные воспоминания, общая нам неутрачиваемая боль... Я истово верю таким письмам, живу ими. Греет душу, что ты привезла из дома в Караганду старые наши блокноты, временами перечитываешь письма и ужасно соскучилась по Алене и зимней Рязани. А открытка, где ветка хвои с сияющими игрушками, – восхитительна! Благодарно целую за нее, за письмо и просто целую.

...3 января. Как у меня заведено, 31-го, в сумерках гулял один по свежему снежку вдоль «запретки» и... вспоминал, вспоминал. После ужина трое нас, Олег, Эдик и я, расположились в моем закутке, чтобы отметить Новолетие. Тумбочку украшала «настоященская» ветка елки, тут же шоколадка на блестящей фольге, печенье, конфетки и неизменный закопченный «чифирбак». Перед тостом поздравили друг друга, обменялись открытками и пустили кружку с чаем по кругу. Вспомнили прошлые встречи Нового года на воле, разговор был теплый, праздничный. Рассказал ребятам о незабвенном 1968-ом в МГУ. Когда пробило 8 Москвы, поду-

мал, что ты сейчас уже где-то в компании, среди незнакомых мне людей, оживленная и красивая. Грустно сделалось. В 9 часов друзья мои ушли прогуляться и покурить, а я раскрыл мой заветный семейный альбомчик. На каждой из карточек ты, неповторимая, в своей славянской красе. Особенно зримо о том свидетельствует твой неописуемо милый носик.

Погода в тот вечер была мерзейшей: мало того, что вместо морозца пришла оттепель, так, представь, еще одно наваждение – вечером пошел дождь. В такую вот погоду мы с Олегом стояли под козырьком навеса у дверей библиотеки и, что ты думаешь, – читали друг другу стихи. Ночь, ветер, темень, чавкающий снег под ногами и двое нас дуриков-романтиков...

«Умчалась моя детская неистовость  
В забытый мир, столь чуждый и огромный  
Над изголовьем ветер перелистывает  
Страницы снега, времени и дремы...»

«А снег повалится, повалится,  
Закружит все веретеном  
И моя молодость появится  
Опять цыганкой под окном.  
И поведет куда-то за руку,  
На чьи-то тени и шаги  
И вовлечет в старинный заговор  
Огней, деревьев и пурги...»

*Е. Евтушенко*

Задрогшие, вернулись в теплый барак и снова, уже вдвоем, чаевали в моем уголке. По-мужски, без признаний, радовались нашему дружеству и пониманию. По-

сле отбоя, в 12 часов, сделали по несколько глотков чая, еще раз поздравились, обняв друг друга, и разошлись.

Видно от крепкого чая и возбуждения долго не заснул, перед глазами все одно: ты поутру, заспанная, простоволосая, улыбашка Аленька, родная моя деревня, родители... Слава Богу, что вы со мной, неизбежно во мне, самые близкие мне люди на всем белом свете...

*Из письма от 22 января 1971 г.*

*Озерное*

**Рита, Риточка, у меня здесь небывалый снегопад!..**

Из темной бездны крупными хлопьями снег не летит, а опадет на замороженную землю. Минуту назад вернулся оттуда, из снегопада. Конечно же, со мной незримо была ты, моя снегурочка. Как никогда, я хотел бы трогать тебя не строчками, а прикоснуться к холодной коже твоих скул теплыми губами. Как давно я не целовал тебя вьюе!.. Верю, что то обетованное время наступит, и мы, соплюша, отквитаем безудержье поцелуев. Это похоже на сказку с хорошим концом, но увидишь, она непременно сбудется. В мечтах своих, искренних и жгучих, какие рождаются только в неволе, я дал зарок, что стану часто и без повода приносить тебе цветы. Ты, недоумевая, спросишь: «За что же мне такое?» Диво мое, если начну перечислять, то мне и часу не хватит. А чтобы огород не городить, скажу в двух словах всего лишь одно: за то, что у тебя по-детски мягкий, тихий, обворожительный голос. Я наслаждался им, когда, лежа рядом с тобой, слушал, как ты под пледом ты читала Грина.

Кажется, Ритэт, совсем заговорил тебя. Не взыщи, но у меня что-то вроде лирического удара. Отсюда дураковатая многоречивость: не имея возможности осыпать тебя поцелуями, я услаждаю мою грустинку плетением непридуманых, любовью дышащих слов.

...Часто мечтаю, как мы изредка будем вдвоем отправляться в лес за грибами, бабочками, веночками из цветов для восторженной Аленки. Где она, лопотушка моя голубоглазая? Кстати, недавно дедушка Миша и баба Саша написали, что она изумляет их своей сообразительностью. Но особенно по душе им ее простодушие и ласковость. Словом, сенинской породы она не испортит.

Жду - не дождусь обещанных фотографий. Интересно, какая ты сейчас. Только, пожалуйста, не хнычь, - ты для меня никогда не поблекнешь. Рит, представляешь, до недавних пор в лагере можно было фотографироваться. Вот бы я страшал тебя своей арестантской физиономией.

Лентяюшка моя, не в пример тебе, по утрам совершаю пробежки. В перерывах между работой, отрываясь от швейной машинки, делаю энергичные разминки, дабы не сутулиться. Вечерами у меня обязательный променад. Хожу до усталости, зато крепко сплю. Недаром же ветхие старушки, по возвращении с богомолья из дальних монастырей, «чудодейственно» исцелялись от недугов. Неужели ты, гимнастка моя, не озабочена привлекательностью своей фигуры? Итак, жду ответного отклика на свои спортивно-оздоровительные призывы.

Рит, ты пишешь, что на душе у тебя как-то пусто, оттого и письма безрадостные. Пусть это не озадачивает тебя, и не стесняйся «плакаться» мне в письмах. Хорошая моя, я же понимаю, что житье твоё там, без меня

– совсем не мёд. Так кому же, как не мне, поведать об этом. Я один смогу понять тебя и по возможности утешить. Пиши всё, всякое и обо всём. Без твоих писем мне никак нельзя. Когда во время обеда я захожу в барак и вижу на своей койке светлый прямоугольник конверта, сразу засвечиваюсь ожиданием: что в этот раз принес мне долгожданный почтовый голубь?

Рит, это письмо получилось короткое, несколько небрежное и куцее. Прости, я просто заработался и очень устаю.

Твой Алька

## Лагерная кормежка

Пребывание за «колючкой», помимо прочих утрат, лишает человека привычной, необходимой ему пищи. В зоне строгого режима еда была настолько скудной, что зэки с ухмылкой говорили: «жив-то будешь, но женщину не пожелаешь». Звучит, простите, грубовато, но правдиво. Сумма, вносимая за питание, была доподлинно известна каждому, так как эти деньги ежемесячно снимались с личного счета заключенного. Сколько мне помнится, с лета 1970 по 1972 год сумма за прокорм составляли от 11 до 14 рублей в месяц. Даже округлив до 15 рублей, то ежедневная трехразовая кормежка обходилась зэку в 50 копеек. Сюда следует добавить 5-7 рублей, на которые можно было ежемесячно отовариться в ларьке. С учетом этих денег вместо 50-ти мы в итоге получим 66 копеек.

Спрашивается, что «разносоль» мы вкушали на столь жалкие гроши? Утром – миска супа, именуемого баландой. Хорошо, если в нем попадались кусочки картошки и немного вермишели. Обычно, это безвкусная, отвратного вида похлебка с перловкой, которую зэки называли шрапнелью, либо с «сечкой», то есть дробленой крупой. Сама по себе она мало съедобна, но если добавить полложки комбижира и прихватить на завтрак зубчик чеснока, то можно было, хотя и с некоторым принуждени-

ем, все это проглотить. Хлеб выпекали скверный, полусырой и кислый. Мы сушили его на сухари и крошили в баланду. На каждого заключенного выдавалась «пайка» весом, примерно, 350 грамм. Поскольку многие из «стариков» хлеб почти не ели, равно как и на кашу смотреть не могли, то хлебушка было вволю, ешь – не хочу. В добавке лишней порции каши раздатчик обычно не отказывал. В первую неделю пребывания на зоне один бывалый зэк посоветовал мне «кишку не распускать». Другими словами, ограничиваться тем, что дают. «Сегодня добавка вроде есть, – говорил он, – а завтра тебе в ней откажут. Поневоле станешь с голодухи добирать кислым хлебом, а там жди гастрита, колита, язву». Прошло 40 с лишним лет, но я по сю пору держусь лагерной установки. Помнится, у Солженицына она звучит более обобщающе и сильно: «Не верить. Не надеяться. Не просить». Но продолжу... После утренней миски «шлюмки», возвратившись в барак, можно было набрать из бачка кружку кипятка, слегка приправленного ячменным кофе. Намазав кусок подсушенного хлеба маргарином или повидлом, недурственно было в прихлебочку умять его, и тем самым скрасить «завтрак арестанта».

По режимным нормам полагалось по 15 грамм сахара в день. Мы его получали сразу за 10 дней, то есть по 150 гр. в кулечках, которые дневальный раскладывал у изголовья коек, когда зэки в большинстве своем были на работе. Возвратясь в барак, некоторые сластолюбцы тут же, запрокинув голову, отправляли содержимое кулечка в рот, запивая водой или чаем. Во время обеденного перерыва, прежде чем отправиться в столовую, я прихватывал из тумбочки зубчик чеснока, бутылочку растительного масла, чтобы сдобрить им кашу. Чеснок нам при поблажке цензора нам пересылали в бандеро-

лях вместе с канцтоварами. Ложку обычно носили в левом нагрудном кармане. Зэки в шутку называли ее «голодной медалью». На первое давали суп из крупы с картошкой и некоторым присутствием мяса. С осени и до конца августа следующего года нас потчевали щами из кислой капусты. Если не добавить в них нарезанного лучка, комбижира или маргарина, то хлебать их можно было только под пистолетом. Страдавшие желудком к щам даже не притрагивались. Но в начале сентября, когда завозили капусту, наступал суший праздник для арестантской утробы. Подходя к столовой, мы с удовольствием обоняли домашний дух свежих щей. Но лафа была недолгой, месяц-полтора, и снова безвкусный и скудный лагерный общепит. Каши готовились в основном из овсянки, причем самого грубого помола, с остатками шелухи. Зэки называли такую кашу «лошадиной». Готовилась также безвкусная перловка и каша-«кирза» из дробленой пшеницы. Риса и гречки не было и в помине. Третье – также отсутствовало. Первое и второе ели из одной и той же миски, даже не споласкивая ее. Если похлебки наливали едва не до краев, то каши давали всего один черпак, так что на дне миски ее было примерно с палец. На ужин была неизменная каша, в том же скудном порционе. Изредка нас радовали ухой и рагу из вареных овощей. Не могу не упомянуть о «деликатесе» – кусочке жареной рыбы, которым зэков баловали на ужин раз в неделю. На исходе дня в пятницу ее аппетитный запах доносился до рабочей зоны. Для меня не было ничего более вкусного, как вперемешку с намасленной кашей прикусывать от зажаристого рыбного хвостика. Но жареной рыбкой мы угощались недолго: однажды строгим предписанием санэпидемконтроля рыбу запретили обжаривать. На ужин ста-

ли давать осклизлые и безвкусные отваренные куски какой-нибудь проститомы.

Помимо пищи, что предлагалась в столовке, в ларьке ээки, имевшие деньги на личном счете могли приобрести конфеты-карамель, печенье, чай плиточный и в пачках, растительное масло, комбижир, повидло, случилось, репчатый лук. Для курящих – махорка и сигареты.

На строгом режиме до половины срока полагалась в год одна посылка, после дозволялось получать две. В зону разрешалось присылать, по преимуществу, соебобовые консервы, сахар, конфеты. Колбасу, сыр, сало и прочее не принимали.

Через год-полтора при такой кормежке мой организм, молодой и крепкий, стал заметно слабеть. Как следствие – частые простуды, утомляемость, боли в сердце; случалось, шла кровь из носа. Но постепенно я привык и втянулся. Однако 5 лет Дубравлага не прошли даром: оттуда я вынес язву, колит, перенес травму позвоночника и последовавшую по выходу из зоны утрату зрения. Но, утешаюсь словами святителя Иоанна Златоуста, который любил повторять: «За все Слава Богу». Лагерь научил довольствоваться малым, помнить и заботиться о вечном, непреходящем.

Многое из того сурового времени призабылось, но некоторые особо хранимы сердцем. В декабре 1970 года, после того как я вышел из БУРа, ко мне приехали на общее четырехчасовое свидание мои родители. Тяжело было смотреть на них, как ни старались они бодриться. По моей просьбе они привезли продукты, которые мне должны были включить в положенную 5-килограммовую посылку. Расчет был прост: старики надеялись, что при личной передаче им удастся уговорить надзирающего, чтобы тот добавил хотя бы пару килограмм сверх

положенного. Но на беду, передачу принимал черствый, как сухарь, старшина по кличке «Седой». С лица у него обычно не сходила насмешливая, иезуитская улыбка. По окончании свидания родителей вывели через вахту наружу. Они стояли с привезенными харчами возле зарешеченного окна с небольшой железной форткой, «кормушкой», через которую принимали продукты. Мы со старшиной находились напротив у столика, на котором стояли весы. Я видел, как старики мои озабоченно суетились. Мама держала за лямки увесистый рюкзак, а отец дрожащими руками выкладывал на лоток перед «кормушкой» колбасу, сало, консервы и что-то еще. «Седой» раза два строго останавливал отца: «Это заберите назад – не положено». Отец потерянно замирал с куском сала в руках и, преодолевая себя, умоляюще просил: «Товарищ прапорщик, пожалуйста, примите. Мы с женой в такую даль ехали, все на себе таскали. Посочувствуйте, прошу Вас». Ему по-женски дрожащим голосом со всхлипами вторила и мама. Но «Седой» был неумолим. Его губы чуть кривились в улыбочке, когда он односложно повторял: «Инструкцией не положено... Сверх веса ничего не могу принять. Забирайте обратно». Беспомощно махнув рукой, отец со скорбным выражением лица перекладывал продукты с лотка в вещевой мешок, который продолжала держать заплаканная мама. Почти половину привезенного они в тот раз увезли обратно.

*Из письма от 10 февраля 1971 г.  
Озерное*

Рит, только что пришло твоё письмо, где о караган-

динских буранах, воспоминаниях и тоске. Чем дальше читал маленькие листки со знакомым почерком, тем сильнее сжимали сердце сострадание и жалость к тебе, – до слез, до желваков на скулах. Горюша моя, на этих листочках ты вся передо мной – оставленная, безутешная; как слеза горячая, ты катишься по моему сердцу и жжешь его мукой мучной...

Наступит час, я стисну ладонями твою запрокинутую голову и выпью в поцелуе боль и усталость, накопившиеся за годы. Ну полно, плакса, утри слезки и улыбнись. Мне нравится твоя улыбка, очень необычная – улыбка глазами. Обещай, когда встретимся, ты улыбнешься мне, как никому. В начале марта станет известна дата свидания, я сразу же тебе напишу.

...В конверте меня ждала фотография! На ней ты будто из прошлого века: есть в тебе что-то утонченно-дворянское, грустное. Две недели читаю «Анну Каренину». Между страниц вложил твою карточку. Каждые полчаса, отрываясь от книги, как влюбившийся подросток украдкой любуюсь своей ненаглядной.

Четыре стены, снегопад за окном,  
Покорного времени долготерпенье.  
Но нет моей девочки, и не дано  
Наполнить минуты ее прославленьем.

Печально светлеет раскрытая книга,  
Прекрасное фото, как отсвет виденья  
Того несказанно счастливого мига,  
Что встарь называли Святым Единеньем.

Когда в твоих милых славянских чертах,  
Как фреска, проглянет забытая вера,

Я вижу наш город, ворон на крестах,  
Печаль неизбывную осени серой.

В разлете бровей над зарницами глаз,  
В цветке твоих губ с поцелуйною влагой  
Я вижу смиренные, не напоказ,  
Черты, наполнявшие сердце отвагой.

Лицом зарываясь в льняные потоки,  
Сжимая в объятьях озябшее тело,  
Я приближаю реченные сроки,  
Чтоб с верой свершить богоданное дело.

...Мордовская зимушка-зима, слава Богу, на исходе. Прибавился день, воцарилась солнечно-ясная погода, предвещающая теплые деньки. Выходит, что очередное письмо тебе придет в начале весны, второй после нашей разлуки... Чтобы ты не куксилась, не печалилась, я позову тебя в наши незабвенно-прекрасные вёсны. Рит, пожалуйста, не задерживай, пересылай Алене в деревню письма с моими сказками, стихами, рисунками. Представляю, как мой умильный адресат станет тянуть бабушку за юбку, требуя листков, разрисованных для нее «папочкой». Хочется, чтобы вы съехались, были вместе. Жалко ее, она у нас как сирота.

...Вспомнил, как в ноябре шестьдесят шестого мы добирались на отцовском «козле» к моим родителям из Пронска в Маклаково. Дорога была разбитой, машину бросало на колдобинах, трясло так, что у тебя разболелось сердце, и сделалось нехорошо. Хотел попросить шофера, чтобы тот ехал помедленнее, но ты остановила, говоря, что лучше уж поскорее добраться до места. Видно было, что ты как-то сникла и переменялась

в лице. То и дело я с тревогой поглядывал на тебя, побледневшую, с подернутыми усталостью глазами. Не покидало чувство жалости, какое испытываешь к разболевшемуся ребенку. В те минуты я готов был сделать всё, лишь бы тебе стало легче. Пересесть на переднее сидение ты не захотела, а только прошептала: «Алька, мне лучше здесь, с тобой...» Чтобы смягчить непрестанные толчки, я обнял тебя одной рукой за плечи, а другой крепко стиснул спинку сиденья. На каждой ухабине, мгновенно напрягаясь, бережно прижимал тебя к себе. «Потерпи, Риточка, уже недалеко... Приедем, сразу уложу тебя, болезную, в постель, напою чаем, и, увидишь, все пройдет...» Не отвечая, ты расслабленно клоунилась мне на плечо. Скоро затекла левая рука, но я терпел, не хотел тревожить тебя. Все было ничто в сравнении с тревогой за родное мне существо.

Дома нас встречала мама. Вначале обрадовалась, но тут же, от вида твоего расстроилась. Проводив нас в избу, она побежала в контору к отцу с известием о нашем приезде. К концу дороги ты совсем ослабела. Когда я снимал с тебя шубку, ты обессиленно роняла руки, освобождая их из рукавов. Торопясь уложить, застелил на диване постель. Сняв влажные сапожки, натянул тебе на ноги теплые шерстяные носки, укутав двумя одеялами. Присев подле, не отрываясь, смотрел на твое лицо с прикрытыми глазами – оно было одного цвета с твоей светло-серой кофточкой. Приоткрыв глаза, ты виновато улыбнулась: «Алька, не волнуйся, у меня скоро это пройдет». И снова, как в дороге, прихлынула жертвенная готовность на все ради тебя.

Прочел и захотелось заплакать... Как нестерпимо близка ты была в те минуты! Вспомнилась фраза из недавнего письма: «Как хорошо бы мы жили с тобой, Алька...»

...Рит, а нынче 8-е февраля – моя дата. Позади полтора года срока из семи. Невесть как много, но ободряет одно: время движется. Не переживай, ласкуша моя, рано или поздно минет оно, горькое время. Мы с Олегом, как принято, это дело отметили: вечером после ужина сварили кофе, выложили из тумбочки кондитерские заначки, утешились разговорами.

Немного о прочитанном. Недавно закончил вторую книгу «Анны Карениной». Проникся симпатиями к Левину. Чтобы ты могла судить о моих исканиях последнего времени, обратись к 16-й главе. Заметь, Левин, не смотря на эмоциональную динамику характера, в главном натура ровная и цельная. К вере его влечет не избавление от зла в самом себе, а вопросы вселенские, ключевые – о смысле жизни. Во мне происходит нечто сходное, но разница в том, что мой духовный поиск подогревается внутренним конфликтом, зачастую раздражительным. Мне бы пожар в себе потушить, а уж потом помышлять об ангельских мирах. Отсюда неизбежна разница в восприятии веры, глубине и силе ее проникновения в личность. В.С. Соловьев пишет: «Сущность добра открывается наитием, действием Божиим. Между тем, энергия его проявления в человеке зависит от внутреннего отклика на даруемую благодать, что обнаруживается в силе и направленности личной воли».

Словом, у Левина поиск совершается по запросу ума, у меня – из чувства бессилия в борении с самим собой. Оно и понятно: его рефлексия протекает в барской усадьбе, и любимая Кити рядом с ним, а я – в узилище и терзаниях разлуки.

Кстати, помнишь то место, где Левин незадолго перед венчанием узнает, что Кити подарила комнатной девушке свое девичье платье, в котором она была, когда

он объяснился ей в любви? Он просит Кити не делать этого и сохранить вещь, ставшую для него интимной реликвией. Как я его понимаю... Не забыть твой черный болоневый плащик. В первую нашу весну нам нравилось уединяться для прогулок в лесочке, протянувшимся вдоль железной дороги. Однажды, укрываясь от дождика, мы накинули его на головы и, обнявшись, под шорох дождевых капель, впервые так явно ощутили нежность друг к другу. Года через два тот самый плащик ты захотела передать одной из твоих сестер, кажется, Алле. Помнится, огорчившись, я упрашивал, чтобы ты сберегла его как память.

...Прочел несколько томов «Истории» С.М. Соловьева, затем перепахал этот же период по Ключевскому. В итоге сложилась общая картина петровских преобразований боярской Руси. Заметь, энергичное и результативное царствование Петра Великого сменяется временем политической беспомощности, фаворитства и шутовства при троне скипитродержателей. Казалось бы, пружина петровского энтузиазма должна была и далее приводить в действие его замыслы. Общеизвестно, что «царь-плотник» отнюдь не довел до конца строительство имперской храмины. Однако на протяжении последующих 40 лет не появилось монархов, подобных ему. Напротив, российский престол сменяют один за другим самодержцы, не способные продолжить начатое дело. Зато каждый из них, так или иначе, отличился в расточительстве и ослаблении достигнутого. Помнишь, у Андрея Вознесенского: «Петр I – пот первый...»? И действительно, не смотря на страшную костоломку народной жизни, Петр сам работал, не зная усталости, и побуждал к тому, тычками и дубинками, своих сподвижников.

С увлечением читаю книгу М.К. Каргера «Новгород» – исследование по истории новгородской архитектуры. Надо полагать, при написании дипломной работы, ты её, конечно же, смотрела.

Пролистал монографию Н.Е. Носова «Становление сословно-представительных учреждений в России» (изыскания о реформах Ивана Грозного). В ближайшем письме своим поделюсь взглядом на опричнину, а пока скажу, что я солидарен с концепцией автора.

Что ж, услада моя, заканчиваю последнюю 12-ю страницу. Места почти не осталось, разве для поцелуев.

*Из письма от 25 февраля 1971 г.*

*Озерное*

**Привет, Несмеяна моя!**

Получил от тебя столько изумительных писем, но ответить смогу одним единственным. Однако в нем приятная новость: в марте мы сможем увидеться!.. Твой Сенин вне себя от предвосхищения ожидаемого счастья. Мне столько надо сказать тебе... Как ни стараюсь, не могу постичь: зачем мне дана эта любовь?.. Ее страданий и непреходящего очарования слишком много для одного. Ночами от тоски ожидания болит сердце. Но день приносит ласковость февральского солнца, и снова возвращается исполненное тобой жизнелюбие.

Стиснув зубы, читал твое горестное письмо, где ты печалишься о появившихся морщинках и переживаешь за нашу дочку-безотцовщину... Но не пристало нам о грустном, совсем скоро увидимся. Жду тебя одну. Родителям напишу потом, – они нас поймут. Ничего не

привози мне. С поездкой не тяни: начнется ростепель, и проехать будет невозможно. Отправил на дорогу 30 рублей. Надеюсь, они придут вовремя. А всего за месяц заработал 45, и это при выполнении нормы на 140%. Дело в том, Ритэт, что заработок мой делится пополам. Половина отходит в госказну, а из оставшихся вычитают за питание, одежду, баню. Что останется, перечисляют на личный счет заключенного. Из этой суммы покупаю продукты в ларьке, оплачиваю подписку, книги, пересылаемые по почте. Наибольшая часть денег почтовыми переводами доходит до тебя.

Спасибо за Аленушкин рисунок. У меня заведена отдельная папка, где хранятся ее художества. Расшибусь, а в следующем письме отправлю обещанную сказочку и стишки. Удивился, узнав из письма мамы, что в деревне ей купили лыжи. Батюшки светы, в моих глазах она совсем крошка, с лохматой головенкой и внимательными озорными глазками. Вспоминаю, как при возвращении с работы она выбегала в прихожую на мой звонок. Встречая папу радостными криками, дожидалась пока он, раздевшись, не набросит ей на головку свою заячью шапку. С ликующим видом выбегала из прихожей, демонстрируя всем папину проказу.

Напиши из Рязани обо всем, что ты узришь и почувствуешь. В конверт вложи веточку жасмина, что под окнами нашей квартиры. Обещай, что обойдешь любимые нами улочки, где только можно остановишься, погустишь. Боже мой, как хороши они теперь в сверкании сосулук и подтаявших тротуаров!.. Непременно прогуляйся до Кремля, к набережной. Поклон из Дубравлага храму Спаса-на-Яру.

Чудо мое, как не терпится мне заново пережить и в чем-то переиначить часы и минутки прошлого. Печаль-

но, что оно не повторится, но при настоянии сердца – обратимо. Полтора года мы живем порознь, но надо же чем-то питать сердце, скудеющее день ото дня. Прошое для твоего Сенина – источник просветляющего лиризма. Всякая мысль, начинание ощущает взгляд твоих грустящих глаз. Знаю, чего они ждут от меня...

Поверь, ты Ритэт, не вполне понимаешь, с какой неотразимостью влияешь на меня. К примеру, ты удивленно спрашиваешь, отчего я вдруг ударился в историю. Отвечаю, «феодалка» моя: «История, как ни странно, интимно ассоциируется с тобой». Пылая чувствами к студентке с истфака, я равно возлюбил новгородское вече, которое было темой ее курсовой, а затем и дипломной работы. В нашей комнатухе в МГУ, вечерами под настольной лампой, я диктовал тексты твоей курсовой. Предварительно мы прорабатывали монографию В.Янина «Новгородские посадники» и другие монографии. Ты даже хвалила меня за точность формулировок? Как видишь, пиетет перед тобой способствовал сближению с русской историографией. В зоне мой интерес к истории возрос и упрочился.

Ты правильно делаешь, что побуждаешь меня писать, в смысле творить. Но испытывая зуд самовыражения я не тороплюсь переходить «на ты» с пером и бумагой. Хочется как можно глубже переосмыслить и прочувствовать. Важно иметь за душой то, о чем стоит писать. Как ты знаешь, меня серьезным образом повернуло к вере. Богоискательство проходит отнюдь не безболезненно, но внутренне чувствую – это мой путь. После выхода из БУРа мало-помалу стал набивать руку, пытаюсь выразить душевную смуту и просветы, что открылись. Ты сама заметила отдельные стилистические, смысловые высверки и удачную исполненность некоторых фрагментов. Мне

это дается не разовым вдохновением: что-то ложится спонтанно, но отдельные кусочки, где речь идет о «нашем», я переписываю и, представь, не по одному разу. Начинаю понимать, что творчество немислимо без пота и слез. И.А.Бунин говорил: «Образовать в себе из даваемого жизнью, нечто истинно достойное писания – какое редкое счастье и какой душевный труд!» А Достоевский любил повторять: «Чтобы хорошо писать – страдать надо, страдать...»

Ты озадачила меня вопросом, как поступить с квартирой. Признаться, я плохой советчик. Но единственное, чего всей душой желаю, это чтобы у тебя наконец-то появился свой угол, где вы поселились бы с Аленкой. Вместе вам явно будет лучше, а мне спокойней.

На мои надоедливые вопрошания как проходят твои дни, ты растрогала меня своим интересом к разного рода безделкам. Оказалось, что моя Маргоша временами развлекает себя, выбирая разные мелочи в киосках и магазинчиках. Придя домой, она забирается с ногами на тахту и не без удовольствия рассматривает свои приобретения. Казалось бы, малый штрих, но он невозможно как оживил для меня твой карагандинский образ.

Ты спрашиваешь: помню ли я твою двоюродную сестру Наташу? Ну конечно же... И тот московский вечер, заснеженный бульвар Ленинградского проспекта. Мы затемно возвращались из гостей, где нас угощали вином с виноградом, там-то я и познакомился с твоей ровесницей-сестрой. Вы с ней чем-то походили, одного этого было достаточно, чтобы она мне понравилась. На обратном пути, вышагивая по аллее, ты, разыгрывая меня, убежала вперед и спряталась за деревьями. На мои выкрики ты не отвечала, и я не понарошку беспо-

коился и сердился из боязни потерять свою молоденькую женушку в большой зимней Москве.

Кстати, скоро ты появишься там... Пришли мне, пожалуйста, открытку с видом МГУ. Помнишь, у нас висела такая? На ней можно было найти окна нашего блока.

Итак, Рит, до встречи в марте... Вообрази, среди лесов и снегов мордовских, за колючкой и решетками, сидя напротив, мы проведем глаза в глаза 4 часа...

### *Из письма от 5 марта 1971 г.*

#### *Озерное*

Рит, осталось совсем недолго до мартовского свидания. Знаю и радуюсь, что ты сейчас в милой нам старушке-Рязани. На душе светло, будто и я вместе с тобой на ее незабвенных улочках. Шибает в голову хмель воспоминаний тех лет. Вижу тебя там задумчивой, со светлыми косами в изящной цигейковой шубке... Солнышко, чириканье ошалелых воробьев, капельная дробь по асфальту. Пишу и представляю знакомый запах шубки, свежесть щек...

Видно виновата весна, но в последнее время стал часто видеть тебя во снах. Каждое из них – сладкое наитие иллюзорного счастья... Бывает, с вечера нечто загадаю и, представь, ты, Жар-птица, являешься мне. Видения настолько яркие и правдоподобны, что в сердце, отогретом негой, появляются весенние проталины. Спросишь, как я вижу тебя во снах? В большинстве случаев словами того не выразить, да и неловко.

Ты, Ритэт, призналась, что не можешь понять моего духовного поиска, обретения веры. По правде гово-

ря, ты мыслишь, как и все мы, воспитанные в атеизме. При таком подходе человек видит смысл и цель жизни в обладании и упоении всем земным. Тебя, к примеру, болезненно тревожит внешность. Сама по себе обеспокоенность естественна. Многие женщины видят в этом едва ли не главное условие для счастья. Духовный человек, сознавая бренность телесного, всему предпочитаемому предпочитает достоинства внутреннего мира. У нас на Руси говорили: красота до венца, а любовь – до конца. Резоны по поводу моего уклонения в веру вполне объяснимы, – они от неосведомленности. Нас в свое время ничему такому не учили, да и не было рядом тех, кто мог бы открыть нам глаза. Мне отчасти повезло, что дедушка, Павел Федорович, в детстве привил нам с сестрой некоторые начатки богопознания.

Оглядываясь назад, в прошлое свое, я вижу, что во всех, часто невообразимых жизненных перипетиях меня вела рука Господня. Где бы я был теперь в своем безбожном хождении по жизни? Что случилось бы со мной, если бы однажды мне не открылся таящийся под серыми пеленами неверия солнечно-ясный смысл бытия?! Не верится, что, обреченный на одиночество в ожесточенной борьбе эгоизмов, я мог остаться в стороне от всестрадающей любви Его. Не познав Бога, я ни за что не постиг бы смысл моего пребывания на белом свете.

Представь, Ритэт, до середины XIX века подсолнечник по всему миру считался декоративным растением. Но однажды русский крестьянин Кокарев отжал под прессом горсть семян, и с тех пор мы пользуемся золотистым и пахучим подсолнечным маслом. Подобно этому, многие люди проживают жизнь, не догадываясь о своем предназначении.

Хочется говорить с тобой на эту тему, но, кажется, еще не пришло время. Впрочем, советую при возможности прочесть Евангелие и упомянутую мной книгу «Основы духовной жизни» В.С.Соловьева.

Чтобы вызвать у тебя улыбку, хочу приписать: Алёна прислала мне свои новые рисунки и благодарность папочке за стихи. Дедушка Павлик в длинном послании живописует об их прогулках, забавных моментах общения с подружками и прочих подробностях, порадовавших меня. Между прочим, он озабоченно известил: внучка подрастает так быстро, что через каждые полгода одежды становятся ей явно маловаты. Ритэт, в апреле постараюсь снова прислать 35-40 рублей. Употреблю их на гардероб нашей матрёшки. Кстати, бабушка Саша грозилась купить ей осеннее пальто и еще кое-что по мелочам. Надеюсь, она у нас не останется без обновок.

Ниже предлагаю краткое журнальное обозрение.

В «Вопросах литературы» за январь в разделе «полемика» помещена статья некоего Ерофеева. На ее страницах с ужимками литературного гусара он галопирует по работам Доминики Арбан, французской исследовательницы творчества Достоевского. Одна из них называется «Достоевский – виновный». Насколько я понял, мысль ее такова: душевные особенности натуры писателя неотразимо сказались на идейно-проблемном окрасе его произведений.

В первом номере «История СССР» твой мэтр Б.А. Рыбаков поместил статью в защиту достоверности сведений, которые Татищев заимствовал для своей «Истории» из утраченных летописей XII века. Академик аргументировано доказывает его чистоплотность историка в обращении с летописным материалом. Там же он отвешивает подзатыльник Пештичу и делает лестный

реверанс нашему общему знакомому А.Г. Кузьмину. Последний в том же номере поместил рецензию на недавно вышедший 31-й том «Полного собрания русских летописей». Она изложена основательно и с блестящим знанием предмета.

В «Вопросах философии» заслуживает внимания статья об экуменическом диалоге христианских церквей: РПЦ, англиканской и баптистской. Там же стоит просмотреть материал о тенденции духовного упадка в католицизме.

Большой интерес вызвала статья Л.Н.Гумилева, опубликованная в 1-ом и 2-ом номерах журнала «Природа» за 1970 г. Лев Николаевич – этнограф, необычайно одарен и имеет творческую родословную: он сын Анны Андреевны Ахматовой от брака с поэтом Н.С. Гумилевым; трижды сидел при Сталине, ему посвящен «Реквием», отрывки из которого я тебе присылал.

Как ученый-исследователь, Гумилев обосновал и ввел в научный обиход понятие пассионарности. Согласно его концепции, каждый этнос ограничен временными рамками самопроявления, которое выражается в преимущественно присущих ему видах деятельности: завоевательной, культурной, религиозной, сфере искусства и т.д. Например, викинги (норвежцы) с V по XIII века являлись грозой для всего атлантического побережья, да и Европы в целом. Затем утихомирились и, потеряв интерес к героике набегов, преспокойно стали ловить селедку. «Пассионарии» суть те выдающиеся личности, которые проявили себя в поворотные моменты истории, такие как: Александр Македонский, Гаутама Будда, Карл Великий, Владимир Креститель, Наполеон и т.д. Гумилев считает, что человечество может существовать и способно выжить только при наличии наци-

ональной мозаики. Стирание этнокультурных различий и нивелирующая глобализация, по его мнению, явления очевидно негативные для ментальности всякого этноса.

Если можешь, прочти его книгу «Поиски вымышленного царства» (изд-во «Наука», 1970). В ней изложены и фактологически подтверждены основные положения этногенеза.

... Ты пишешь, Ритэт, что в Караганде весной и не пахнет, а у нас стоят осяянные мартовские деньки. Из лесов несет оттаявшей землей, пригретыми стволами сосен... Что со мной станет, когда наступит буйство весны и цветения? Я видно свихнусь от томления и тоски по тебе...

*Из письма от 30 марта 1971 г.*

*Озерное*

«Рита моя...» Недавно, в короткие часы свидания, я то и дело обращал к тебе эти два слова. По-разному они звучали: вопрошающе, влюбленно, с состраданием.

После твоего отъезда, извелся от беспокойства. Удалось ли тебе уехать в тот же день из поселка? Когда добралась до дому?

Сегодня 30-ое и наконец-то твое письмо!.. В нём нашел то, что ожидал услышать. У меня просто нет слов. Поэтому молчу о впечатлениях. Это все равно, что пытаться изъяснить невыразимое звучание музыки. Одно-го не понимаю: почему ты просишь, чтобы я оставался прежним? Догадываюсь, чем я мог встревожить тебя. Поверь и пойми, моя религиозность, пока не понятная тебе, привносит в мою каторжанскую жизнь светлые

настроения, схожие с воспоминаниями о тебе, Алене, родительском доме среди дубов.

Не забыть прощального поцелуя... Горько было снова вернуться туда, где неизвестно сколько придется пробыть. Несмотря на мучительный слом от расставания, я ощутил весеннюю окрыленность во всем существе. Непостижимым образом мне открылось присутствие Божьего промысла в перипетиях нашей с тобой жизни.

«Чудо мое»... Сколько раз я обращался к тебе так. И самом деле ты неизменно оставалась тайной, тревожащей, до дрожи заманчивой. Признаться, до сих пор я не нашел ее разгадку. Одного хочу: чтобы твоё непостижимое обаяние осталось со мной навсегда.

Мы расстались, но твой запах медленно таял, точно жалея меня. И, как всегда, при утратах, хотелось плакать. Казалось, что нет больше сил выносить болезненную разорванность наших жизней... Зачем мне дана такая беспокойная кровь?.. И отчего именно ты растворена в ней? Как мне не верить тебе, ведь мы оба мучимы одним. Несколько дней во всем ощущалось твое присутствие, особенно во снах.

На мой вопрос помнишь ли ты наше июльское свидание, я к радости услышал: «Разве я могу забыть его?» Видишь, как часто срывается с губ: «А ты помнишь, Рит...» – Неизменное словосочетание наших встреч и писем. А помнишь Маклаково, темную библиотеку с пылающей печкой?.. А иней на вербах перед домом? И как мы чуть не разбились, слетев в снежный кювет при возвращении в Рязань? Как много незабвенного, однажды пережитого можно снова вернуть к жизни... В ту пору мы подолгу бывали вместе. Какими же безрассудными расточителями мы были! Знать бы, что нас ожидает... Оказалось, трое суток лагерного свидания, та-

кие скоротечные, могут вместить в себе невообразимо много!.. Бескормица разлуки побуждает к жизнерадостности, к благодарности за любую возможность живого единения. Те дни хранимы как цветы. Даже засушенные, они влекут своей красотой. Я чувствую в них тонкий, тающий запах непреходящей женской грусти и дурманящую терпкость бессонных ночей.

...Последнее письмо пришло со штемпелем Москвы. Но о Москве у тебя ни слова, а так хотелось что-то хорошее услышать. Не забывай, для меня этот город хранит неослабную притягательность, как впрочем и все, что связано с тобой. Как видение мне представляется светло-серая громада МГУ, сирень дворики, захватывающий вид на Москву со Смотровой площадки. В последний раз ты провожала меня отсюда 1-го июня, мы под зонтом шли до метро по широкому тротуару вдоль ограды Ботанического сада. По шоссе, разбрызгивая чистые лужицы, проносились машины; остроконечная макушка университета неясно проступала сквозь дождевую морось. В прохладном вестибюле станции, сидя на скамейке, в предчувствии расставания мы о чем-то говорили и ели одной палочкой мороженое. По моей просьбе с утра ты заплела косы. Не выдавая себя, исподволь я любовался тобой. Та картина у меня перед глазами, а в глазах – слезы... Как видишь, пишу, что приходит на душу. Пишу оттого, что хочется надолго, навсегда вернуться к дождям, городам, к наполненности каждого из дней присутствием любимой и единственной женщины.

Совсем недавно моя жизнь, как золотоносный пласт, содержала в себе бесценные крупницы счастья, а я, дурсвет, не очень-то ими дорожил, принимая как данность. Казалось, празднику не будет конца. Минуло то

время... Полтора года, не веря своим глазам, со слезами листаю страницы безвозвратно ушедшего. Как пишет Экзюпери: «Я принимаю неизбежное и вступаю с ним в схватку».

...Мой День Рождения прошел необычно. В тот вечер не было света, сидели в темноте втроем в моем уголке, чаевали. Олег подарил книгу стихов Блока, Эдик вручил открытки с видами Суздаля и автокарандаш. Не без горечи вспомнил, что в этот день мы единственный раз отмечали вместе, – в 1969, в Желудево. Отец нас с Аленкой катал на санях по окрестным перелескам и давал подержать вожжи восторженной внучке. Разве такое можно забыть?..

## Эдик Хямяляйнен

Его арестовали, когда он учился на 2 курсе юрфака Ленинградского университета. Будучи родом из Карелии, он соединял в себе все черты угрофинской типики: светло-русый, бледнолицый, со вздернутым мальчишеским носом. Внешний облик мало сочетался с дерзкой политической акцией, что вменялась ему приговором суда. Произошло это весной 1970 года, когда страна «развитого социализма» помпезно отмечала столетний юбилей вождя мирового пролетариата. В пику партийному официозу, Эдик зажегся бесстрашной решимостью испортить праздник. В центре города студент-юрист высмотрел внушительного вида агитационный транспарант. Туда он и направился вечером 21 апреля, имея при себе две бутылки зажигательной смеси. Если бы ему удалось запалить красно-украшенную фанерную конструкцию, то за совершенную диверсию он запросто огреб срок от 8 до 15 лет. При этом половину из назначенных судьей годков он должен был отбывать во Владимирском центре. Случись такое, я вместе с подобными мне заключенными Дубравлага лишились бы возможности общаться с этим светлым человеком и не без гордости называть его своим другом. Но при попытке поджега обе бутылки не взорвались, а лишь повредили фасадную сторону щита. Эдика тут же на ме-

сте загребли и возбудили уголовное дело по той самой, страшной статье о диверсии. Спустя некоторое время, в «сером» доме, по всей видимости, решили во избежание шума и международной огласки не делать из сопляка-студента героя и мученика режима. Эдику дали 3 года срока и загнали за Можай, в места не столь отдаленные. Там мы встретились в июне 1971 года и надолго задружили. Для меня до сих пор остается непостижимым, что на этом свете сближает, роднит людей? В нем меня привлекала способность со сдержанной сердечностью, просто, без эмоциональных и словесных прикрас рассказывать о своем прошлом. Слушая о переселенческих мытарствах его семьи, о брате Фридрихе, несостоявшемся писателе, о его собственных исканиях, я все это воспринимал как нечто близкое мне.

Нашей общей любовью и темой для разговоров был Бунин. В его цикле «Темные аллеи», в каждом из влекуще прекрасных женских образов я находил для себя косвенное и радостно узнаваемое сходство с ней, моей Ликой. Пользуясь этим интимно-лирическим мостиком, я облегчал свою душу, говоря о глубоко запрятанных во мне переживаниях.

Помню зимний вечер. Недавний снегопад приятно для глаза преобразил зону. Фонари вдоль «запретки» и на столбах внутри смотрелись как новогодние. Полчаса назад я вернулся с четырехчасового свидания с Ритой. Состояние было такое, когда приходится, кривясь от боли, отдирать присохший к ране бинт. Душа моя пребывала там, с ней. На пальцах рук запах ее духов, на лице горели поспешные прощальные поцелуи. И голос, ее голос: «Алька, не бери в голову ничего дурного... Мы повидались, многое обговорили и поняли, что между нами все остается по-прежнему... Будь спокоен...»

Нахожу Эдика в бараке, и мы идем гулять. Внутри незатихающая боль и опьянение от упоительной, но исчезнувшей яви. Мы взобрались на второй этаж недостроенной столовой и остановились у незастекленного окна. Под темным небом все белым бело, мягкий свет фонарей. И где-то совсем рядом осталась в поселке до утра она, такая же, как я, одинокая и подавленная. Как ребенок плачется о потерянной игрушке, так и я в тот вечер изливал душу своему другу. Он отвечал мне молчаливым пониманием. Возникло сознание общности нашей судьбы, возвышенности дружбы. В тот снежно-оттепельный час, стоя у оконного проема, мне каким-то шестым чувством открылось, что она в эти минуты здесь, с нами. Нас троих объединял железный обруч общего для нас хождения по мукам...

...Карелия, русский север часто были темой наших разговоров с Эдиком. Мама моя, Александра Никанорова, происходила с Вологодчины, поэтому я разделял с ним тягу к тем местам. Всерьез занявшись родным языком, он стал выписывать «книга-почтой» словари, учебники, справочники и другую литературу по истории и культуре угро-финского этноса. С его легкой руки передо мной предстал бело-зеленый, эпически запечатленный мир «Калевалы».

Никогда не забыть, как мы с ним тайком читали Евангелие. По режиму нам запрещалось иметь Библию, Новый Завет, иконки и молитвенники. Между тем допускалось ношение нательных крестиков и религиозная литература, которую до 1968 года дозволялось почти беспрепятственно пересылать в зону. В личных библиотеках заключенных можно было найти что угодно: от книг с трудами отцов Церкви до полугодовых подписок журнала «Московская патриархия». Особо рев-

ностным верующим, а такие среди нас были, неисповедимым образом удавалось заполучить с воли экземпляры Нового Завета на тонкой рисовой бумаге. Издания разрезали на отдельные книжечки, чтобы легче было прятать, и пользовались ими с соблюдением всяческой осторожности. Мы с Эдиком попросили у богомольного старичка Орловича дать нам что-нибудь почитать. Тот весь засветился от радости, принялся креститься и шепотом заверил нас, что в воскресенье после проверки передаст нам припрятанное Евангелие от Марка. «Только вы, ребятушки мои, – почти умолял он, – берегите святыню Божию и себя. Намеднись при обыске у меня иконочку изъяли. Владычицы нашей Богородицы. Не могу сказать, как дорог мне был образок Заступницы нашей. Досель не перестаю скорбеть о нем...»

Мы загодя выбрали место, чтобы укрыться там на время. Это было маленькое помещение для кинобудки под самым потолком возводимого зэками здания клуба-столовой. В воскресенье после обеда, когда народ в большинстве своем заваливался на боковую, мы забрались наверх по припасенной лестнице. Оказавшись на месте, предусмотрительно столкнули ее обратно. Расстелив на бетонном полу фуфайки, трижды перекрестились, как просил Орлович, и принялись негромко читать главу за главой. С самого начала меня не покидало чувство сакральной значимости нашей затеи. Мы с ним впервые прикоснулись к миру неизвестному, открывавшему волнующую новизну евангельского повествования.

«...Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. ...кто по-

стыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами<sup>1</sup>»

«...а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих...<sup>2</sup>»

Что-то мы знали и раньше, но отрывочно и с чужой подачи. Впервые про жизнь и подвиг Спасителя мы узнавали со слов апостола Марка, Его ученика. Они звучали для нас подкупающе убедительно, благодатно.

«...имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам...<sup>3</sup>»

Мы с Эдиком, как и большинство наших сотоварищей, не за просто так получили лагерные сроки. Каким-то образом мы были причастны к такому высокому понятию, как самопожертвование ради идеи. Но я никак не ожидал, что сердце мое будет учащенно биться от призывных слов Спасителя: «...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». За время, пока читали 16 глав Евангелия, мы не проронили ни слова от себя. Да и что можно было сказать, когда мы впервые внимали глаголам вечной жизни.

...Ныне, бывая в храме, неизменно поминаю за упо-

---

1 Евангелие от Марка, глава 8, стихи 35-38

2 Евангелие от Марка, глава 10, стих 43-45

3 Евангелие от Марка, глава 11, стих 23-24

кой души в числе других почивших лагерников Виктора Константиновича Орловича. По милости Божьей мы с Эдиком пребываем в числе живых. Наши телефонные звонки, разговоры по скайпу, редкие встречи побуждают благодарить Господа, что я, недостойный, мог вживе смотреть в лица людей, подобных Эдварду Хямяляйне-ну, с которым нас свел Бог в местах лишения свободы.

*Из письма от 9 апреля 1971 г.*

*Озерное*

**Здравствуй, Ригэт!**

На дворе весна! Она, не спросясь, повсюду. Пьянит и радует. Из школьного учебника мы в свое время узнавали, что весна-красна возвращается к нам из теплых стран. Как не поверить, видя, как апрель-месяц открывает ей ворота. На душе, как после бокала вина... Так и хочется признаться в любви всему белому свету. Заходятся в чирикании воробьи на крыше бани. Ни за что не уходил бы с улицы в суметки барака!..

В зимние холода требовалось усилие, чтобы в памяти оживить картины былого. А тут они сами собой возникают и заставляют колотиться сердце. Весной яснее постигаешь зигзаги судьбы. Поначалу она дала нам упиться счастьем, вознесла на седьмое небо, и вдруг низвергла в пропасть горя нежданного. Три года назад в скверике у филармонии, на пригретой солнышком скамье, я между поцелуями клялся, что готов и хочу прожить вместе с тобой Богом назначенные сроки. Не ведаю, что будет дальше, а в эту минуту, стоя среди теплыни на железных прутьях барачного балко-

на, я ласкаю взглядом небольшой домик по ту сторону «запретки», где ты совсем недавно ночевала после свидания. С того дня в неприкаянном лагерном пространстве появился еще один зримый кусочек твоего присутствия. Луга, что начинаются сразу за домиком, залиты талой водой, а дальше – темнеющий лес, через который пролегла дорога твоих приездов. Кстати, Рит, напиши, выходят ли окна той комнатки в мою сторону. Представь, мне важно это знать...

Письмо из Рязани вторую неделю при мне, не единожды в день перечитываю его: столько в нем сердечной чуткости.

Рит, совсем скоро ваши с Лёнкой дни Рождения. Нашу щебетунью завалят подарками умиленные родственники. Не забыть, как в апреле шестьдесят девятого тетя Лина принесла мне в прокуратуру большую нарядную куклу. По величине она, пожалуй, была не меньше именинницы. Несколько дней кряду забывал захватить подарок домой, и лишь три дня спустя после праздника она, обрадованная, заполучила куклу Дусю.

Представь, Рит, я выписываю «книга-почтой» сказки и другие детские книжки для возраста, в котором я застану нашу интересантку после отбытия срока.

Каждый год мои поздравления, похожие, как звезды на небе, между тем неповторимы искрометностью слов, возносящих здравицу белобрысой имениннице. Чувствуешь, как я завернул?! Горюница моя, да не посетят тебя в этот день печали. Хоть на миг почувствуй страстное кольцо моих объятий... Пусть тебе приснится песчаный плес на речке Проне и букет из колосьев, камышей и цветов, собранный для тебя мною. Безмятежная голубизна простиралась над нами!.. До чего же хороша была ты, виновница моих экспромтов и дура-

честв – стройная, златокошая подружка моей дерзновенной юности.

Год назад, в твой день рождения, мы «свидались» в саратовской тюрьме. В подарок я принес рисунки моего сокамерника Виктора Боброва, в его квартире мы встречали незабвенный 1967 год. Ты так понравилась ему, что наутро, когда мы еще спали, он до блеска начистил твои сапожки. В тот день мы оба были в возбужденно-радостном ударе. Сидя напротив, в присутствии дремлющего надзирателя, мы держались за руки, и без умолку говорили, перебивая друг друга. Фотографии, что ты передала мне, были бесподобны! С роскошеством волос и грустных глаз! Ровно через неделю, в жаркий майский день, нас шестерых отправят этапом в Мордовию...

...Заниматься хожу в библиотеку – в секции уж больно шумно бывает вечерами. Когда ощутило устаю, забираюсь на койку, обкладываюсь книгами и... только меня и знали. Одна беда – времени на все не хватает. Олег Фролов, рассматривая содержимое присланной мне книжной посылки, остроумно заметил: «Было бы совсем хорошо, если бы вместе с книгами и Время присылали».

С периодикой, пожалуй тебе, справляюсь трудно: навывисывал ворох журналов и не представляю, как смогу перелопатить такую уйму материала. Послушай, Рит, что мне приходит:

- Русская история;
- Русская речь;
- «Аврора»;
- Филологические науки;
- Вестник МГУ – филология;
- Вестник ЛГУ – история, язык, филология.

За все про все заплатил всего лишь двенадцать рублей, не так уж и много. В последние два месяца «книжка почтой» получил:

- Тацит «Анналы» и «История», в 2-х томах;
- Современный позитивизм;
- Литература XVIII века (хрестоматия, огромный том);
- История литературы XX в. (до 1917 г.) – учебник;
- Эволюция современного православия и т.д.

...8 марта. На душе тоскливо. В таком разе, представь себе, отправляюсь гулять... на пару с тобой. Ты удивишься: «Как это?» Да очень просто: «бью пролетку» по любимой тропке и воображаю, что по левую руку ты, большеглазая моя. Как раньше, в Рязани, дурашливо запрокидываю голову, улыбаюсь, что-то шепчу и даже напеваю. Что только не приходит мне на ум: вижу, как морозным январем, задрогшие на холоде, мы грелись у батареи в вестибюле ДК МГУ на Герцена. Мне нравилось, что ты заботливо настаивала, чтобы, выйдя на улицу, я непременно опустил уши моей заячьей шапки. А песенки – те самые, полюбившиеся, что впервые услышал от тебя. На последнем свидании я упрасивал, чтобы ты снова напела их. И тихо плакал, слушая милый чистый голос из дивного прошлого: «Выткался на озере алый свет зари...» Ты замолкла, и я неожиданно для тебя спросил: «Подумай, Рит: впереди у меня почти 5 лет срока... Что тебя удерживает при мне?» Помолчав, ты ответила: «Представь, все».

Что говорить, недолго мы пожили вместе, но как никто ощутили счастье всенаполняющей близости. Помнишь, как удивлялись, читая мысли друг друга и признавались в сходстве ощущений. И вот ты в отчаянии пишешь, что чувствуешь себя бесконечно одинокой.

Рита моя, ведь так ты можешь потеряться для себя самой. Пусть то будет одиночеством вдвоем, но никак не порознь. В случившемся никто не виноват кроме меня. Я мог бы неплохо устроиться в жизни, но потребность в правде убила во мне обывателя, отделив от запросов и инстинктов толпы. Другим твой Сенин уже не станет, по пословице: «Каков в колыбельке, таков и в могилку».

Пожалуйста-препожалуйста, напиши мне полстранички о чем-нибудь нашем, интимном... Мне хочется услышать об этом из твоих уст.

*Из письма от 20 апреля 1971 г.*

*Озерное*

...Весне невозможно не радоваться. Но с ней на душе делается беспокойнее. И ничего не попишешь: бессильны смирение, благоразумие, когда настойчиво заявляет о себе чувственная полетность молодости. От рассвета до сумерек стоят долгие, полные запахов и звуков дни!

С той стороны, где дышишь ты, помимо надежды и нежности часто тянет холодком недосказанности. Когда ты была рядом, ничего такого не ощущалось: где-то в подсознании светилась вера, что я по счастью обрел тебя и ты навсегда со мной и моя. Не стоило ревновать, терзаться, когда горела свеча твоего всеприсутствия. Если приходилось на время оторваться от твоего огонька, я начинал тосковать. Через дни и километры спешил к теплу любовно-обжитой комнатки, где ты, дочка, уютный свет лампы с розовым абажуром. На подоконнике там спали убаюканные Аленкой игрушки, а на спинке

стула светлело мое любимое с кленовыми листьями платье. Заспанная, с волосами, забранными в хвостик, ты открывала мне дверь, удивленно улыбалась и с закрытыми глазами запрокинутой головы тянулась к моим обветренным губам...

В то время я души в тебе не чаял и поэтически именвал тебя Сольвейг, Ассоль, Ярославной. Перед сном, распустив волосы, в одной ночной рубашке, в полусвете лампы ты представлялась мне обворожительной феей. Представьте себе, моя фея-студентка, не воображая о себе ничего такого, проживала в старинном городе, где над тротуарами шатром цвела белая сирень. К подножию древнего крепостного вала подступали заливные луга. По их глади к сенокосу поднимались высокие травы. Прохладными июльскими сумерками можно было сойти с теплой, песчаной полоски-тропинки и брести босиком по росистой траве. Сколько раз в то сказочное лето златовласая фея в легком сарафанчике гуляла там со стройным большеголовым принцем в светлых брюках и рубашке, одного цвета с его голубыми глазами. А однажды (как жаль, что такое случается только однажды) они в сумерки вышли к самой реке, широкой и спокойной. На берегу, на удивление феи, ее принц, к шалостям и сумасбродствам которого она еще не совсем привыкла, раздевшись, бросился в воду. Через минуту он протягивал к ней руки, восторженно хохотал и звал к себе. Фея не устояла, и принц, подхватив ее, боязливую и смущенную, на руки, сошел с ней в прохладу воды. То был незабываемый вечер!.. Остается вечно помнить его и благодарить одним-единственным словом: «Рита, Риточка...» Сколько раз еще шепотом, стоном и криком будет вырываться из меня твоё имя!..

...Тружусь на стройке, каменщиком. Доверяют мне,

как молодому мастеру, пока лишь кладку внутренних стен. Там если малость напортачишь – невелика беда. Но чтобы избежать огрехов, по вечерам просматриваю книжку «Каменные работы».

Обливаюсь два раза в день – утром и сразу после работы: бодрит и поднимает тонус. Помню, как в деревне, по осени, ночуя на сеновале, под тулупом, я поутру бежал вдоль опушки осинника до Кошкарева пруда. Растелешившись, стоя босиком на заиндевевшей траве, переводил дыхание и бесстрашно бросался в холодную воду. Трусишка моя, не испытав самому – невозможно передать ощущения от купания в ноябрьской воде! Как ты помнишь, в Саратове я не без успеха занимался моржеванием. Но, увлекшись, «пересидел» в Волге и сильно простыл. А мне надо было тогда кровь из носа дописать для тебя доклад по новой истории. Распростуженный, с горячей головой, каждый день приходил в «наулку» и через силу кропал страницу за страницей того злополучного доклада. Написал-таки!..

Читаю сразу несколько книг: «Историю славянских литератур» Пыпина (СПб., 1857), заканчиваю «Герои и еретики» Данэма. Одновременно слежу за периодикой, просматриваю подшивки прошлогодних литературных журналов. Заказал недавно альбом «Сокровища русского искусства». Живопись IX – XVI вв.. Книга, весьма необходимая при моих нынешних увлечениях. Рад, что ты находишь время читать Юрия Олешу и Михаила Булгакова. Когда мы спорили о Фете, Писареве, Некрасове, ты, как я теперь убеждаюсь, во многом была права.

...20 апреля. Ритэт, сегодня поистине праздничный день: в конверте меня ждали две фотографии, твоя и Аленки. Какая же она у нас милашка! Улыбка у нее – не

оторваться... Какими бы дружочками мы с ней сделали. Ты одна поймешь безмерность моего отцовского умиления... Мои друзья свидетельствуют о ее поразительном сходстве с мамой. А мама Рита смотрится как на картинах времен Ренессанса – само олицетворение материнства и женственности...

...Адресую вам обеим свой очерк о женах-мироносицах.

Подавленный и скорбный, спал Иерусалим. И только несколько женщин, пугливо оглядываясь и осторожно ступая по округлым камням мостовой, пробирались через спящий город. В руках у каждой был глиняный кувшин. В предутренней свежести чувствовался тонкий запах ароматических масел, доносившийся из сосудов. Ни единого слова не слетало с их губ. Печальные и сосредоточенные, торопились они до света прийти ко гробу своего Учителя. Им предстояло совершить то последнее дело, которое живые творят для мертвого: умастить Его тело благовонным миром, как было принято на Востоке. Они не успели сделать этого в тот страшный день, когда Его подвергли жестокой и позорной казни на кресте. Христос был распят в пятницу, на исходе дня, а заходом солнца начиналась суббота – день покоя. По заповеди, в этот день иудеям предписывалось оставить всякие житейские заботы.

Возможно, они шли той самой дорогой, по которой недавно ступал и Он, измученный, обессиленный, всеми оставленный. Разве могли они знать, что века спустя тысячи и тысячи паломников, приезжая в Иерусалим, с благоговением будут ступать по улочкам, освященным крестным путем Сына Человеческого. О чем могли думать эти женщины в то единственное во всей истории человечества утро, утро Воскресения? Перед глазами

неотступно стояла картина Его мучений, которая запечатлелась в памяти каждой сквозь слезы сострадания. Когда тело Господа обессиленно сползло вдоль бруса, Ему становилось трудно дышать. Пытаясь распрямить колени и приподняться, Он всей тяжестью упираясь в пробитые гвоздями голени, и тогда нечеловеческая боль судорогой перекашивала Его лицо...

А неделю назад радостное ликование заливало улицы Иерусалима. Люди встречали Иисуса, как Царя и Божьего помазанника. Но Он при виде общего поклонения, разостланных под ноги одежд и веток, криков и приветствий, оставался безучастен ко всему происходившему вокруг. Со скорбью Господь провидел, как те же самые люди будут иступленно кричать Пилату: «Распни Его, распни!»

Так шли они к Его гробу, исполненные печалью. Больше всего их заботило, смогут ли они отвалить огромный камень, закрывавший вход в гробовую пещеру. Из скупых слов евангельского рассказа мы с большей или меньшей вероятностью можем воссоздать все, что увидели и пережили жены-мироносицы на пути ко гробу Своего Учителя. ...Когда идти оставалось совсем недолго, неожиданный подземный толчок испугал их и заставил остановиться. Одновременно им в глаза ударила вспышка ярчайшего света. Напуганные, они некоторое время стояли, не спуская кувшинов с плеч, но придя в себя, торопливыми шагами поспешили к тому месту, откуда просиял свет. Что же они увидели? Камень, который, казалось, навеки отделил жизнь от смерти, тьму пещеры от света дня, недра могилы от небесной выси, был отвален прочь некой нечеловеческой силой. А во мраке пещеры они нашли не окоченевший труп, а сияющего радостью ангела, возвестившего им: «Что вы

ищите живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес! Идите, скажите ученикам Его, что Он ожидает их в Галилее».

Тебя и дочуру поздравляю с пресветлым праздником Красной Пасхи! Христос Воскресе!!!

*Из письма за май 1971 года*  
*Озерное*

Рита моя! Я дурной и неисправимый мальчишка... Приедешь и первое, что сделаешь – хорошо оттреплешь своего неука за колкости и досады, которые ты смиренно переносишь. Сожалею, но мне не достает сдержанной мудрости, что есть в тебе.

Сообщу новость: твой Сенин, из тяги к самообразованию, принялся за изучение французского языка. Мне бы такое и в голову не пришло, не окажись по случаю рядом человека, у которого за плечами 15 лет жизни в Париже. Просыпаюсь за час до подъема и, расхаживая вдоль «запретки», самозабвенно «парлекаю» до завтрака. Серьезно говоря, собираюсь довести знание французского до возможного совершенства. Через год-полтора надеюсь свободно читать и изъясняться. Хочу знать мнение моей англomanки.

Продолжая образовательную тему, поделюсь впечатлениями от прочитанного. Не взыщи, о делах сердца поведаю в другой раз.

В 3-м номере «Вопросов истории» за 1971 год шеф твой, Б.А.Рыбаков, ярится и негодует на теорию этногенеза Льва Гумилева. Академик с высоты своего авторитета накидал ему хороших плюх за якобы вольное обра-

щение с источниками. Тем самым, он придал еще больше притягательности концепции Льва Николаевича. Спрашивается, о чем же спор? Предерзостный этот Гумилев полагает, что «Слово о полку Игореве» не имеет никакого отношения к событиям похода 1185 г. По его мнению, написано оно было в 1249-1252 гг. для того, чтобы в завуалированной форме высказать неодобрение по поводу дружбы князя Александра Невского с ордынским ханом Сартаком. Ну а Рыбаков, сама понимаешь, ногами топает на Гумилева за оспаривание милой его сердцу исторической версии. Сознаюсь, собственного суждения на этот счет не имею. Может, ты что опишешь. Гумилев мне интересен, тем более что в жизни он, как говорится, прошел «и Крым, и Рим». Около 13 лет находился в местах, куда ворон костей не таскал. В перерывах между арестами учился в Ленинградском университете на восточном факультете: в 1956 г. наконец-то закончил истфак ЛГУ, через 4 года защитил кандидатскую, а в 1966 г. – докторскую.

Интересно было узнать о распространении на Руси несторианской ереси. Название свое она получила по имени патриарха Константинопольского Нестория. Он учил, что Пресвятая Дева Мария родила человека, а не Бога. Поэтому несториане называют ее не Богородицей, а Христородицей. По их учению, Иисус, родившись как человек, через веру и послушание обрел божественное достоинство и сделался сыном Божьим, Богочеловеком. Другими словами, несториане умаляют божественную природу Христа в пользу его человеческого естества. Ересь была предана анафеме на Эфесском соборе в 431 г.

«История СССР» №2 за 1971 год. В.А. Янин в соавторстве с М.Х. Алешковским выдал свежую историче-

скую версию происхождения Новгорода. Новым Новгород стал называться по отношению к Холмограду (древнейшее самоназвание Новгорода). Возле Холмограда постепенно возникают поселки («концы»). Каждый из них представлял одно из племен, в совокупности составивших население Новгорода, смешанное по своему этническому составу. Но достаточно, так я тебе всю статью перескажу. Прочти сама, не пожалеешь!

Теперь просто факты. Степан Борисович Веселовский оказался последним из могокан, занимавшихся в постреволюционный период генеалогией дворянских родов. Сам он выходец из дворян, потомок знаменитых петровских дипломатов, близкий родственник Софьи Перовской. С детства вращался в кругу отпрысков старинных боярских фамилий, – все это, безусловно, сказалось на выборе предмета его научных изысканий.

Поэта Семена Кирсанова заметил в свое время Маяковский. Он брал его на свои выступления и представлял перед публикой как продолжателя своего поэтического новаторства. Весной семидесятого года ты прислала мне в зону его «6-ю заповедь», которая потрясла меня:

«В ночь, бессонницей обезглавленную,  
Перед казнью моей любви  
Я к тебе простираю главную  
Заповедь: «Не убий!..»

В прошлогоднем номере «Новый мир» за март прочел как откровение повесть Валентина Катаева «Трава забвения». Он пишет о своих встречах в Одессе с И.А. Буниним незадолго до его эмиграции. Поверженная, обезображенная красота России, где все было так

любимо Иваном Алексеевичем, горестно отразилась в «Окаянных днях». Катаев несколько раз встречается с почитаемым учителем. Свой пиетет перед Буниным он выразил словами: «Я должен был увидеть человека, перед талантом которого преклонялся, и который представлялся мне существом почти сказочным». Читал страницу за страницей и одного желал: чтобы долго не закончилась захватывающая хроника нескольких дней из жизни великого Мастера.

«...Скажи поклоны князю и княгине,  
Целую руку детскую твою  
За ту любовь, которую отныне  
Ни от кого я больше не таю»

*(И. Бунин)*

Много раз перечитывал стихи про себя и вслух, поражаясь красоте слога и звучания.

...20 мая. Бедняжка моя, по письму вижу, что и тебя черемуховой веткой коснулась новая весна. Ты доверительно плачешься, как не достает тебе моей мужской поступи под стук твоих каблучков. Особенно поразился словам, которые, как мне представилось, твои губы не проговаривают, а шепчут: «Алька мой, все, что у меня есть, и что завтра появится, я всегда делю поровну – тебе и мне. Ты сам научил меня жить так...» Снова и снова, как именинник, слушаю твои признания, столь значимые для меня.

Два года назад я встречал тебя с московской электричкой на Рязанском вокзале. Городской май, много свежей листвы, ее запах ощущается повсюду. Стоя на перроне, чувствовал, как мое сердце бьется от нетерпения утопить в нежности ее, белокурое мое диво.

Наконец-то среди многих из вагона появляется она, передаваемо красивая, имя которой знал в толпе я один. Увидев меня, улыбается, машет рукой. Казалось бы, все происходит знакомо и ожидаемо, но переживается как бы впервые, с неослабным волнением. Надо же было ей выглядеть так очаровательно, что приготовленные слова утратили всякую надобность... Гораздо больше могла сказать близость объятий, когда, сойдясь, мы замерли на мгновение, не видя и не слыша ничего вокруг себя. Также молча я забирал из твоей руки сумку, другой обнимал тебя за плечи, и мы шли к троллейбусу. Может статься, когда я сделаюсь седым стариком, ко мне, сидящему одиноко на веранде, под шум летнего дождя будут возвращаться видения, где мы остались навсегда вместе...

В Саратове у меня в блокноте была вклеена фотография, где ты с косами и тебе 17 лет. Я выпросил ее в первый месяц нашего знакомства. Эта карточка дала мне повод насмешливо называть тебя «белобрысой улыбашкой». В блокнотик я много чего выписывал: изречения, стихи, что-то свое. Туда же заносил отдельные строчки из твоих писем, те из них, которые чем-то тронули меня. Некоторые помню почти дословно, послушай: «Ты гладил мое лицо, касался губами век, и я обмирала от ласкового тока твоих прикосновений...» Блокнот тот вряд ли уцелел, но ты непременно сохрани мои письма. Придет время, и я составлю из них любовно-лирическую хронику. Думаю, ее интересно будет прочесть нашей подросшей девочке.

Рит, зимой я заказал «книга-почтой» альбом «Рязань». Потерял всякую надежду получить, и вдруг приходит бандероль из нашего с тобой города. Книг у меня поднабралось немало, но альбом о Рязани – самый бесценный из всех приобретений. Тотчас же с жадной поспеш-

ностью я перелистал его от корки до корки, то и дело внутренне вскрикивая от радости. На каждом из листов представляли душеспасительные виды самого дорогого для меня места на всей земле. Желая продлить удовольствие от созерцания, я обязал себя в каждый из дней просматривать по 10 страниц, не более. Всякий из снимков возвращает неизъяснимое обаяние моей первой любви...

...Наша первая прогулка наедине, без подружки твоей Ирины. Начиналась она с вечернего, заснеженного кремля от старинной церковки, сокрытой среди темных деревьев с красивым названием – «Спас на Яру». Уже тогда мне хотелось запечатлеть происходившее между нами по-бунински, его словесной вязью, тонкой и выразительной. Всматриваясь в очертания куполов, мне внутренним озарением открылось, что именно отсюда начались первые шажки нашего земного странствия. Нам, восторженным, не дано было знать того, что страданиями и слезами будет вписано в нашу общую судьбу. Видно Богу было угодно, чтобы грядущие утраты обернулись непредвиденными обретениями...

С раннего детства распознал в себе мистическую потребность запомнить и сохранить поразившие меня впечатления. Всякий раз, возвращаясь к ним, я с любовью и грустью воспроизводил в памяти мельчайшие подробности пережитого. Для кого-то – блажь, чудачество, но мне дороги были камешки, засушенные цветы, веточки, старые письма, разного рода вещицы. Спросишь, к чему я клоню? Вовек не догадаешься. Ты наверняка забыла: на календаре 11 июня. Ровно 2 года назад, я, как вышло, в последний раз прилетел к тебе в Москву из Саратова. Было пасмурно, не по-летнему прохладно. Мы тогда разминулись: самолет посадили в Домодедово, а ты электричкой уехала в Быково. В таком случае,

по давнишней договоренности, мы должны были встречаться на Ленгорах, в твоём блоке на 6 этаже. Досадая, что так получилось, я поступил, как мы условились... Вот автобус огибает светло-серую высотку университета и останавливается напротив входа в зону В. Надеюсь застать тебя на месте, представляю все наперед: гранит ступеней, массивность входных дверей, знакомый мраморный декор первого этажа, лифт и ковровая дорожка по коридору. Мне виделось, что я шагаю по ней, как на день рождения, к знакомой двери. Но все произошло иначе: развернув на вахте свое служебное удостоверение, я вошел в знакомый дворик зоны, и, пройдя несколько метров, взглянул направо на кусты сирени и деревья памятного скверика. Там в одну из майских ночей после выпитого шампанского мы, как школьники, обнимались и целовались на укромной скамейке. Оказалось, ты тоже все просчитала. Не обнаружив меня на этаже, спустилась вниз и стала ждать на той самой скамейке. В тот момент я изумленно увидел все разом: университетский дворик, многооконность фасада, свежесть листвы и, представь, тебя, идущую мне навстречу! Мне всегда нравилась твоя манера одеваться – изысканно и сообразно твоему неповторимому облику. В этот раз на тебе была синяя нейлоновая куртка с алым шелком на отворотах рукавов и подкладке капюшона, в тон ей – облегающая юбка. Мог ли я, истосковавшийся по тебе, не обратить внимания на красивые ноги в капроне телесного цвета и красных туфельках на высоком каблуке. Между нами всего несколько шагов... Со всем близко твои радостно светящиеся глаза и светлые волосы по плечам Замерев в моих объятиях, ты сбивчиво проговариваешь: «Алька, я полчаса как вернулась. И все тебя ждала. Не поверишь, 5 минут назад я себе ска-

зала: дойду до конца страницы, и он придет. Прочла, подняла глаза, и, правда, идешь ты...»

Оторвался от письма и с горечью подумал: «Мне бы на часок оказаться у костерка, который мы с тобой когда-то разложили. Посидеть вместе, отогреться после холода вынужденного отчуждения». Ты не могла не заметить, что в моих письмах неизменно присутствует ностальгия по времени, когда мы были властны бросить всё, сорваться и день-другой побыть наедине. Ныне мы с тобой повязаны по рукам и ногам безысходностью, — она надолго. Но сколько бы ни пришлось отсидеть, никогда не приму чуждого, насильно вмененного мне инобытия.

\*\*\*

Ты прошепчи, ты крикни, — я приду  
И поддержу огонь, что на исходе.  
Ты видишь: осень клином ввысь уходит,  
И жить начертано нам на роду.  
Изнемогают чуткие ладони  
От прежней нежности прикосновений,  
Волос и глаз твоих чудотворенье  
Так грустно замерло в хрустальном звоне.  
...Но безвозвратны даты упоений,  
И ветер по свету листву сырую гонит.

\*\*\*

*Из письма от 7 июня 1971 г.*

*Озерное*

**Здравствуй, Рит!**

Вот оно, нами жданное русское лето. Время коротких

дождей, босоножек, тенистой вольготы улиц с бочками кваса на перекрестках. Из моего обреченного далека каждое нами пережитое лето кажется неправдоподобной сказкой. Сижу, опершись спиной на согретую солнышком стену барака. Гаснет день, свежеет, ошутимее запахи многотравия. В зоне их особенно чувствуешь и сорадуюешься лету. Но в мои 24 года мечтаешь об иных радостях: гуляючи по Рязани, восторгаться цветастым, недавно пошитым тобой платьем с легкомысленными бретельками на плечах. Мне нравился твой тонкий золотистый загар и выгоревшие на висках пряди волос.

Новое лето ты встречаешь в похожих нарядах... Но досадно, что я от тебя далече. Единственное, что доступно мне, – распластавшись на фуфайке, любоваться вольным, единым для нас небом. Вообрази, если сейчас я поднимусь и по зову сердца пёхом направлюсь в твою сторону, то через 10 метров упрусь в колючую проволоку «запретки». А небо – вне закона; оно ласкающе распростерлось над каждым и всеми. И не надо просить дозволения, чтобы в бреющем полете мечты достичь твоего города и увидеть, теряя сознание, знакомую фигуру под тополями на солнечной стороне улицы...

Нечто похожее, только въяве, случилось в декабре шестьдесят шестого года. Из Саратова меня самолетом перенесла к тебе совестливая потребность покаяния. Не предупредив телеграммой, пребывая в сумасшедшем возбуждении, я вечером уже был в МГУ. Но в комнате жилого блока тебя не оказалось. Зная, что после занятий ты обычно возвращаешься через проходную зоны Б, спустился с 10-го этажа и стал поджидать тебя у площадки лифта. Она находилась на уровне 2-го этажа, и потому мне как с галерки были видны тяжелые входные двери, которыми ты должна была пройти. Вокруг

студенческое многолюдство, красота мраморного интерьера и неослабное волнение ожидания. Незаметно прошел час, может и больше... И вот подобие вспышки озарило меня: из дверей появилась ты, в знакомой шубке, с мохеровым шарфом наподобие капюшона. Ты шла задумчиво, с портфельчиком в руке, в походке чувствовалась усталость. Глядя на тебя сверху, я стоял как вкопанный у каменной балюстрады. Повинной душой готов был целовать плиты пола, по которым ступали твои сапожки. Зная, что через минуту ты поднимешься по ступенькам к лифту, укрылся за колонну и с замиранием сердца стал ждать. Ты появилась, и совсем близко вижу твое милое бледное личико, погасшие глаза. Когда ты остановилась напротив лифта и уже точно не могла меня видеть, увлеченный этой напрягающей нервы игрой, я подошел сзади и закрыл твои глаза ладонями. Так мы делали в детстве, дожидаясь ответа на молчаливое вопрошание: «Угадай, кто это?» Именно эти слова проронила и ты, удивленная неожиданной шуткой. Когда я отнял руки, ты повернулась и растерянно замерла, не веря своим глазам. Через мгновение слабая улыбка радости и всего три слова в изумленном выдохе: «Алька, это правда ты?»

Несется солнце за вагоном,  
Едва-едва не догоняя,  
Ядром закатно-обреченным  
Лесок продрогший пересекая.

...Так нам с тобою не поднять  
Жар-птицы радужные перья  
И жизни новой не начать  
С утратой прежнего я

Но есть от века утешенье,  
Гласящее и нам с тобой:  
«Алмаз любовного мученья  
Не покрывается золой».

Представь, Ритэт, в зоне для души нет и не может быть другого дела, как заново перечитывать влекущие страницы моей недолгой жизни с тобой. В библиотеке есть проигрыватель, и, представь, среди пластинок я обнаружил второй фортепианный концерт Рахманинова. Как композитора и исполнителя, я полюбил его во многом благодаря тебе. Вспомни зиму шестьдесят шестого года и наши свидания в согретом уюте рязанской «публички». Мы оставались вдвоем, с наушниками, в полусвете кабинета для прослушивания пластинок. Ты сидишь рядом, прикрыв глаза, а мои пальцы чувствуют тепло твоего запястья. Мы оба слышим проникновенные звуки фортепианной партии в исполнении автора... Они подобны хрусталу, падающему на серебряное блюдо. Им вторит плещущее море оркестрового звучания... Пальцы пианиста исторгают невозможное для понимания, чему остается с упоением внимать, отдаваясь неисповедимой магии музыки. Под эти звуки, как Китеж-град, поднимается из глубин души она, любимая с детства Россия... Вековая дрема сосновых боров, светлый песок равнинных речушек, воспетая земля древних станов и изрубленных кольчуг ратников. Знал ли я, что совсем скоро, приняв свой крест, через страдания осознаю себя ее блудным сыном, с покаянием возвратившимся в отчий дом, некогда в пренебрежении оставленный...

## ЗЕМЛЯ ОТЦОВ

Прикажи умереть -  
И я вскину в готовности голову,  
Дай лишь мне досмотреть,  
Как Господь наш поделит всем поровну.

Тот ненайденный клад  
Непридуманной сказочной жизни,  
Где, не мят и не клят,  
Я живу в возрожденной Отчизне.

Там синеют снега,  
Хорошеют резьбою деревни,  
Там, блажен, наугад  
Я бреду по прекрасной и древней

Среднерусской равнине,  
Что в окладе мещерских лесов  
Испокон и донныне  
Почтена за основу основ.

Пусть узорные церкви  
Собирают воскресший народ.  
Да вовек не померкнет  
Над тобой голубой небосвод!

И тогда, не простясь,  
Просиявши счастливым лицом,  
Я верну свою часть  
Ради сказки с хорошим концом.

Скажу ли то своё, чему суждено будет остаться во  
времени? Не ради тщеславия, но единственно из жела-

ния быть услышанным. Как Бог даст... Пока лишь ощущаю в себе подспудный пласт наитий, почти не тронутый. Пытаюсь строить на нем.

*Из письма от 24 июня 1971 г.*

*Озерное*

**Лада моя, привет тебе из Мордовии!**

Давно заметил за собой такую особенность: впечатлившие меня слова, фразы, мысли с непостижимой избирательностью западают в память. Со временем они забываются, становятся, казалось бы, навсегда потерянными. В одном из своих заплаканных писем в Саратов ты проронила: «Алька, мне встретилось изречение, что разлука убивает любовь. Стало страшно за нас». Тогда твоя тревога была непонятна мне. Наша жизнь порознь лишь разжигала мои чувства. Обуянный романтикой разлуки, я забрасывал тебя письмами, постоянно звонил, и, не выдерживая, прилетал на день-два. Короткие, полыхавшие любовью встречи были превыше всех мыслимых и немыслимых ожиданий. Долго после я жил их восторгом и печалью. Я самозабвенно обладал не одной тобой, а вместе временем и пространством. Они всецело принадлежали нам, предоставляя несравненную возможность в любой момент в порыве сердца осчастливить друг друга. Но пришли иные времена. Неотвратимость срока, перемноженная на ужасающее число лет разлуки, мучит сознанием бессилия. Ныне я похож на человека, переломанного и загипсованного: вроде бы и живой, но при этом ни рукой, ни ногой не пошевелить. Из 7 лет пройдено всего 2 года... Самое время спросить: «Неужели и вправду то изречение имеет роковое отношение

к нам? Неужели безжалостное время может убить ту любовь, которую я фанатично исповедовал как вечную?» Мне есть что ответить на это, — лишь бы ты услышала и вняла!..

22 апреля шестьдесят восьмого года... Равно дорогая нам дата. После лекций по обыкновению оправился на Саратовский почтамт, надеясь получить весточку от тебя. И правда, мне вручили, но не письмо, а телеграмму от бабушки Елены Ивановны. С восторженностью старой интеллигентки, зная о нашем с тобой пристрастии к Грину и его «Алым парусам», она отбила бесподобный текст: «Дорогой Олег, Риточка родила тебе дочь Ассоль, мы все поздравляем тебя». В первые секунды перед глазами только буквы с наклеенных полосок телеграммы. Известие, которое они содержали, дошло до меня не сразу. Читаю еще и еще раз: «Риточка родила тебе дочь...» В голове невообразимая мешанина мыслей и чувств: «Почему в апреле? Ожидалось, что это случится в конце мая... Выходит, у меня теперь есть дочь... Дочь — это же девочка... А я шутливо и всерьез просил Риту, чтобы она родила непременно сына... Если девочка, значит она крошечная и красивенькая, как куколка... Когда подрастет, стану играть с ней и подбрасывать ее, хохотушку, над головой. С этого дня я уже не сам по себе, а отец моей доченьки, только что появившейся на свет... Вчера еще ее не было, а сейчас где-то в роддоме она, завернутая в пеленки, посапывает носиком, открывает глазки, плачет. Какая же она маленькая и теплая!.. Подумать только, в этот день родилась и навсегда со мной пребудет моя кровинка, малая частица меня...»

С телеграммой в руке я стоял у овального окна в зале почтамта, застигнутый событием, которое высветило в моей душе нечто особенное, не переживаемое никогда прежде. Боже мой, отныне нас трое: моя большеглазая

тихоня подарила мне изумительную девочку, которую я стану любить ничуть не меньше ее счастливой мамы. Тут же, на вырванном тетрадном листе я...не написал, нет! – начертал сбивчивые признания захлестнувшей меня любви к вам. Хотелось радостно прокричать моей далекой, что с этого дня сокрытая в тебе новая жизнь, мягкие толчки которой я ощущал под своей ладонью, станет богоданным продолжением нашего рода...

Сколько помню, восклицательных знаков и многоточий в письме было больше, чем слов. Но самое поразительное: оно не дошло до тебя... Сказать по правде, во всю жизнь я не написал тебе ничего похожего. В те минуты, казалось, само небо сошло на землю и изукрасило её первыми весенними цветами. Предвидя, как растрогают тебя мои восторженные словословия, машинально вложил в конверт сложенный листок, заклеил и опустил в почтовый ящик. Однако ты не прочла этого письма: вне себя от радости, я забыл написать на конверте адрес...

Прости, Ритэт, что разбередил горестное сердечко твое. Но то, что ты услышала, живет и торжествует во мне вопреки банальной прописи, что разлука убивает любовь. Может быть, она, разлука, и вправду способна на такое, но ей никогда не убить апрельских солнечных признаний, что навсегда пребывают сохраненными в нераспечатанном тобой конверте...

Как мне видится, Рит, мы говорим если не на разных языках, то каждый по-своему. Тебе не понять моей усталой обреченности, да и я не способен заглянуть на самое доньшко твоей души, прозябающей в одиночестве. Нас постигли по сути одни и те же лишения. Но переживания наши разного свойства, как и миры, в которых долго ли, коротко ли мы обречены жить. Я перед Богом в ответе за тебя и потому не хочу, чтобы усталость обесцветила твои

глаза, приглушила смех. Знаю, тебе гораздо труднее. Будь не так, жалость к тебе, горемычной, не позволила бы мне думать иначе. Всё то время, когда мы были вместе, я жил с оглядкой на тебя, на восхищенность или укоризну в твоём взгляде. Ты представлялась мне добрее и чище, чем я сам. Удивляла твоя интуиция, произвольная способность к пониманию и изъяснению сокрытого, – мне этого явно не доставало. Твоего Сенина обычно выручала эмоциональная пылкость, отменная память и, как заметил Олег Фролов, «врожденная склонность к диалектике». Отсюда ты видишься мне по-детски хрупкой, беззащитной, с нимбом печали над потупленной головкой.

...Ласкуша моя, скоро-скоро я раскроюсь перед тобой в переполненности души, надорвавшейся в ожидании. Нас ждут три уединенных вечера... И столько же бессонных ночей в комнатке для свиданий. Предчувствую, что мои признания и ответное понимание очистят душу от всего, что недостойно тебя и неприложимо к тебе.

Прощаюсь. Нежно провожу пальцами по твоему лбу и пряди волос у виска.

\*\*\*

Я жду тебя, медлительный июль.  
Ты явишь чудо, рано или поздно,  
И в тихих днях твоих проступит грандиозность  
Разлукой тронутых вселенских струн.

Неспешных вечеров засветится свеча,  
Ушедших радостей припоминанье,  
И дивное, не знавшее названья,  
Слиянье двух измученных начал.

\*\*\*

## Мой уголок

Помимо прочего, одна из тягот лагерной жизни — невозможность побыть одному, уединиться. Все 24 часа в сутки ты на людях, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Но, как говорится, «живая душа калачика просит». Потому-то некоторые из лагерников имеют свою тропку, свой уголок за бараком, где можно если не укрыться, то хотя бы удалиться от людской стесненности. Семнадцатая зона считалась отнюдь не маленькой, барачные секции густо набиты. Зэки спали на двухъярусных койках. Приставленные «пара к паре», они составляли «четверики», а еще их называли «вагонки». Получалось, что люди, спавшие как внизу, так и наверху, по сути, спали по двое, хотя каждый на своем ложе. Чтобы в положении лицом к лицу не смотреть и не дышать друг на друга, между койками на ночь натягивали матерчатую занавеску. Счастливчиками оказывались те из эзков, чьи койки стояли крайними от стены. Благодаря этому проход между стеной и кроватью становился своего рода укромным уголком. Его обладатель, сидя спиной к пространству барака, оставался «сам на сам» в своем углу. Такое место я заполучил по счастью в июле семьдесят первого, когда из зоны отправили большой этап, и оттого народу в ней изрядно поубавилось. Возвращаясь в конце дня с рабочей зоны в жилую, я знал,

что меня ожидает обжитое уединенное местечко. В изголовье глаз блазнила иллюстрация И.Шишкина «Рожь», а в тумбочке вместе с карамельками, повидлом и маргарином ждала вожденная баночка с растворимым кофе. Умывшись и переодевшись в чистое, предвкушая удовольствие, я приступал к кофейной церемонии. Сыпав в кружку полную с горкой чайную ложку, отправлялся к бачку с кипятком. Обратного не шел, а шествовал, вдыхая запах, так напомилавший волну. Целых полчаса до начала проверки можно было побаловаться кофейком, неспешно прихлебывая и откусывая по маленькому кусочку от карамельки. Изнутри медленно, как вода в половодье, поднималось настроение приятства и покоя, и, что знатно, перед глазами – никого. После ужина, если приходил кто-то из друзей, можно было доверительно вполголоса поговорить, обсудить свежие журналы, но на этот раз уже за чаем. Местечко мое нравилось и тем, что, принимаясь за письмо, не надо было скрывать выражения лица и набегавших слез.

Зимой того года я работал на «швейке» во вторую смену с 4 часов вечера до 12 ночи. Стремясь побольше быть на воздухе, взял за обыкновение читать книги во время прогулки. Присмотрел за баней расчищенную от снега полосу отмотки. Перелистывая страницы, часа по 2 вышагивал с книжкой в руках, изредка останавливаясь, чтобы обдумать прочитанное. Мягкий снежок, иней на «заплетке», молчаливый лес поодаль и ни души поблизости. В сильные холода, когда на двор носа не покажешь, сразу после отбоя, при погашенном свете, я коленопреклоненно молился перед иконкой в своем закутке. С лагерных лет дорожу всякой возможностью уединиться, послушать тишину и узреть присутствие красоты и смысла во всем, что округ меня.

*Из письма 12 июля 1971 г.*

*Озерное*

Плакса ненаглядная, из разобиженного письма понял, как тебе худо и одиноко. Желая успокоить свою горящую, бережно беру твои пальцы, воспетые мной, и принимаюсь один за другим целовать их. Заискивающе заглядывая в твоё смурное личико, вижу, как оно постепенно отходит, смягчает. И чтобы в конце разогнать тучки, поведаю, что сейчас происходит во мне и вокруг.

После поднадоевшей жары пришли вожделенные прохладные деньки. Из леса тянет бередящим запахом свежескошенного сена. Близ нашей Рязани так же вот благостно цепенеют верхушками высоченные сосны, покоятся в берегах застывшие воды Старицы. По ней за неделю до ареста я катал на лодке вас с Людмилой Кашаевой и горланил песни про Стеньку и разнесчастную княжну-персианку. Сам я родился и вырос на другом краю Рязанщины. Деревня, где я рос, была окружена полукольцом лиственного леса. Прохладные трепетные осинники соседствовали со светлыми дубравами. В мае в сырых от поймы воды лощинах бушевала черемуха. Чистые пруды, удерживаемые в лесных оврагах надежными земляными плотинами, дарили нам, ребятишкам, радости купания и катания на коньках. По осени багрянец и охра диковинным произволом пятнали эту завораживающую глаз красоту. Из далекого моего детства я вынес не оставляющее меня донныне восхищение красотой предопределенного мне рождением природного лона.

Вместе с привязанностью к тебе я равно возлюбил пейзажи мещерской стороны, воспетые Есениным и Паустовским. Последний писал: «Там боры стоят, как кафедральные соборы». Не будь студентки-рязаночки,

ставшей моей избранницей, никогда не открылась бы мне сосновая волшебба Мещоры.

...11 июля. Восемь вечера в Мордовии, а в степном Казахстане – скоро полночь. Тишайшие июльские сумерки. Небо, правда, в низких тучах, но нестрашных, мирных. Сажу в прекраснородном настроении под тополем, с подложенной под седалище фуфайкой. В эти минуты готов растечься мыслью по всему лону земному, приютившему в разных концах своих дорогих мне людей... В деревне худенькую непоседу Алену, видно, уже спровадили с улицы домой. По настоянию бабушки внучка послушно помыла в тазике с теплой водой свои ножонки и уселась за ужин. Как всегда, на кухне распахнуто окно в сад, с вечерней свежестью и запахом меда от ульев. Неожиданно подумалось: а наша малышка тоже, как мама, расплетает на ночь свои пушистые косички? Волосы у нее, кстати сказать, твои, густые, как хлебная нива. А что до носика, – он вылеплен природой для того, чтобы его растроганно целовал «любименький папочка». Часто вспоминаю её по Желудево. В последнее лето, когда я из Рязани наезжал к вам на выходные, мы с твоего ведома отправлялись гулять в рощицу. Все ей было интересно на полянках с одуванчиками среди кустов сирени. Возвращались обратно с букетиком цветов и мокрыми штанишками. И такое приключалось с нами по причине детской увлеченности.

Не верится, что скоро явятся и все вокруг озарят два моих льноволосых солнышка. Июль я нареку месяцем солнцестояния.

...Второй день выпадает дождичек, без ветра, тихий и недолгий. Так же скоро проясняется небо и снова ясно, как ни в чем не бывало. Только и памяти о проказнике – упоительные запахи освеженной листвы, травы и влаж-

ной земли. 4 года назад мы упивались беспечной свободой каникул. Я приехал за тобой в Рязань, чтобы на целый месяц забрать в Маклаково. Так случилось, что домашние твои разъехались, и нас ожидало безмятежное уединение в опустевшей квартире. По утрам, готовя завтрак, ты переживала, что у тебя не очень-то получается. Днем мы пролеживали в зале на диване и по очереди читали вслух Толстого, который Алексей Николаевич. На книжной полке стоял его многотомник, как сейчас помню, в ярко-желтом переплете. К вечеру отправлялись гулять. Ты прихорашивалась, примеряла наряды и озабоченно, не без кокетства спрашивала, что мне больше нравится. По мне, ты в любом одеянии выглядела невообразимой красоткой. В тот вечер, после такого же теплого дождичка, мы отправились в кинотеатр «Ока» на фильм «Братья Карамазовы». Выйдя из троллейбуса с незабвенным номером 8, на углу филармонии я купил букет белых флоксов. Вышагивая по мокрым тротуарам, дурачась, мы поочередно, вдыхали томный запах цветов, которые с того вечера на всю жизнь стали моими любимыми. Возвращаясь после кино, мы знали, что дома нас ждет ликер и бутерброды с Российским сыром. Стук твоих каблучков по безлюдному тротуару звучал как обещание, а частые поцелуи под укрытием нависавших веток были дразнящи и упоительны.

Догадываюсь, что ты переживаешь, читая эти строки... Но знай, сколько бы лет не прошло, я не перестану быть волшебником, который снова вернет тебе праздник жизни. Непросто в такое поверить при твоей оставленности. Для тебя у меня есть неотразимый довод: ты не можешь не чувствовать страстности, с которой я вспоминаю ночную Рязань в середине июля, душистые флоксы и твой нежно-прохладный локоток...

\*\*\*

Пластинка русского романса,  
Звуча всё тише и нежней,  
Удушьем сладостного транса  
Мне воскресила мир теней,

Где канделябров стройных свет,  
Трюмо, запыстая, мягкий плед.

Но зеркало души, изломом  
Творя лиричный произвол,  
В тебе, счастливо зацелованной,  
Воссоздало тот ореол,

Что детской хрупкостью плечей  
Рождает восторг моих речей.  
Там, в старорусском городке,  
В притихшей маминой квартире,  
Как в веке том, щека к щеке  
Под эти звуки мы парили.

Тех дней сердечное согласие  
Теперь я называю счастьем.

\*\*\*

*Из письма от 16 июля 1971 г.*

*Озерное*

16 июля... Дата первого свидания в зоне. Накануне мои письма были полны ожиданием твоего приезда. За 12 месяцев срока через душу прошли испытания и об-

ретения, осолившие её. Бунтарское упрямство первых месяцев, карцер, холод и голод БУРа и, как воздаяние, духовное просветление. Кажется, навсегда ушла прежняя, пожигающая пылкость. Более явственно вызванивает не юношеский, а возмужавший голос человека, измученного невозможностью нежить и величить тебя.

Приезжай, торопись... Всё во мне истосковалось и заждалось тебя, кричит и просит о твоём. Поверь, мы снова переживем наши ночные возвращения из города домой, в опустевшую квартиру. Тот же том Толстого, раскрытый на недочитанной странице и сладковато-холодный творог на плоских тарелочках. В тесной кухонке ты сядешь напротив, устало и красиво закинув нога на ногу, и станешь смотреть, как я, непрестанно балагурия, аппетитно смахиваю его ложкой. В твоих глазах я прочитаю извечную готовность женщины внимать и служить... После муки мучной двух лет разрыва, не смотря на зароки, наверняка спрошу тебя о самом-самом: «Скажи, Рит, ты по-прежнему любишь меня? И дождешься?» Поскорее приезжай и тысячу раз повтори: «Да, Алька, да. Да!..»

Заканчиваю. Следующее письмо найдет тебя в Рязани. Заранее спишись с родителями о поездке ко мне. Жду всех вас, и непременно с Аленой. Не забудьте дать телеграмму. С приездом не затягивайте, в прошлом году в это время объявили карантин.

*Из письма от 30 августа 1971 г.*

*Озерное*

**Далекая моя Несмеяна!**

Приходят твои письма, похожие на капли-слезинки,

горькие-пригорькие. Мне из-за колючки не дотянуться до тебя ни пальцами, ни губами, чтобы осушить их.

Незаметно подступила новая осень, но боль осталась прежней, – держит, не отпускает... Снять её способна лишь память о нашем утраченном рае. Будущее нам неизвестно, неизвестно как долго придется идти порознь, прежде чем оно станет для нас неделимым. Прошрое, однажды состоявшись, превратилось в заповедное лесное озеро, а тропинку к нему знаем мы одни.

Август-месяц – любимая нами пора!.. Побледневшая голубизна неба. Высоко в нем развеяны белесые косушки облаков. Потемневшую хвою сосен холодят первые утренние заморозки.

Три года назад мы обретались вместе с полугодовой Аленкой у родителей в Маклаково. После обеда коляску с ней выставляли в сад, и пока она спала, я с книжкой в руках находился где-то рядом. Повсюду грусть неизбывного обряда увядания. В пожухлой траве под старой яблоней корзина с крупными падальцами штрифеля. Проснувшись, Алена принималась плакать. Я подхватывал ее из коляски на руки и, неумело успокаивая, заносил в дом. Ты встречала нас в своем обыденном халатике и в одну минуту утешала ее, что-то ласково приговаривая. В те дни тебе редко когда удавалось высыпаться, потому вид у тебя был по-детски заспанный, почти такой же, как у пробудившейся дочурки. Пышные кусты георгинов под окнами раскрашивали бордовым и нежно-красным наш палисадник!..

Радует, что привелось погостить в Красноармейске. Незабвенны твои рассказы о небольшом городке на Волге, где ты девочкой проводила лето у дедушки и бабушки Куклевых. Слушая, представлял маленький дворик с лопухами, особняк со старым садом. Без подру-

жек, за чтением и играми, ты жила себе припеваючи всё время каникул. Расцветенные воображением, картинки твоих гостеваний до сих пор живы в памяти.

Два дня спустя мне приснился сон, странный, тревожный и вместе с тем сладостный. Будто я оказался в Красноармейске... Зная, что ты где-то здесь, ишу и не могу найти дедушкин дом с двориком. Улицы, мощенные камнем, почему-то пусты, нигде ни души, и некого спросить. В какую сторону не пойду – возвращаюсь на один и тот же пустырь. Но знаю, точно знаю, что где-то здесь рядом ты и все твоё, дорогое мне и желанное... Как помнится, я не отыскал тебя.

Бывает, ты приходишь во сны несколько ночей кряду. В первые минуты, проснувшись, стараюсь удержать впечатления, хранящие следы твоих озаряющих посещений. Засыпая, всегда загадываю, чтобы и в предстоящую ночь ты приснилась мне...

Десять вечера. Вернулся с короткой прогулки. Перед отбоем стараюсь чуток подышать и уединенно помолиться Господу за всех нас. С улицы не хотелось возвращаться в барак. Запахи ночи бередяще свежи, но уже не те, что в июне – как-никак конец августа.

Вспомнился вечер перед отъездом из Маклаково после каникул. Незакатное время нашей брачной идиллии!.. Неисправимый лирик и выдумщик, я предложил устроить прощание с речкой Проней. Во все дни каникул она радовала прохладной водицей и укрывала нас за кустами раkit на горячем песочке уединенного плёса. Под вечер мы подобающе оделись, но я, во исполнение тайно задуманного, прихватил просторную отцовскую фуфайку. Шли по затихшей деревенской улице под крупными августовскими звездами, за околицей дорога пошла ложиной. По ней, в первые дни по приез-

ду в деревню, мы хаживали купаться и загорать к плотине. Нам всё нравилось, кроме одного: там мы были не одни. Скоро нами был облюбован маленький песчаный плес, где мы проводили целые дни и уже никогда не изменяли этому укромному месту. Но к плесу ради прощания идти было гораздо дольше, да и страшновато среди ночи. Плотина осталась от некогда стоявшей на ней мельницы. Сама по себе Проня – речка небольшая, но в том месте она делалась шире и глубже. Воды ее переливались через верх каменной запруды и шумным водопадным потоком устремлялись в свое равнинное русло. Сразу за деревней потянуло холодком. Я бережно накинул на тебя фуфайку и, обнимая за плечи, всю дорогу распевал, читал Андрея Вознесенского:

«...А младший у кабатчика  
Все похвалялся, тать,  
Как в ночь перед заутреней,  
Охальник и бахвал,  
Царевне  
Целомудренной  
Он груди целовал...»

При луне и звездах плотина имела вид необычный, диковинный, будто мы оказались не на Проне, а на Амазонке. Ты как всегда сдержанно разделяла мои восторги, но когда я вознамерился искупаться, трусишка и божья ни за что не хотела меня отпускать. Но куда там! В минуту я растелешился и бросился в темную воду запруды. Оттуда, помню, что-то выкрикивал и реготал, как водяной, страшая тебя. На берегу, вытирая меня моей же майкой, ты с облегчением выговаривала мне: «Как тебе не стыдно, Алька, чуть не до смерти пере-

пугал меня!» Когда я пытался стряхнуть на тебя капли воды, ты, взвизгивая, отскакивала. Потом, прижавшись друг к другу, мы сидели под одной фуфайкой и слушали рокот потока. Ты грела мои пальцы в своих ладонях и вполголоса напевала студенческую песню: «Все перебаты, да перебаты...» После купания таким влекущим ощущалось твое молодое тело, дарившее мне, счастливчику, в тот звездный час свое тепло и негу... Где ты теперь, моя зацелованная русалочка? Не забыла ли августовский вечер, увенчавший наше прощание с речкой Проней?

Грядет час, отомкнутся запоры, и я шагну в огромный, пресветлый мир. Первым делом поставлю Господу свечечку за годы сердечного надрыва. Где бы, помимо зоны, я проникся слезным бережением к невозвратным сиюминутным радостям?..

Ты спрашиваешь, помню ли я, как в конце мая ты поджидала меня в вестибюле прокуратуры, чтобы вместе отправиться гулять. Ничего-то я не забыл. Как в шкапулке из детства, собраны и хранимы твои жесты, наряды... Я помню даже цвет пуговиц на твоём новом осеннем пальто. Воистину, «на тебе сошелся клином белый свет!» Знакомые слова из песенки, что я напевал вечерами наедине за вином: «Сто дождей пройдет над миром, сто порош, ты услышишь и когда-нибудь придешь».

Под занавес попотчую занимательными эпизодами из русской литературы.

Недавно прочел отрывки из книги Александра Константиновича Воронского «Гоголь». Его исследовательская манера удачно сочетает в себе умение проникнуться лексической и смысловой стихией гоголевской прозы. Судьба автора и книги трагична: до 1927 г.

Воронский редактировал журнал «Красная новь». В нем печатались так называемые «попутчики» – писательская «фронда» (оппозиция) тех времен. Их без устали секли и освистывали такие идеологически бдящие журналы, как «Кузница», «На посту» и «Октябрь». Дело кончилось тем, что старого редактора заменили и основательно перетрясли редколлегия. В середине 30-х годов Воронского арестовали, а тираж отпечатанной к тому моменту книги пошел под нож. Впервые в 1964 г. был опубликован отрывок из этой литературоведчески значимой работы. Вот небольшой кусочек из нее: «Всё это причудливое сочетание необыкновенной гибкости, звучности, стихийности и умысла придавало языку Гоголя что-то магическое и колдовское. Язык Гоголя – язык заклятий».

Михаил Афанасьевич Булгаков умер в марте 1940 г. После его смерти А. Фадеев в письме к жене Булгакова извиняется за свое отсутствие на похоронах и просит не расценить это как знак политического недоверия к писателю. В письме есть фраза, содержащая нравственную оценку личности покойного: «И люди политики и люди литературы знают, что он человек, не запятнавший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью».

Как известно, роман «Мастер и Маргарита» дошел к нам с того света, т.е. был опубликован 25 лет спустя после смерти автора и явил тем самым образец неподкупного, рыцарского служения слову, подлинной писательской честности.

В 20-е гг. официальная критика отнесла роман М. Шолохова «Тихий Дон» к этнокультурному жанру. Главная заслуга произведения виделась в том, что оно давало читателям сведения о жизни «Войска Донского».

«Тихий Дон» имелся в нашей домашней библиотеке. Взрослея, едва ли не каждый год я с увлечением перечитывал его. Последний раз – в саратовской тюрьме. Сильная, талантливая вещь, полная жгучей исторической правды, открывающая языковое богатство донского казачества.

В 1965 г. в серии «Библиотека поэта» вышел томик стихов Марины Ивановны Цветаевой. Он сразу стал библиографической редкостью. Советую тебе прочесть его, выписать побольше стихов и отправить своему нареченному, так как я, к досаде, располагаю лишь некоторыми. Ясно, что при таких крохах верного слова о ней не молвишь. В своей недолгой мятущейся жизни Марина была так же одержима и порывиста, как в стихах. В 1921 г. она живет в Москве с двумя дочерьми; младшенькая, неизлечимо больная, вскоре умрет; муж – Сергей Яковлевич Эфрон – красавец и белый офицер, в это время - где-то в Крыму в отступающей армии Врангеля. В ближайшем окружении прямодушная Марина не скрывает монархических симпатий. В итоге появился поэтический цикл, воспевающий обреченную героиню белой гвардии – «Лебединый стан». В поисках мужа она с семьей эмигрирует во Францию. Восемнадцать лет чужбины, неутихающей, саднящей тоски по России, более чем скромное существование и неослабное творческое напряжение... В 1939 г. семье Цветаевой разрешают вернуться на Родину. Марина с мужем, дочерью Ариадной и взрослым сыном, родившимся в эмиграции, сразу же выезжают. Неприветливо их встретила Россия... Рит, подробнее смотри статью в «Вопросах литературы» № 6 за 1971 г.

Из поэтов-современников открыл для себя Владимира Соколова. Закончил литературный институт, ему

за сорок. Первую книжку стихов издал в 1952 году. До последнего времени был известен в узком кругу любителей изящной поэзии. Евтушенко, с которым они дебютировали почти одновременно, признавал его своим учителем. Однако, Евгений Александрович, идя на поводу идейно-митинговой стихии, сохранил приверженность гражданской поэзии. Сам он признавался: «Проклятие мое, души моей растрата — эстрада!»

В это время малоизвестный подвижник пера Владимир Соколов служил единственному богу – трепетно-му русскому слову. Он не соблазнился публичной славой, оставаясь верным своему поэтическому избранничеству. В шестидесятых годах пришло признание. Имя поэта заняло прочное место в негласном списке подлинных мастеров слова.

«Нет сил никаких улыбаться,  
Как раньше, с тобой говорить,  
На доброе слово сдаваться,  
Недоброе слово хулить.

Я всё тебе отдал. И тело,  
И душу – до крайнего дня.  
Послушай, куда же ты дела,  
Куда же ты дела меня!..»

(1967 г.)

Маргарита Алигер в свое время приходилась невестой В. Маяковскому. В «Чилийском лете» есть её признания на этот счет: «Любовь моя к нему была так безгранична, что она не оборвалась с его трагической гибелью; я никого больше не полюбила, ни за кого не вышла замуж, и до сих пор сохраняю верность своему знамени-

тому жениху». Ну, достаточно, продолжу в другой раз.

Рит, пожалуйста, пришли мне побольше писчей бумаги, почтовых карточек, открыток с видами древнерусских городов. Очередное письмо адресую уже на Караганду. До сих пор ухо не может привыкнуть к грубовато-отчужденному названию твоего города. Как ласкающе, старинно звучит «Рязань»... Город нашего обручения...

Целую твое запястье под теплым свитером.

*Из письма от 27 сентября 1971 г.*

*Озерное*

**Здравствуй, Рит!**

Легче всего даются мне первые два слова... Продолжить мешает каторжанская рутина. Требуется усилие, чтобы настроиться на интимно-доверительный разговор. В воображении своем я представляю твой облик – земной и ангельский, с присутствием непреходящей грусти.

...Недавно читал отрывки из дневниковых записей Бунина. Как всегда он поражает меня сходством в видении мира и душевных пристрастиях. Бунин – самая близкая мне натура из тесненного золотом списка мастеров русского слова. В дневнике за 20-е августа всего одна строчка: «Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю...» Боже, так это же я сам! И вскрик, и радость от ободряющего сходства, высокой причастности. В пяти словах, многожды мною повторенных, заключена истина о болеутоляющей отраде пережитого. Кажется, строчка не написана, – она нанесена усталой рукой, ког-

да в саду, за окном кабинета, стекленели предосенние сумерки, сулящие ночные заморозки резкостью запахов и глубиной звездного неба. Последняя буква, и перо замерло над строкой. В ней запечатлен горестный осадок настроений тревожных месяцев перед эмиграцией. Подавленное ожидание грядущего... Оно было где-то рядом и пугало его в минуты одиночества шевелящейся великостью мерзкого хвостатого ископаемого. Но до полной гибели России оставалось малое в своей жалкости время. И его предстояло пережить. Он жил памятью – тем идиличным, обреченным на невысказанность миром, кладбищем которого было сердце, тяжело переживавшее повсеместно учиненный разор.

Можешь себе представить, что в те годы творилось в России... Бунин, один из пристрастных очевидцев трагического века, мучительно пытался осмыслить причины и исход «красной смуты». В «Московской весте» от 12 сентября 1911 года читаем: «Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина».

...Продолжаю 24 сентября. Пасмурное, явно на дождь утро. В холодной ветреной хмурости беспокойно раскачиваются верхушки сосен. Совсем рассвело, но удручающая серость неба, ветер и сплошной шум леса придают всему неприглядный вид глубокой осени. Стоишь, слушаешь, смотришь и вдруг испугаешься застигшей врасплох ознобной мысли: «Что если никогда уже не затихнут шумящие по всей земле леса, не сверкнет уставшим от серости глазам голубеющий кусок неба? Неужели рыхлые вислые тучи денно и ночью будут ползти по нему?» Разом прижмет она тебя к устрашающему пределу воображения. Становится не по себе, и начинаешь искать утешения в светлой очевидности

пережитого. Заступница-память воскрешает осеннюю, златолиственную, сверкающую куполами кремля Рязань недавних лет. Будто наведавшись на час, неотрывно любуюсь узорчатым орнаментом старых особняков, бреду по знакомым тротуарам, ощущая каблуком тонкость опавших листьев. Там я у себя, я дома. Всякая улица до мелочей изучена и душевно близка, как коврик в нашей полутемной от тополей за окном, уютно заставленной комнате. Бывает, проснусь в бараке среди ночи и, спасаясь от бессонницы, без усталости плутаю по исхоженным нами улочкам. В конце концов возвращаюсь в дом, где в полуосвещенной прихожей на вешалке приветствует меня твое светло-кофейное пальтишко. Раздеваясь, вместо зеркала смотрю на него. Мой ему привет – в ласковом касании пальцами пушистого воротника со слабым запахом духов. Готовясь войти в комнату, я вдруг обернусь и, дурачки улыбаясь, уткнувшись лицом в мех воротника, как во что-то приятное, многообещающее.

Невозможно изъяснить болезненную привязанность антиквара к сохранившимся раритетам времен нашей влюбленности: она рассыпана в памяти, как капельки ртути. В любое мгновение может вернуть в прошлое мелодия наших песен, знакомые запахи, отдаленное сходство увиденного с силуэтами минувшего. Так уж я устроен, и вряд ли что изменится со временем...

Каждый вечер часами просиживаю в маленьком, из трех столов, читальном зале при библиотеке. Пока стояло тепло – занимался на свежем воздухе, но та пора, к сожалению, отошла. В читалке, как у завсегдатая, у меня место, на которое никто не посягает, зная, что Сеннин, как часики, явится сюда сразу после ужина и уйдет в час закрытия.

С поздней осени и до начала весны в зоне тоскливо. Встаешь в темноте и возвращаешься с работы затемно. Не хочется выходить из барака. Народ по вечерам толкается в небольшом накуренном коридорчике.

Последние две недели зачитываюсь трилогией А.К. Толстого: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Борис Годунов». Поражаюсь, как автор мастерски использует золотоносные пласты русского языка. На этом фоне таким обедненным, худосочным видится современный лексикон. К другим достоинствам можно отнести напряженное сюжетное построение и филигранную лепку характеров. Просматриваю объемистый том фразеологического словаря, выписываю, а затем заучиваю колоритные речевые обороты. Делаю это с услаждением. Получаю газету «Московские новости» на французском языке. По выходным с одним из моих товарищей слушаем пластинки, чтобы усовершенствовать наш рязанско-тамбовский прононс. Хотя и с трудом, но дело подвигается. Надеюсь, к концу срока буду знать французский на «5».

А теперь потешу тебя историко-литературной «мешаниной». Слушай же...

Наш непревзойденный прозаик Лев Толстой свою раннюю вещь «Казаки» написал... в стихах. Гоголь обладал поразительной памятью. Юрий Тынянов также удивлял современников способностью запоминать.

Недавно сообщалось, что в публичную библиотеку в Ленинграде было передано более 2 тысяч документов из архива Анны Андреевны Ахматовой. О лице, сделавшем этот богатый дар, там не говорится. Вне всякого сомнения, то был сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев, которому она наследовала свой архив. Среди бумаг – рукописи исключительной историко-литературной

ценности и книга прозы, содержащая неоконченный мемуарный цикл. Она писалась после 10 лет молчания, начало которому положило печально-знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», где партийной критике было подвергнуто творчество Ахматовой и Зощенко. Общеизвестна реплика главного идеолога Жданова, назвавшего поэтессу «барынькой, мечущейся между будуаром и молельней». Только после 1956 г., с началом «оттепели», стали выходить ее книги стихов. В последующие десятилетия имя и творчество Ахматовой приобрели поистине всемирное признание. Ее стихи были переведены на многие языки. В Италии ей присуждают литературную премию «Этна-Таормина». В Англии Ахматовой была присвоена почетная степень доктора оксфордского университета. В начале весны 1966 г., когда поэтесса умирала в одной из питерских клиник, по стране стояли очереди за ее последней книгой «Бег времени».

Н.А. Некрасов, будучи редактором «Современника», а впоследствии «Отечественных записок», очень радел за свои журналы. При частых цензурных разносах, когда вставал вопрос об их закрытии, он вынужден был прибегать к весьма нечистоплотным мерам ради защиты своего детища. В публикациях ему приходилось быть весьма находчивым, предупредительным и дипломатичным, чтобы пустить пыль в глаза зоркой цензуре. В тоне его обращения к властям неизменно присутствовала ласкательность. К примеру, он посвящает стихи «реакционеру» Муравьеву, в другой раз умышленно проигрывает в карты одному из цензоров немалый денежный куш. Обычным делом для него было угощать непреклонных цензоров роскошными обедами у Дюссо, ездить с ними на охоту и делать много других

«непотребностей». Сам Николай Алексеевич это прекрасно понимал, возможно, стыдился своих поступков, но...делать нечего. Прощаясь в 1875г. с Салтыковым-Щедриным, уезжавшим лечиться за границу, Некрасов адресует своему другу стихи, где призывает его поскорее вернуться на поприще журналистики.

«На путь, где шагу мы не ступим  
Без сделок с совестью своей,  
Но где мы снисхожденье купим  
Трудом у мыслящих людей.  
Трудом и бескорыстной целью...»

Ну что ж, эрудитка моя, с тебя достаточно. Целую твой красивый лоб, который в первый день нашего знакомства я по достоинству назвал «сократовским».

*Из письма от 28 октября 1971 г.*  
*Озерное*

Скоро, Ритэт, нам грустно улыбнется дата, соединившая нас 4 года назад. В одиночестве переберем как бусинки на ладони те неправдоподобно прекрасные дни. Впереди у нас все зима, зима, метельная ночь, редкие вешки-хворостинки вдоль полузаметенной тропки. Ветер гонит поземку, сечет колкой снежной крупчаткой лицо. Недалеко, на той стороне поляны, у стены гудящего верхушками соснового бора желанное затишье. Там, под навесом из сосновых лап укрылась избушка. Порывы ветра то и дело сметают с крыши легкие осыпи снега. В замедленном кружении они пролетают вдоль

темных бревенчатых стен, искрясь перед засвеченным окошком. Внутри согретый уют человеческого жилья, располагающее потрескивание поленьев в печи. Что может быть лучше ночлега и неспешного ужина вдвоем... До ареста и теперь, при нашей жизни порознь, мне не раз виделось нечто похожее, романтически навеянное. Будем надеяться, Ритэт, что наша тропка рано или поздно приведет к теплу и покою родного крова.

Ты голубкой слетишь на ковчег,  
Обессилевшей в поисках тверди.  
Как прекрасен совместный ночлег  
Ты подобна Рахили, поверь мне.

Маяту семилетнего срока,  
Как кувшин, на плече ты несёшь,  
В упоительном рабстве зарока  
Неослабной надеждой живёшь.

Расплескав по плечам свои волосы,  
Просветлённым сияя лицом,  
Ты промолвишь чуть дрогнувшим голосом:  
«Я живу, лишь пока мы вдвоём».

А до того часа ни за что не превозмочь тоски по женщине, которая 4 года назад стала моей неотъемлемой половиной. Хочется невозможно малого и безнадежно недоступного: просыпаясь утром, бережно притягивать на плечо твою растрепанную со сна голову и будить касаниями и шепотом губ... Раньше, торопя дни разлуки, писали друг другу: «Хочу твоих губ, говорить с тобой, хочу вместе под дождь»? Вспомни наше нетерпение быть вместе, рядом... Просыпаться утром под дождь

за окном, и знать, что впереди огромный, ни на глоток не отпительный день непредсказуемых радостей. За считанные дни неопишимо счастливых встреч мы настолько привязывались друг к другу, что предстоящая разлука представлялась подлинным мучением. Стало несравнимо хуже: от встречи до встречи не недели, а долгие месяцы. Скажу по секрету, лада моя, чтобы как-то скрасить тяготы ожидания, каждый вечер я тайком зажигаю свечу воспоминаний.

...27 октября!.. День нашего бракосочетания в загсе на Комсомольской набережной. Я прилетел накануне. Ты, невеста моя, встречала меня в Быково. Припав ко мне, ты захлестнула на шее руки, не выпуская зажатой в пальцах кленовой ветки. Возвращаясь в университет, решили прогуляться и вышли на станции Ленгоры. Осень стояла теплая, листопадная и сухая. Незаметно для себя мы забрели в самую глубь парка. Приподнятое настроение и оживленность не покидали тебя всю дорогу. Признаться, я не узнавал своей тихони. На одной из полянок ты, как девчонка-озорница, вдруг улеглась на траву и стала набрасывать на себя кленовые листья. Приглашая поиграться, ты протянула ко мне руки. Через мгновение я нежил тебя в объятиях, с замиранием сердца ощущая в твоём теле таинственное присутствие жизни нашего будущего ребенка.

Как сластят горький свежесваренный чай кусочками рафинада, так и я в этом памятном дне, следуя неукоснительному обряду, растворяю в душе чувство нежности к моей девочке с кленовой веткой в руках. А ночью достану из-под подушки твой локон в конвертике, поднесу его к губам и беззвучно поплачу. Мне очень-очень захочется поцеловать тебя, сияющую, всю в белом, тем же затяжным стонущим поцелуем, как в тот

поздний вечер, когда разошлись гости, и мы остались вдвоем, теперь уже как муж и жена.

Спасибо тебе за Алену. Наша малышка своим рождением и очарованием красноречиво заявляет, что все случившееся было не напрасно.

На последней страничке только и осталось места, чтобы нам поцеловаться. Нет, прошу тебя, не вырывайся, хочу еще раз, честное слово, еще только раз...

Мне бы сцепить пальцы на твоей гибкой талии и ни за что не отпускать тебя. Ты меня слы-ши-шь?!..

P.S.: в следующий раз прошу тебя вложи в конверт 3 листочка с разных дерев, что растут под твоим окном.

*Из письма от 10 ноября 1971 г.*  
*Озерное*

Рит, ты спрашиваешь, что осталось у меня от нашей поездки в Маклаково в 66 году на ноябрьские праздники. Ну что ты, такого мне никогда не забыть...

В ту осень мы не виделись с конца августа до начала ноября. Ты – в Москве, в университете, я в Саратове – на юрфаке. В те дни мне казалось, что в голову ничего не идет, помимо мыслей о тебе. Между тем на курсе я слышу за вундеркинда, озадачиваю вопросами преподавателей, и получаю предложения заниматься научной работой. Ты завалена курсовыми и досдачами по причине перевода из рязанского педа в МГУ. Пытаясь помочь, берусь за написание доклада и курсовой. Скучаю, нет дня, чтобы не отправил тебе письма. По вечерам просиживаю на переговорочном пункте, в надежде услышать твой голос. В трубке он часто на слезах, об одном мо-

лящий: «Алька, мой Алька, ведь так же не может быть, что тебя нет рядом...»

Наконец-то ноябрьские праздники и целых 5 дней каникул. Но выясняется, что могут и не отпустить, так как деканат обязал всех студентов топать на демонстрацию. Меня трясет: неужели оставят? Придумываю нечто авантюрное: на имя декана приходит форс-мажорная телеграмма от родителей. Затея удалась, и оттого в душе у меня свой праздник. За два часа до отъезда отмечаем его в буфете университетской библиотеки вместе с моими «подпольщиками» Алешкой Рудченко и лобастым очкариком Юрочкой Ильиным. Помещение чем-то походило на средневековую корчму: цокольный этаж, небольшие овалы окна, ниши между ними, обрамленные полуколоннами. Компания была «теплой», потому как под столом мы тайком то и дело разливали по стаканам ароматный вермут. Опьяненные вином, дружеством, служением идее, мы пешкодралом отправились на вокзал. По дороге выяснилось, что за полчаса до отправления поезда Алешка назначил встречу своей Людмиле тут же, на привокзальной площади. В справочном бюро узнаем, что состав уже стоит, а Людмилы до сих пор нет. Все трое, веселенькие, вываливаем на площадь. Алешка отправляется на поиски своей пассии, а я, сложив ладони рупором, голосом диспетчера возглашаю: «Девушка по имени Людмила, студентка пединститута, вас ожидают у справочного бюро!» И правда, скоро к нашей компании прибавляется она, тонкая как веточка.

Ты встречала меня утром следующего дня на Павелецком вокзале. Сгорая от нетерпения, собрался и прошел в тамбур раньше всех. Хотелось выйти из вагона первым, чтобы сразу увидеть и обнять. Только поду-

мать, 5 дней кряду мы проведем неразлучно вместе!.. В детстве, заполучив шоколадную конфетку, желая растянуть удовольствие, я откусывал от нее по маленькому кусочку и откладывал «на потом». И в те минуты меня не оставляло предвкушение предстоящих радостей.

В тот же день, не дожидаясь вечерней электрички, решаем ехать до Рязани на «перекладных»... Вначале до Коломны, а затем с пересадкой дальше. Казалось, мы и не расставались. Как всегда со сдержанной улыбкой ты выслушивала мои нескончаемые признания и отмахивалась: «Алька, врунишка, да перестань же наконец...» На Казанском вокзале покупаем в дорогу 2 пакета, в каждом по бутылке холодного жигулевского пива с куском отваренной, еще теплой колбасы и свежей булкой. Пиво само собой для меня, остальное – пополам. В вагоне тепло и уютно. Располагаемся на гладких деревянных сидениях, ты по обыкновению у окна. Не убирая руки с твоего плеча, переводя взгляд с милого профиля на виды за окном, развлекаю тебя рассказами.

Рязань представилась нам милой и близкой, музеем нашей любви. Не хотелось оставлять ее улочек, но нас ждали Маклаково, родительский дом, возможность уединения. Чего-чего, а последнего мы желали больше всего. Едем до Пронска на автобусе, знакомой всхолмленной равниной, с подступающими к дороге по-осеннему темнеющими перелесками. Пронск – совсем крошечный городок, но согласно летописи он на 16 лет старше Москвы. Место, где в древности располагался кремль, с трех сторон защищено крутыми откосами, при набегах мало кому удавалось взять его приступом. В дорогу ты повязала голубоватый платок и имела вид «а-ля Рюсс». Когда я украдкой подносил твои

пальцы к губам, ты вырывала руку и шептала: «Сумасшедший... Все же видят...» На заснеженной автостанции нас ждал директорский газик отца с водителем Гришкой-мордвином. Говорил он с акцентом и очень забавно строил предложения. Промчавшись по укатанной знакомой дороге, мы уже через полчаса остановились перед светящимися окнами нашего дома с тремя раскидистыми, по-зимнему красивыми ивами. Восклицания мамы, сдержанная приветливость отца. Наконец-то мы дома... Родители в этот раз были особенно рады тебе: они принимали нас, как дорогую для них пару. Наутро, после завтрака, вполголоса поведал тебе о задумке, что позволила бы нам побыть наедине. Мама в то время работала в библиотеке, размещавшейся в небольшом каменном доме в центре села. Сославшись на то, что мне нужно выбрать кое-какие книги, попросил у нее ключи. Уже смеркалось, когда мы отправились туда по дороге вдоль кладбища. Мама, правда, предупредила нас, что в библиотеке два дня не топлено и объяснила на случай, где сложены дрова и лучины для растопки. Едва переступив порог, мы без единого слова принялись целоваться. По дороге я увлеченно живописал тебе, что проведем этот вечер перед пылающей печкой, сидя в обнимку. Отбиваясь, ты взмолилась: «Сенин, а как же печка? Ты опять все испортишь своим нетерпением». Усадив тебя в шубке и валенках за мамин стол, я, не включая свет, принялся за дело. Скоро пахнуло дымком от вспыхнувшей бересты. Набиравший силу огонь приветно озарил угол возле печки. А через полчаса все совершилось, как было обещано: с наброшенной на плечи шубкой, неотрывно глядя на пламя, ты слушала, как я читал Евтушенко:

«Идут белые снега,  
Как по нитке скользя  
Жить и жить бы на свете,  
Да наверно нельзя

Я не верую в чудо,  
Я не снег, не звезда.  
И я больше не буду  
Никогда-никогда...»

Лицо твое разрумянилось, и в отсветах пламени смотрелось прелестно-детским, слегка взволнованным. Все походило на дворянскую усадебную идиллию с камином, вином, стихами и романсами. Осмелев, я напомнил тебе, с чего мы начали, переступив порог библиотеки, и тут же жадно потянулся к твоим губам. На этот раз они показались мне податливо-отзывчивыми... Обрато мы возвращались под тем же звездным небом, утомленные и счастливые.

Как видишь, Ритэт, приходит на сердце самое-самое из маклаковского цикла «Темных аллей». У Бунина, по некой творческой причуде ни одна из героинь не рожаёт. А ты, моя ясноликая, в итоге уединенных лирических времяпровождений подарила мне дочь Алену...

Из дома пришло письмо: старики едва не со слезами отправляют внучку в Рязань. За четыре месяца она прижилась и полюбилась. Уедет и некому будет скрасить скуку зимних вечеров. Впрочем, воспоминаний она им оставила с короб, до следующего приезда хватит. В каждом письме все об одном: Лёнушка, внучка, болтуша и сочинительница... Записывали для меня слово-слово ее цветистые изречения. Рязанское «попечение» мне особого доверия не внушает. Но что делать...

Примите, матреша мои, родственное целование!

*Из письма от 12 декабря 1971 г.*  
*Озерное*

**Милая Рит!**

Прости за признание идиота: «Не знаю с чего начать». Не удастся мне, не запинаясь, не сходя с места, писать тебе, как рисует мороз на стекле, – узорно, с отсветом луны в словах и чувствах. Ты видишься мне молодой и стройной елочкой. Хочется наугад изъять и любовно вставить в рамочку самую обыденную картинку зимнего утра выходного дня в Рязани. Ты в дверях, с чашкой чая в длинной ночной рубашке, шлепках, простоволосая и пухлогубая Марья-Маревна. В то золотое время мои желания, страстные, сумасбродные, рассыпались, как бисер по бархату. Всего-то и надо было для счастья: спустить ноги с тахты, усадить тебя с чашкой на колени и подносить к твоему ротуку засахаренные лимонные дольки...

Как видишь, твой Сенин был и остался романтиком. Сидя у тумбочки, вкушаю чай и дышу на морозное стекло барака, пока не появится оттаявший глазок, через который видится оно, мое непридуманное прошлое.

Рит, три дня назад минула дата иконостасного снегопада в Быково. Ты, ледышка, хотя бы вспомнила о нем? Вот вернусь, а я все-таки вернусь, и приведу тебе на ум все наши достославные даты. Но произойдет то отнюдь не в комнатке с настольной лампой, черным шоколадом и фужерами вина... В ноябрьский вечер, в предчувствии снегопада, я умчу тебя в такси, сквозь темень

с робкими снежинками, в загородный лесок, что по дороге на Пронск. Первые немые слова обещанного рассказа ты услышишь, как только мы сойдем на обочину пустынного шоссе. Глядя на тающие рубинчики уходящей машины, мы почувствуем себя участниками затеи, сулящей щемление чего-то необычного, загадочного. Лес, уставший от бесснежья, будто ожидающий чего-то при свете луны, расстелет перед нами неслежавшуюся листву подножий. Но мы не пойдем вглубь, чтобы тебе не было страшно. Загребая ногами заиндевевшие листья, я выведу тебя за руку на полянку с неосыпавшимся «зимним дубом». Обнявшись, просунув руки под полы распахнутых пальто, мы станем слушать, как шуршит снежная крупа по жесткой глади листьев. И ничего не нужно будет говорить. Лишь изредка отрываясь от твоего разгоряченного, матово-светлеющего лица, в который раз удостовериться, что этот милый облик своей светлостью привнес тихое свечение надежды в мои скитания...

*Из письма от 23 декабря 1971 г.  
Озерное*

Рита, половинка моя неутешная, до нового года осталось совсем ничего. Нет человечка, который не ждет от праздника хоть маленького, но подарочка. Чтобы скрасить твой неизменный минор, отправляю тебе, Несмеяне, подобие елочной игрушки.

В конце декабря шестьдесят седьмого я прилетел к тебе, - не мог не прилететь! Два месяца как мы поженились. В письмах я ласково звал тебя «женушкой», «ко-

лобком», хотя животика почти не было заметно. Любви моей поприбавилось вдвое. Предновогодняя Москва сияла елками, увлекала праздничным оживлением, мы много где с тобой успели побывать, даже в Малом Театре. Но больше всего нам нравилось, возвратившись, ужинать вдвоем под настолкой... Тебе всегда удавалось прикупить чего-нибудь изысканного, и, как ты говорила, «вкусненького».

В один из вечеров мы отправились в ГУМ, чтобы подыскать мне пиджак. Я мнил себя юристом, а этот образ немислим был без серого, плотной ткани, элегантного пиджака. К Красной площади подошли с Манежа. Она поразила нас разноцветием огней!.. Люди вокруг - радостно возбужденные, будто их кто-то разом осчастливил. Хорошо было затеряться в этом многолюдстве с юной женошкой, похожей на белолицую большеглазую куколку. Непрестанно веселя и забавляя тебя, я видел, как вся ты таешь от возможности быть вместе. Мне нравилось поддразнивать тебя наигранным интересом к какой-нибудь милашке в толпе. Ты смешно дулась и обиженно пеняла, что я горазд волочиться за каждой третьей девушкой столицы.

На радость мне, пиджак мы приобрели именно такой, как я задумал. В примерочной, придиричиво оглядывая меня, просила повернуться, и строгим шепотом урезонивала, когда я, пользуясь моментом, пытался поцеловать тебя. Довольные покупкой, мы собирались уходить, но ты вспомнила, что тебе нужно в отдел тканей. Про себя я недоумевал: что тебе там понадобилось? Ты долго рассматривала куски тонкого материала разных цветов и рисунков. Наконец попросила продавца, чтобы тот отрезал полоску с симпатичной, светлоричневой клеткой. «Зачем это тебе, Ритэт?», – вопро-

шал я. Ты шутливо отмахнулась: «Не можешь догадаться сейчас – увидишь потом...»

На другой день на твоём новом коричневом платьишке, пошитом распашонкой, как у беременных, светлел овальный клетчатый воротничок, делавший тебя похожей на милovidную старшекласницу.

Давно ли это было, Рит? Кажется, совсем недавно, четыре года назад, я любовался выражением глаз, в которых светились искорки материнства. Тот вечер оставил привкус самого тонкого из вин – вина воспоминаний. Вовек не испить мне его и не увидеть доньшка.

Про теперешний год даже не скажешь, что он прошёл: сгинул, а не прошёл, свалился как камень в колодец.

*Из письма от 27 января 1972 года*  
*Озерное*

**Рита моя!**

Ещё не сгладилось мучительно-светлое впечатление от нашего недавнего свидания. Вы с мамой сидели напротив, а я про себя радовался, что вижу ваши лица. Мама с виду заметно постарела. Я смотрел на её натруженные, далеко не женственные, руки и устыжено подумал: ведь я никогда в жизни их не целовал. При встречах и прощаниях обычно обнимал её за плечи, прикладывался к щеке. У нас в семье как-то не приняты были излишние нежности, хотя родственная сердечность никогда не оскудевала.

Рит, а какой красивый свитер был на тебе: насыщенно-желтый, элегантный. Я протягивал руку и гладил твои

ниспадающие на плечи волосы, видел непреходящие грустинки в глазах. Втайне тешил себя мыслью, что ты вполне могла бы украсить обложку журнала... При прощании, от одного вида твоего заплаканного лица всё внутри рвалось от боли. Что ж нам с тобой не привыкать...

Дней пять после свидания болело сердце, не отпусало. Нервы так разгулялись, что не мог сладить с собою – развезло от тоски и жалости к вам. Сколько нам еще придется так вот мучиться?..

Заметил, что в этот раз моя окладистая пшеничная борода явно понравилась тебе. Один из моих друзей-русофилов на серьезе высказался, что у твоего Сенина на лицо характерные черты этно-славянской типики. Не задумываясь, адресую этот комплиментарный отзыв моей прехорошенькой рязаночке. В этом смысле мы с тобой пара, и уже очевидно, что пригожая труляляшка Алена породы не испортит.

Рит, о своем обещании заработать к июлю денежку на твой перелет Караганда-Москва-Мордовия, я не забыл. Но досада: вместо пошива обычных рукавиц с наладонниками, пришел заказ на женские перчатки для работниц электро-лампового производства. Будем стараться, чтобы они, не дай Бог, пальчики стеклом не укололи. Известно, что вторая половина человечества более прихотлива, поэтому нам приходится выстрачивать в три раза больше швов. В итоге норму выработки мало кто выполняет. Утешает одно: через три недели мы вернемся к пошиву привычной продукции. Как стахановец, стану за смену выдавать по две нормы – 130 пар. Для твоего Сенина это дело привычное.

К Рождеству один из друзей порадовал меня подарком – самодельным, но мастерски сработанным фото-

альбомом. Зовут его Гриц, он с Западной Украины, «западэнец», как мы зовем их здесь. Если я оказался за решеткой в 22 года, то он – в 18, а вклеили ему ни много ни мало – четвертак. Светлый человек: молчаливый, застенчивый, улыбочивый. Играет на всех доступных музыкальных инструментах. Заслушаешься его пением под гитару. А как рисует!.. Особенно удаются ему акварели. Раза два показывал ему ваши фотографии. Они в то время хранились у меня в старых конвертах. И видишь, каким он оказался внимательным? Сегодня, после ужина, часа два с увлечением компоновал и вставлял уголками в прорези ваши фотомордашки, сто раз зацелованные. На первом листе поместил, как ты догадываешься, любимую и значимую... На ней – ты, вся целиком, сидя на стуле, в профиль, с плетением кос и восхитительными овалами лироподобной фигуры. На обратной стороне начертанная твоей рукой строчка: «Все остается по-прежнему»... Одни мы знаем, по какому поводу в наших пылких и нервных отношениях были написаны эти слова.

На нескольких листах альбома наша дочура позирует, воображает, корчит рожицы. Уже сейчас невозможно как хороша, а подрастет – станет краше мамочки.

Сестра Галя на фотографиях необыкновенно как выходит. Она и в жизни отменная симпатяжка, а через объектив - ну просто тургеневская девушка!.. Замечательные мои старики везде засняты на фоне деревенского быта, либо в саду. В зоне, стал по-настоящему дожить ими.

Конец месяца, пришли журналы по подписке. Представь, девять наименований. После развода заходишь в барак с волнительным ожиданием письма, газеты или журнала. Просматривая содержание, отмечаю самое

интересное, что в первую очередь следует прочесть. Помимо периодики у меня в повседневной проработке по 2-3 книги. Подбираю так, чтобы тематически они не забивали друг друга.

Хранить такое обилие изданий нет ни возможности, ни нужды. Как и вся читающая братия, я вырываю нужные мне статьи, и переплетаю их в сборники. Поскольку лагерные книгочеи знают предпочтения друг друга, то стало обычным делом переадресовывать статьи, как говорится, по интересам. Да, кстати, рад был услышать, что мои обзоры облегчают тебе возможность ориентироваться в разлитом море публикаций. Предлагаю, сударыня, очередной экспромт:

Арсений Тарковский приобрел известность как переводчик восточной классики. В начале 60-х годов вышла книга собственных стихов «Перед снегом». В признании ее безусловных достоинств сошлись мнения многих рецензентов. В 1966 году выходит сборник «Земле – земное». А в шестьдесят девятом году – «Вестник». Тарковский – тончайший лирик, его поэзии присущи философичность, изысканность слога, самобытно осмысленный историзм. Он часто использует библейские мотивы и сюжеты, современность у него не в почете.

Из стихотворения «Земля»:

«За то, что на свете я жил неумело,  
За то, что не кривдой служил я тебе,  
За то, что имел небессмертное тело,  
Я дивной твоей сопричастен судьбе...»

Борис Примеров – молодой поэт, обративший на себя внимание своим первым сборником «Синевой раз-

буженное слово». Дарование многообещающее, видит и слышит мир в изумительной яркости. Едва не каждая строка украшена образом. Много от Есенина, с которым его роднит не только манера письма и тема, но и пылкий поэтический темперамент:

«Голубые занавески  
Поразвешанных лучей  
Над узором перелесков,  
Над снегами снегирей»

Заканчиваю утром за полчаса до развода на работу. На дворе темень и холод. На душе - пустопорожня, не дает покоя горькая думка: минуло две недели, а от тебя ничего нет. Неужели ты не ведаешь, бякая девчонка, как болезненно воспринимаются мною задержки в письмах? Окажись ты рядом, я бы сделал «ата-та» по твоим рельефным половинкам, но, как видишь, руки у меня коротки. Ставлю тебя за провинность в угол, на колени на горох!.. На этот раз, Дуся моя, обойдешься без поцелуев.

*Из письма от 10 февраля 1972 года*  
*Озерное*

**Мой тебе привет из Мордовии, донна!**

Два дня принимался за письмо, но все напрасно — душа молчит. Как старик на берегу моря призывал золотую рыбку, так и я в опустошенном оцепенении жду, когда же, после душевной тусклости, придет она, лирическая полоса. По утрам, особенно после розовых снов,

где я бываю наедине с тобой, чувствую, что еще теплится во мне уголек нежности. К вечеру приустанешь, недавняя просветленность отступится, и снова рука не поднимается огорчать тебя скукотенью.

Завтра 8 февраля – ровно два с половиной года, как я за решеткой. Если сопоставить их с семью годами, да плюс два ссылки – отбытый срок, конечно, не окрыляет. Настроение, как видишь, тягостное, одному с ним не справиться. Усадить тебя, легонькую, на колени, уткнуться лицом в пахучую мягкость свитера и слушать твои тихие, нехитрые разговоры. Ты бы поведала мне о маклаковском лете с его бессонными яблочными ночами в шалашике, о нашей доченьке-синичке, ее восхитительном лепете... Сидя с ногами на койке, с подушкой под спиной, смурной от тоски, молю тебя, прошепчи мне спелыми, едва разомкнутыми губами: «Совсем ты расклеился, Сенин мой... Я никуда не ухожу, успокойся же наконец».

Ты как-то писала в Саратов: «Алька, я заметила, что некоторые молодожены, хотя и любят друг друга, редко бывают вместе. А иные готовы ни на минуту не расставаться. Мы с тобой, Сенин мой, встретившись, на день, два и больше, - днями не отходили один от другого» Да, Ритэт, хорошо мне жилось с тобой... И ты, принцесса, чувствовала, что я готов был возносить тебя до небес...

Назавтра отоварюсь в ларьке свежими мятными пряниками. За чаем, держа на коленях альбом с фотографиями, в одиночку отмечу скромную годовщину беспросветно долгой отсидки. С согретым нутром выйду на мороз и, глядя на звезды, передам на другой конец Земли нежный привет моей дыхательнице...

*Из письма от 23 февраля 1972 года*  
*Озерное*

**Ритуля, привет тебе, привет!**

А я, представь, расхворался... И надо же было такому случиться!.. С вечера ложился здоровехоньким, а поутру встал совершенно расквашенным: температура, ломота, першение в горле. Досадно, что дней пять, а то и неделю проваляюсь. Замышлял деньжонок зашибить, чтобы тебе переслать, – да вряд ли. Болеть – дело само по себе невеселое, а в зоне – тем паче. Таблеток в медпункте не пожалели, насыпали чуть не пригоршню, но я предпочел дедовские средства. Осенью мама прислала в килограммовой бандероли меда, смешанного с топленным маслом. Снадобье ее у меня до поры в каптерке хранилось. Эдик, он у меня за лекаря, каждый вечер заваривает литр-полтора слабенького чая. Когда малость поостынет – размешивает в нем две ложки меда и пару таблеток аспирина. Испив, укрываюсь чем можно и притом с головой. При таком врачевании важно хорошенько пропотеть. через час мокрый как мышонок, стягиваю сплошь влажное нательное белье, передеваюсь в сухое и... спать. Нынче третий день как занедужил, но чувствую – сделалось полегче.

В марте 68 года также валялся с температурой в нашей комнатке в МГУ. Ты чуть свет убежала на лекции, оставляя на столике завтрак. Одному было тоскливо, чувствовал себя маленьким мальчиком, всеми оставленным. В то время я шуточно называл тебя «колобком» за круглый животик. Необычно было видеть тебя, форсиху, в мамином пальто, побледневшую, большеглазую, с непередаваемым свечением лица, какое бывает у беременных женщин. Наконец-то, уже к вечеру,

стук твоих каблучков... Не раздеваясь, ты садилась рядом на краешек тахты, гладила меня по лицу, а я полушутливо плакался, как мне было грустно все это время без моей милюси.

Мама написала о приятной для них с отцом новости: рязанская родня, правда не без сожаления, готова отдать внучку на время весны и лета в деревню. Они и допреждь готовы были забрать ее к себе, да морозы не давали. Ближе к марту потеплело, и скоро к ним, как красное солнышко, зайвится ненаглядная Алена свет Олеговна. Пишут, что очень по ней соскучились. Когда она с ними, их маленькая домашняя вселенная вращается вокруг обожаемой внучки. По мне, ее место с тобой, родной мамочкой. Вредина моя, сколько не прошу, не настаиваю – ты уходишь от ответа. Понятно, что в твоей комнатухе вам будет тесновато. С другой стороны, живи она с тобой, ты быстрее получила бы приличное жилье.

Как все-таки болезнь меняет человека. Ты-то знаешь, какой фонтан энергии я собой являю. А тут, предствать, возлежу с подушкой под спиной, фуфайкой поверх одеяла, ослабевший, смиренный и неразговорчивый. Рядом на тумбочке стопка свежих журналов. Будь я в добром здравии, набросился бы на них с живейшим интересом. Прогоняя простудную мерехлюндию, ободряюще смотрят на меня из альбома ваши льноволосяе головки. Не горюй, Рит, сколько бы лет не громоздилось впереди, придет время, и мы соберемся вместе, маленькой любящей семьей.

22 число... На душе малость прояснилось. За день, валяясь в постели, хорошенько выдыхнусь, а после отбоя часа по два-три лежу с открытыми глазами весь во власти грез... В светлой меланхолии рисуются карти-

ны прошлого, без которых мне здесь жизнь была бы не в жизнь. Пытаюсь вообразить твоё житьё в Караганде: оно почему-то всегда видится мне в окрасе жалости и тревоги. Но больше тянет мир иной, когда я имел над тобой нераздельную власть обладания и превознесения моей любимой в словах и ласках. Утешься, диво мое не обласканное, пройдут две-три недели, и снова грядет царица-весна, хмельная, будоражливая. Помнишь, как она зажигала меня в прежние годы? Тебе не было покоя от неуголимой безудержи моих писем, звонков, неожиданных прилетов. Предчувствую, она снова полыхнет в груди под арестантской робой. Готовься, сосулька, получать в конвертах подснежники моих неудобосказуемых признаний.

Журнал «Наш современник» за 71 год присудил литературную премию Анатолию Жигулину. Заслуженно. Послушай, стих как раз на тему весны:

«Согрело мартовское солнце  
Еще заснеженную степь.  
Позолотило у колодца  
Бадью обмерзшую и цепь...

И после долгого ненастья  
Опять простор широк и свеж.  
Опять рукой подать до счастья,  
До всех несбывшихся надежд.

И ждет душа отрады вешней,  
Благословенного тепла,  
Как почерневшая скворешня,  
Как обнаженная ветла»

Поэт родился в 1930 году в Воронеже. В десятом классе входил в антисоветскую организацию, именуемую «Коммунистической партией молодежи». В 1949 году был осужден на 10 лет. Через пять лет вышел по амнистии, впоследствии был реабилитирован. Его стихи пришлись по сердцу Твардовскому; в них неизменно присутствуют две темы: красота природы средней полосы и лагерные переживания.

Попрошу тебя, при возможности прикупи в книжных магазинах сборнички поэтов, имена которых я упоминал тебе. Дело это не разорительное, стоят они не больше полтинника, а мне ты тем весьма угодишь. И еще: перепиши мне с десятков русских песен, общеизвестных, застольных. «Ямщика», «Лучинушку», «Когда я на почте служил ямщиком», «По Муромской дорожке», «Плещут холодные волны», «Про Стеньку», «Живет моя отрада». Бывает мы с друзьями, разогревшись чайком, чувствуем потребность порадовать душу песней, но, к досаде и стыду, слов до конца мало кто знает.

Рит, деликатная к тебе просьба: по весне жду писем, где ты говоришь со мной не вслух, а шепотом, не абы о чем, но чтобы слышен был перестук наших сердец. Жду и надеюсь! Иначе каково будет при траве-мураве и цветочках-лютиках твои февральские сосульки сосать.

Не поверишь, но больше всего на свете хочу в Рязань, в городскую ростепель, чтобы прижать к груди Аленку, заспанную в пижамке. Гуляя по улицам, мерить лужи, кружить ее, озорницу, и баловать сладостями. Люблю ее как никого, за надежду, что мой малый росточек, чем дальше, тем больше будет радовать чертами и достоинствами сенинской породы. И, конечно же, твоей, мамочка, велелепной красотой!..

На этом обрываю. Жду твоих писем, ныне они един-

ственное, что я могу от тебя ждать. Всякий раз, разгребая пепел, пытаюсь отыскать в них угольки прежних костров наших. Надеюсь на тебя и с трудом проговариваю: «Люблю». Заковыка в том, душа моя, что давным-давно не слышал от тебя этого, сладчайшего из всех человеческих слов. Ну а чтоб ты не скуксилась, ледышка моя, я заискивающе поцелую тебя в носик.

*Из письма от 9 марта 1972 г.*

*Озерное*

**Рит, девочка моя ненаглядная!**

Кругом я виноват, отправил несколько плохих писем кряду, с несуразными капризами и домыслами. Кому бы почитать – скажет, что у Сенина на сердце нет ничего, кроме самокопания и мнительности. Но блажь проходит и совестно делается... За твои беды и малые бедки мне на тебя молиться надо. Если ты хоть сколько-то понимаешь причину моих неумных корчей, – прости, Христа ради...

У нас, в стране эрзи и мокши, стоит левитановский март, март-ворожей!.. Выйдешь на перерыве из полутемного, пропахшего текстином швейного цеха, и вот оно – весеннее благовестие! Бьющая в ноздри свежесть и блистающая на солнце хрупкая ледяная корка на просевшем снегу. Десятый час, а уже капель осмеливается, стекая по хрусталу нависающих сосулек. Денек по всему обещает быть ясным.

В такие оттепельные дни я возвращался из школы и, наскоро пообедав, раздетым выходил на заднее крыльцо избы. Теплынь, грачиный грай, запах навозца – сло-

вом, деревенская благодать! Достав из кармана припрятанный от бабушки коробок спичек, делал из него нечто похожее на многоствольную орудийную башню. Поочередно поджигая каждую, устраивал подобие корабельной пальбы. Казалось бы, нехитрая мальчишеская забава, но как запала она мне вместе с ласковостью припекающего солнца и волнующим ощущением новой весны. До сих пор в памяти хранимы похожие, школярски выполненные зарисовки детства.

Знала бы, как влечет меня туда, но куда сильнее – к твоим утренним припухшим губешкам. Тянет заново пережить умиротворяющие минуты каждодневных возвращений в нашу хрущевскую квартиру; запросто так слышать струение твоих разговоров, приходиться в волнение от случайного взгляда на красивые кисти рук; и чтобы непременно рядом слышались наивные «почемучки» Алены. А к полуночи, как бы на десерт, – чаепитие вдвоем на тесной кухоньке, колени к коленям.

8-е марта... Не знал, куда себя девать от приступов неизлечимой ностальгии. Битый час вышагивал туда-сюда по тропке с одной мыслью, вернее сказать, всенаполняющей думой о тебе. Не смог удержаться и снова сорвался до ревнивых терзаний и обиды. Пытался утешиться чаем, несколько раз принимался молиться. Возвратясь в барак, перечитывал письма, грустил, раскрывал дорогой мне альбомчик. Там, как греховное наваждение, ты: изваянная молодостью, с косами, в облегающем свитерочке, позируешь, будто на показ всем. Представляя тебя такой, я терял голову и чуть ли не каждый месяц с тридцаткой в кармане прилетал из Саратова в Москву, чтобы всласть упиться этой красотой. Помимо фотографий, в голове нескончаемая хроника наших незабвенных встреч...

... Март 1968 года. Ты на последнем месяце беременности, в неизменном платьице, пошитом распашонкой, с овальным воротничком в клеточку. Поджидаю тебя, сидя на кожаном диване в холле шестого этажа. Полчаса назад ты отправилась в буфет прикупить что-нибудь к ужину. Наконец-то вижу: хозяйшюшка моя возвращается от лифта по ковровой дорожке этажа, изящно держа в полусогнутой руке пакетик с едой. Ты идешь неспешно, слегка переваливаясь, чисто как уточка. Изредка мы «трясли кошельком», покупая что-то из сладенького. Забавно было кормить тебя с рук: я подносил к полураскрытым губешкам розовый кусочек пастилы, но тут же с шаловливой улыбкой отправлял себе в рот. Помню твои милые укоризны: «Нехороший Сенин...»

То были чудесные особенные дни. Наконец-то сбылась наша мечта – я перевелся из Саратовского юридического на юрфак МГУ, а это значило, что до конца учебы мы будем жить в Москве неразлучно вместе. Такое стало возможным благодаря академику Ивану Георгиевичу Петровскому, тогдашнему ректору МГУ. Ко всему он был и депутатом Верховного Совета. Записавшись к нему на прием, я объяснил наши обстоятельства: твоя беременность, жизнь порознь, необходимость быть рядом с женой ради будущего ребенка. Перевестись из периферийного вуза в МГУ было практически невозможно, но моя зачетка сияла пятерками, а срывающийся голос, видимо, возымел действие. У нас началась жизнь как в красивом кино... Утром мы ехали от университета на 111 автобусе до манежа. Наши учебные корпуса, исторического и юридического, находились на одной улице, бывшей Моховой. После лекций обычно встречались в «горьковке» – старом здании библиотеки рядом с памятником Ломоносову. Прямо напротив, даже

не верилось, – стены, зубцы, башни, купола кремля. Перекусывали в пельменной, тебе нравились с уксусом, а мне – с маслом. Возвратившись вечером в «колизей науки», мы выбирали что-нибудь на ужин из изобилия университетского гастронома. До сих пор не могу помыслить для себя ничего лучшего, как угощаться и чаевать вдвоем за столиком с настолкой. Перед сном, лежа в постели, часто читали вслух. Несколько раз случилось, что ты вдруг замолкала и с застывшим на лице изумлением осторожно прикладывала мою ладонь к круглому теплему животу под ночнушкой: «Алька, слышишь? Чувствуешь, как он там толкается?..»

Но, видно, такая у нас планида, что никогда не удавалось нам подолгу наслаждаться райской жизнью вдвоем. Послушай, что записал я о том злосчастном дне...

...7-го марта утром меня с лекции вызвали к декану факультета. За прошедший месяц я несколько раз обращался к нему по поводу приказа о моем зачислении. Из-за этого я не мог получить студенческий, зачетку и проживать в общежитии. Спускаясь на первый этаж, надеялся что мне наконец-то сообщат о моем переводе. Но в то же время не оставляла некая подспудная тревога. Декан отстраненным голосом пояснил: да, действительно, мое заявление было подписано ректором, но выяснилось, что юридический факультет за недостатком средств не может выплачивать мне стипендию и не располагает местом в общежитии. В конце разговора он предложил вернуться в Саратов, восстановиться и продолжать учебу там. Предвидя доводы с моей стороны, декан пояснил, что ему известны мои семейные обстоятельства, но в настоящий момент он не имеет возможности помочь мне. Я вышел от него в состоянии болезненной протрации и подавленности, с ощущением не-

престанного подташнивания. Не трудно было догадаться, чья «длинная рука» разом лишила нас выстраданной возможности быть вместе. Что я скажу ей, бедняжке моей?.. Утром мы договорились встретиться после лекций у памятника Ломоносову. День был пасмурный и не по-весеннему холодный. Дожидаясь, увидел ее еще издалека, в мамином пальто и коричневом платочке со светлым рисунком. Подходя, она, не переставая, улыбалась мне. Узнав о случившемся, сразу побледнела, глаза у нее невидяще остановились...

Рит, если кто спросил бы, чем дорога ты мне? За бутылкой, давясь слезами я, просто-напросто, рассказал бы о горьком предпраздничном дне 7 марта...

Душа молчит, ей нечего сказать  
Твоим глазам, взыскующим ответа;  
Я в их чертог вошел как тать,  
Минуя Ангела Великого Совета.

Вот отчего тоскуют небеса  
Над влажной охрою листвы опалой.  
Грехов тех лет на глупость не списать,  
И мысль гнетет, что дал тебе так мало.

Жить хочется, не зарекаясь впредь.  
Но совесть не молчит и не прощает.  
И больно знать, что вся земная твердь  
Твоей тоски сиротской не вмещает...

Но полно, печальница моя, горе горевать. Намерен развлечь тебя литературными рассказами. Прочел книжку о русских пейзажистах, возымел представление об их родословной и чудачествах. Иван Иванович

Шишкин, оказывается, выглядел настоящим «медведем» – рослым и могучим. Писал он одни лесные пейзажи; медвежат на известной картине «Утро в сосновом бору» изобразил кто-то из друзей-художников – сам он не способен был и все тут. Ходили слухи, что Шишкин и Айвазовский – большие скупердяи. Но мало верится, – где-то я читал, что Айвазовский пол-Феодосии облагодетельствовал. Но если и были прижимисты по мелочам, так то не великий грех.

С увлечением читаю Владимира Солоухина – «Письма из русского музея». В доску наш, «почвенный» человек!

Пытаюсь составить представление по истории русской церкви. Материала для этого – предостаточно. Кажется, сообщал тебе, что оказавшись в зоне, обнаружил среди книг старых эков редкие, даже дореволюционные издания по православию. Дело в том, что до 1968 года разрешалось пересылать книги из домашних библиотек. Но потом как отрезали – только «книга-почтой». Представь, Рит, у меня, книгочея, глаза разбежались при виде редкостных духовных изданий. Не теряя времени, спешу воспользоваться книжными закромами.

Читаю все о славянофилах. Симпатичнейшие люди, витязи русского дела. Такое богатство ума, чувства и на тебе – ни одной крупной монографии о них, одни лишь статейки!

*Из письма от 28 марта 1972 г.*

*Барашево*

**Риточка моя!**

Пишу тебе с «больнички». Зэки так называют зону,

куда со всех лагпунктов недужных направляют на лечение. Здесь и кормят гораздо лучше и на работу не гоняют. «Больничка» для заключенных что-то вроде отпуска, проведенного в санатории. Палата попалась небольшая, на 4 койки, и, благо, окнами на солнечную сторону. Одноэтажные корпуса больницы располагаются на пологом угоре. С возвышенной стороны открываются, как на загляденье, красивейшие виды, похожие на пейзажные полотна из Третьяковки.

Свои 26 лет отметил кисло, что называется «сам на сам», к тому же и погода не благоволила. Весь день лепил мокрый снег, а к вечеру и того хуже – задождило. Именины провалялся в палате за чтением, посасывая ириски. Такая вот клюква, Ритэт... Надо же, за все годы мы единственный раз были вместе в этот мой день. Вспомни март 69-го, когда втроем вместе с нашей лопотушкой отправились в Желудево. То была первая для нее дальняя дороженька. На другой день дедушка, выполняя обещание прокатить ее на лошадке, отправился со всеми нами в ближайший, еще по-зимнему заснеженный лесок. Как нравилось ей восседать в санях на овчинном тулупчике!

Не поверишь, Рит, не успел дописать этой строчки, как в палату приносят от нее красивую открытку и телеграмму от родителей. А твои, сударыня, поздравительные поцелуи что-то припозднились. Пока дойдут – совсем остынут...

28 марта, полдень. Видела бы ты, как картинно я устроился на припеке, сидя на скамейке, под непривычно большим тополем. Перед глазами влекущие русские дали, из-под скамьи – хоть ноги поджмай – ручейки незамутненной талой воды. Таким обилием солнечного света, голубизны, сочивом сугробов обычно преис-

полнено краткое время весеннего равноденствия. Напрямую без обиняков скажу, что в твоей Тмутаракани похожего чудодействия весны вовек не увидеть. Душа просится в Рязань, оставленную нами. Все, что видят глаза в эту минуту, оно оттуда – из нашего мещерского рая. Передо мной лишь отдаленное напоминание о нем, дабы меня, кандальника, утешить. Досадную: не захватил с собой альбома с Рязанью.

Трудно сказать, сколько придется проваландаться на больничных харчах, сам по себе в зону не тороплюсь.

Не горюй, труляляша, я тебе в ободрение отправил один за другим два денежных перевода по 40 и 50 руб.

Целую тебя за ушком.

*Из письма от 30 марта 1972 г.*

*Барашево*

**Ритэт!**

Воспользовался внеочередным письмом, надеюсь, не надоем больничным эпистоляром.

Весна вернулась в Мордовию смело и наверняка... Просевший рыхлый снежок за каких-то три дня напрочь стоял. Окрестные поляны покрылись болотцами из талой воды. Вокруг все греется и млеет на солнышке. Так хочется воли, что набегают слезы. За долгие разлучные годы я так наморюсь, что во всю жизнь не сквितаться.

Ты настаиваешь, чтобы Сенин твой непременно «творил», набивал руку. Да я и сам постоянно себя донимаю понуканиями к творчеству, а на деле происходит по пословице: «Рад бы в рай, да грехи не пускают».

Обычное дело: днем на работе так ухайдакаешься, что потом долго в себя приходишь. За час-полтора до отбоя сажусь, как филин на ветку, и начинаю что-то выдумлять. Ты-то знаешь, письма к тебе сделались своего рода лирическим дневником. Три года подряд я только тем и занят, что исповедую перед тобой мятежный мир своей души.

Может статься, когда-нибудь надумаю опубликовать их, исключительно для тебя, Аленки и, верится, наших будущих внуков...

С надеждою на лучшее прощаюсь до следующих признаний!..

*Из письма от 3 апреля 1972 г.*  
*Озерное*

**Рита моя!**

С порога ошарашу новостью: меня в числе небольшой группы из заключенных отправляют в Саранск. Содержаться будем в следственном изоляторе КГБ. Отныне направляй свои письма по адресу: Саранск, п/я 3, следственный изолятор. Беру с собой самое необходимое, по большей части книги – они мне сгодятся, т.к. в столице Мордовии придется пробыть без дел и забот целых два месяца. Не песни же мне там петь! Примусь читать и обдумывать. Рит, деликатная просьба: отправь по указанному адресу хотя бы 10 рублей, чтобы я смог по прибытии отовариться чаем, конфетками, пряниками. Успокойся, в Саранск меня этапируют не за провинность, а «с целью проведения идейно-воспитательной работы». Ты сама, как преподаватель кафедры научно-

го коммунизма, время от времени наставляешь меня и даже щелкаешь по носу. Утешься, в следственном изоляторе КГБ начатое тобой дело будет продолжено. Предстоящей поездке, конечно же, рад, как возможности развезься и отдохнуть от зоны. Благо, что работать там по 8 часов в день не придется.

Кстати, сегодня сон приснился: дивный, рязанский. Будто мы живем втроем на Садовой улице, что на пединститут выходит; в том самом домике, где я квартировал, когда учился в строительном техникуме. Нам все там нравится, но Аленку мы не в садик водим, а отдаем на день тете Лене, на Затинную. Забираем ее каждый вечер и по дороге, шагая по знакомым улочкам, говорим только о ней, нашей малышке.

До сих пор под впечатлением... Среди изменчивости века сего хочется положиться на вечное, непреходящее. Для меня оно заключено в Боге и любви к вам.

...Воскресенье. Накануне отъезда время незаметно пролетело в суете сборов, хотя, казалось бы, нищему собраться – только перепоясаться. Из скарба, что я отобрал в дорогу, самое святое – молитвенник и ваши с Аленкой фотографии. Признаться, сердцу моему более угодно отправиться по весне не в Саранск, а в Лесную Поляну. Под дубами вечерком нам бы вместе на костерке кашу-сливуху варить. Представляю, как Алена с радостной готовностью вприпрыжку бегала бы до избы и обратно, спрашивая у бабушки соль и приправы. Мне бы ухватить ее слабенькую ручонку, усадить к себе на колени, шептаться и чудить, как нам вздумается.

Прости, что кратко. Знай, отбываю в Саранск с задумкой о костерке и каше-сливухе под дубами.

*Из письма от 8 мая 1972 г.  
Саранск, изолятор КГБ*

**Рит, привет тебе из Саранска!**

Невозможно как хочется говорить с тобой, но, представь, удерживает стыдливый конфуз, – мне кажется, я исписался. Противно бывает перечитывать собственную ерундень. Но не пойми, будто мне нечем поделиться – этим-то я не озабочен. Как говорится, брага порой переливает через край. Моя незадача – не о чем, а как писать. Руку я набил еще во времена Царя Гороха и по сю пору валяю в той же манере. Если раньше мои поэмы принимались, то теперь мне за них совестно. Нет слов, ты большего достойна. Мне бы не размазывать, не растекаться мыслью по древу, но, охи и ахи! – редко когда удается вылепить нечто стоящее. Выходит, вопреки обещаниям, кормлю тебя одними постными щами, и изредка по праздничкам потчую печатными пряниками. Ты, к моей радости, не однажды признавалась, что отдельные страницы тронули тебя. Вижу в том добрый знак, памятуя, сударыня, о Вашей сдержанности на похвалы.

...Десять вечера. Сыплет робкий дождик. Дробно постукивает капельками по жести подоконника; слышно, как неподалеку за тюремной стеной шуршат по лужам троллейбусы, озорно взвизгивают девчонки. Городской дождь мне больше по сердцу. В деревне он скучноват: загонит под крышу, и сидишь весь вечер позевываешь, да чаек попиваешь. А в городе – одна романтика!.. Веселое оживление, все спешат спрятаться от дождя. В лужах, на дождевиках блики фонарей; липы пахнут лесом, свежесть будто луговая! В троллейбусах тепло и тесно от многолюдства, на стеклах светится дождевой

бисер. Рекламам и огням за окном словно яркости прибавили. Хорошо бы пройтись под зонтом по тротуару с тобой, очаровашкой!..

Напомню о сказочном счастье летних маклаковских вечеров... Шалаш в глубине темного сада... Запах твоих кос, забрызганных дождевыми осыпями с веток, мешался с духом слежавшегося сена. Над садом сияла и млела новая луна, не отрывавшая глаз от тихого земного вечера. Всюду редкий стук капель по листьям, облегченное успокоение после грома и ветра теплого ливня. Не знаю, доведется ли еще побыть вдвоем в тишине и неге последожддевого сада...

30-е апреля... С поразительной ясностью помню, чем был отмечен этот день в последние 6 лет. Какие платья были на тебе, обрывки разговоров, где и с кем мы проводили время. Невыразимая мука любить, помнить все то, когда за окном такой же молодой вечер, как и пять лет назад. Кому-то он отдан даром, а мне остается, подтянувшись к решетке, ухватить ртом несколько глотков сырого пьянящего воздуха. Представлю тебя, одну-одинешеньку, в обидно недосыгаемом далеке, печаль изо дня в день и подумаю: может ты позабыла вкус счастья на моих неотвязчивых губах? Мне же остается одно: свято верить, слезно помнить и довольствоваться крохами воспоминаний...

На календаре красная дата – 1 мая... Утром в Рызани баба Злата наденет на Алену-болобошку новенькую кофточку – недавний папин подарок. Она со старанием сделала ей прическу, увенчанную на макушке белым бантом. Бабушка что-то на ней поправляет, а внучка горит от нетерпения поскорее выскочить во дворик, чтобы сразить Маринку и подружек обновками. Дед, Павел Иванович, по случаю Первомая с утра при параде:

сером бостоновом костюме со старомодным, но красивым галстуком. Он выглядит хоть куда, с белоснежной головой и осанистым достоинством екатерининского вельможи. Мои юные свояченицы, Алла и Юленька, донельзя разодетые - сами цветы из майского букета!

Но кто на самом деле не забыл про меня в этот день – это мои безутешные старики. Мама, как водится, настряпала к празднику всего-всего. Приехал Михаил, похудевший и молчаливый. Сестра Галя на сносях, потому смотреть не может на кушания, но для порядка присела за стол со всеми. Для меня поставлен отдельный стакан с вином на то место, где мне надлежало бы сидеть. Отец срывающимся голосом произносит тост с обнадеживающим и даже шутливым завершением. Затем все чокаются между собой и с налитым для меня стаканом. Мама то и дело прикладывает платочек к глазам: «Бедный наш Олег, каково ему там...»

Слава Богу, что есть малое утешение за горестную мою вину перед ними – чувство выстраданной, щемящей любви. За эти годы оно настолько просолило меня, что грех будет не воздать им сыновьей чуткостью.

...Десять часов утра. Еще не ушло солнышко из окна камеры. На локте у меня греется светлый «зайчик». Вижу, воробей слетел на карниз, пугливо покрутился, поклевал крошки и упорхнул в вольное небо. Под его серыми крылышками, по главной улице Саранска шествует Первомай. Разукрашенные колонны, громыхание оркестров. У демонстрантов, по себе помню, помимо приподнятости и веселья предвкушение праздничного застолья.

В детстве ребяташками мы выпускали на волю божью коровку, приговаривая: «Коровка-коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горело-

го...» Мне бы уговорить того воробушка, чтобы полетел он далеко-далеко, в Ее город, где сейчас по улицам разлился праздник. Долетев, отыскал бы среди людского множества мою большеглазую женушку: вот бы он прочирикал ей на ушко о моей тоске-печали, о том, как арестантик ее грустно следит за карагандинскими стрелками и гадает: что с ней сейчас, с кем она дружит-любится?..

Несется солнце за вагоном,  
Едва-едва не догоняя,  
Ядром закатно-обреченным  
Лесок продрогший просекая.

...Так нам с тобою не поднять  
Жар-птицы радужные перья  
И жизни новой не начать  
С утратой прежнего доверья.

Но есть от века утешенье,  
Гласящее и нам с тобой:  
«Алмаз любовного мученья  
Не покрывается золой».

Продолжаю свой невеселый «репортаж» из прогулочного дворика. Здесь слышнее шум и оживление улиц. Догадываюсь, Ритэт, надоел я тебе бесконечными домоганиями: «Любишь?», «Помнишь?», «Ждешь?» А что делать, если всего-то один раз ты написала мне, как помнила и жалела меня в ту студенческую поездку под Звенигород. Прошло полтора месяца после ареста. Компанией вы ночевали на даче генеральской дочки Машки, расположившись на полу с разложенным сеном. С вечера хлебнули винца и, сидя в темноте, до-

поздна пели песни. За окнами сыпал дождь. Жалея своего Альку, непутевого и ласкового, ты украдкой смахивала слезинки...

Пройдет три-четыре денька – и придет твое короткое письмишко о проведенных праздниках. Получу его и стану гадать: что водило твоей рукой, о чем ты умолчала, зная меня.

### **Ревность**

Твоих улыбок перламутры  
Меня волнуют и слепят.  
Их прелесть всего зримей утром,  
Когда к ним льнет лишь мой влюбленный  
взгляд.

Но в многоликих зеркалах  
Заглазно-уличных мгновений  
Бедой отравлена стрела  
Их колдовских прикосновений.

Твой лук изогнуто-прекрасен,  
Его натяжка так сильна,  
Что щит любви моей напрасен, -  
За ним видна – твоя вина!

В 66-ом, нашей первой весной, я приехал из Рязани к родителям в Маклаково. Отец с год как проработал там директором. Они с мамой временно разместились в небольшом деревянном домике, запомнившимся мне старосветским уютом и стесненностью. За домом старый усадебный сад. Длинный ряд разросшихся межевых берез доходил до лощины, где кончались низы нашего огорода. Прохладными вечерами, не переставая думать о тебе, я мечтательно

бродил вдоль них по заросшей тропинке. В душе творилось такое, что было не понять, кто из нас более молод и радостен, – весна или я. В свои восемнадцать лет я весь засвечен тайной, которую храню ото всех, упиваясь счастьем взаимных признаний в любви, случившихся за неделю до этого. Говорю ли с отцом о политике, угощаюсь мамиными оладьями, – все это на фоне всенаполняющего чувства к ней, юной, пленительной и отныне моей. . .

\*\*\*

Моей девочке льноволосяй  
От прохладного русского лета  
Поутру, под оконце принес я  
Запашистой сирени приветы.

Мои руки тебе воздвигали  
Терема по Оке и на Клязьме,  
Твои губы меня одарили  
Поцелуев сладчайшей вязью.

И пошла, понеся околесицу  
Задыханий, признаний, прощаний  
Беспокойного чувства вестница,  
Изводящая душу печалью.

\*\*\*

*Из письма от 9 мая 1972 г.*

*Саранск, изолятор КГБ*

**Ласкуша моя, привет из мордовской столицы!**

Три дня назад перевели в другую камеру, что меня

очень порадовало. Из-за решетки окна виден кусочек городского пейзажа. Выходит оно на запад, потому на исходе дня любуюсь тающим светом заката. Одно огорчает: от тебя, грамотейка, три недели ни гу-гу, видно, писать разучилась. Испив чая, грущу за посланием с укоризнами. Отчего-то вспоминаются сумерки в Желудево, заросли отцветающей сирени на краю сада, прохладный подорожник тропинки. По-деревенски покойно, свежо от луговых низин. Старая церковь с патриархальной важностью высится над нашим домиком. Всякий раз ее ни на что не похожий силуэт напоминал мне о дедушке, Павле Федоровиче. Будучи ревнителем веры православной, он брал нас с сестрой Галей с собой на службу. До Шацка мы добирались на попутках. Стоя в храме, мало чего понимая, мы между тем сознавали возвышенную значимость происходившего.

...Мы стоим с тобой у калитки на маленьком вытоптанном пяточке среди лопухов и пахучей полыни. Разговаривая, наблюдаем, как наша непоседа в платочке с льняной челкой играет в лопухах. На тебе летнее с глубоким вырезом платье, белые босоножки на каблучке; волосы в красивом зачесе простой домашней прически. Кроме нас на улице никого. Не скрывая внутреннего волнения, сжимаю твой прохладный локоть и, притягивая к себе, вдыхаю травный запах волос.

А сейчас вот, пожалей меня, Рит, сижу в камере один, как перст, и вспоминаю сельскую умиротворенность вечера и твои заждавшиеся глаза. Милое прошлое, ему одному дано хранить нерушимую верность пережитому. Пройдут годы и годы, но не просохнут слезы всепомнящей любви. Доныне и навсегда оно хранимо в моих залистанных, закапанных слезами «святцах». Я блажен уже тем, что могу укрыться от продажности

мира, от его копошливой суеты в уединенном мирке, озаренной неугасимой лампадой сопереживаний...

Перед глазами приветные башни университета и букет сирени в твоих руках. Ты с восхищенной улыбкой то и дело зарываешься в него лицом. В рязанской тюрьме я задумал, как однажды майским вечером, один, без тебя, с таким же букетом приду к главному входу университета, безлюдному и величавому. С теми же весенними чувствами, вечно твой, разбросаю ветки белой сирени по широким, гранитным ступеням. Знай, я могу ничего не просить, не укорять, не раздражаться, а сидеть, как сейчас, на перевернутой табуретке в углу камеры и, отхлебывая чаец, думать о тебе, провожая последние солнечные блики.

...Рит, письмо ты получишь накануне Троицы. Поделюсь впечатлением об этом удивительном празднике. Он запомнился мне, благодаря дедушке, с детства.

По-весеннему быстро протекали, немалые своим числом, пятьдесят дней от ликующей Пасхи до свежелиственной Троицы. И, как повелось от апостолов, а на Руси от Владимирова Крещения, всякий из праздников облакал свою евангельски-событийную первооснову в обряды и обычаи. Каждый из них имел неповторимые краски и запахи, свою временную пору: от морозного белоснежья Рождества до предосенней прохлады Успения. Отличаясь между собой убранством храмов, цветом облачений, ястием на столах, праздники имеют чудесную способность хотя бы на малое время приблизить нас, осуетившихся, к радующей благостыне Божьего Царства. В эти дни недостижимо небесное будто преклоняется, милостиво нисходит к земному и юдольному человеческому бытию.

Накануне Троицы, придя в храм ко всенощной, мы

всякий раз переживаем детское изумление, взирая на его пространство, изукрашенное цветами и зеленью. Еще вчера оно своей строгостью и святым величием не допускало и мысли о совместимости ликов, лампад, каменных сводов с пахучей травой под ногами, с белоствольным струением тонких березок, обилием цветов и листьев. В эти минуты воистину веришь, что Животворящий Дух Святой, сошедший на апостолов в далеком от нас Иерусалиме, в начале каждого русского лета преизбытком Своих даров возрождает к новой жизни земное лоно и человеческие души.

*Из письма от 20 мая 1972 г.*

*Саранск, изолятор КГБ*

Рит, когда наша дочь вырастет, станет миловидной, стройной и что-то начнет понимать про «любовь-морковь», я стану рассказывать ей, какой красивой парой мы были с тобой в молодости. Как уходя в луга, нагулявшись, усаживались под копной, и ты пела мне песенки про бабье лето, причал и излюбленную мою: «Выткался на озере алый свет зари...» Может и ей передается твой тихий, чистый голос. Он нравился мне не только когда ты пела. Иногда, не вслушиваясь в то, что ты говорила, я внимал его женственной мелодичности. Не переживай, «миленькая мамочка», я не проболтаюсь дочери, как ты, лентяйка, задерживала письма и тем примучивала меня, несчастного.

День назад на «Волге» меня из изолятора под охраной возили с зубом в стоматологию. Ехали мы недолго и, по всей видимости, по центру города. С изумле-

нием дикаря всю дорогу, не отрываясь, тарачился в окно. Людные тротуары, витрины магазинов, маленькие дети, – увиденное разом открылось и ошеломило. Три года тупо не верилось, что без меня жизнь на воле идет своим чередом. И за какие-то минуты она отхлестала по глазам своим языческим великолепием, обидно уколола равнодушием к моим жалким, никому не ведомым страданиям. В ее полноводном широком разливе я казался сам себе просто щепкой. Возвратившись, долго не мог успокоиться, разболелась голова... Аскетическое прозябание в глуши лесной по-своему оберегает меня от зримых искушений. Но когда перед глазами промелькнул захватывающий калейдоскоп иной жизни, она представилась мне сплошным соблазном. Подобно пестрой карусели, она несется, дразнится, зазывает...

Как ты поняла, горожанка моя, увиденное стало для твоего затворника причиной своего рода психологического шока. Вот ужотко вернись и, следуя категоричности «Домостроя», не дозволю тебе, молодежи, короткие юбки носить.

Сто раз признавался тебе, что со страстью коллекционера готов собирать малые малости, имеющие какое-то отношение к тебе. Как-то вечером, за чтением, я смаковал ломтик сыра. Когда с ним было покончено, почувствовал знакомый привкус, напоминающий тот, что оставался от твоих поцелуев. Потом каждый вечер, желая повторить приятные ощущения, я бережливо откусывал по кусочку. Даже не верилось, что некогда я мог иным образом усладиться поцелуем...

Выслушай еще одно лирическое откровение: имея дар жить в двух измерениях, сиюминутном и прошедшем, иногда целыми днями не отхожу от незримого мольберта памяти. На одной из картин – Солот-

ча, начало постоянно рисовался мне... Грезилось, будто мы идем по знакомой, свежезапорошенной улице поселка. За спиной остался монастырь, над головами – смиренница-луна, а по сторонам, как на декорациях для русских сказок, – дремный, зимний лес. Ступая по неглубокому, недавно выпавшему снегу, мы вошли в его чертог. Среди сосен от снега и лунного фонаря светло, загадочно тихо. Ты, трусишка, заверяешь, что со мной тебе совсем-совсем не страшно. Тем более я то и дело ободряю тебя частыми поцелуями в щечку, склоняясь к твоему лицу, девичье-свежему от морозца. Когда мы оставались вместе, у нас не обходилось без дурачества. Твой Ленин, как ты помнишь, был горазд на выдумки. И в этот раз, заговорив тебя, простушу, я останавливаюсь у молоденькой, запущенной сосенки и выжидаю. Мгновение, и ты, торопливо отряхавшись, обиженно возмущаешься моим коварствам, но тут же мы оба начинаем смеяться. Через минуту, поотстав, в отместку запускаешь снежок, который пришелся мне прямо по затылку. За шиворотом холодно и влажно, а вокруг диковинно красиво. И нет милее снегурки, чем та, что дразнит меня своим смехом и смотрится так, будто сошла с новогодней открытки. Мы гоняемся друг за дружкой, прячемся за стволы и в гуще молодых елок. Перекликаясь, незаметно уходим все дальше и дальше в лес. Наигравшись, запыхавшиеся, останавливаемся под вековой сосной. За спиной – ее шершавый ствол, а передо мной, в объятиях замерла ты, склонив головку мне на плечо. И такая тишина вокруг!.. И мне кажется, что в небе, выше верхушек корабельных сосен, тот же удивительный запах хвои и твоей влажной шубки...

О том мои стихи, послушай:

Знаю, сосны есть где-то  
И церквушки в снегу,  
Голубые кометы  
Темный лес стерегут.

Утомившись игрою  
Звуков дня – шалуна,  
Распрягла свою тройку  
У берез тишина.

Ни качанья, ни вздоха,  
Ни дрожанья ресниц,  
Звездно дремлет эпоха  
Над стенами звонниц.

Девять вечера. В камере смеркается, встаю и начинаю ходить из угла в угол. Испытываю в этом потребность всякий раз, когда находит тоска, тревога, либо напротив – сладость томления. Семь шагов от двери до стены с окном... Выщербленный цементный пол. Заученные движения, невидящий взгляд. Хожу подолгу, изредка останавливаюсь. Напрягая мышцы воображения, силюсь подтянуться, чтобы заглянуть через зарешеченное по ту сторону глухой стены отчуждения. При этом могу навоображать себе невесть что, но доподлинно знаю: где бы ты ни находилась, ты сейчас дышишь, и, может быть, в это мгновение мы одновременно сделали вдох. Под тонкой кожей запястья у тебя бьется голубоватая жилка пульса, на высокой шее любимая мной родинка...

Прости, Ритэт, кажется, уморил тебя чересполосицей настроений. Сама виновата, что по младости и неразумию решила пойти под венец с сумасбродом и

лириком. Делать нечего, предназначенное Богом свершилось, потому смирайся и не затыкай ушек, слушая мои сентиментальные бредни. Представь, я не один такой. Томас Манн, определяя искусство, как переплавленную в образы тоску, так написал о муках самовыражения: «От первого ритмического порыва, устремляющего художника к сюжету, к материалу, возможности выражения, до самой мысли, до образа, до строки, - какой труд, какой мучительный путь!»

Чуть выше ты слышала отрывок из снежной «солотчинской сюиты». Поскольку нам не привыкать пробовать с ложки то сладость, то горечь, еще одно невеселое воспоминание: в канун 1970-го я встречал свой первый тюремный новый год в Саратове. В камере нас двое. Сосед, стареющий мужчина из торгашей, подзарвался и, страшась большого срока, переживает, что придется умереть за колючкой. Мы выложили на столик самое, что было у нас вкусного, набулькали в алюминиевые кружки яблочного сока, поздравились, выпили, и он улегся спать. Я было последовал его примеру, но еще долго лежал, не смыкая глаз, в окружении непрошибаемых стен. В памяти грустный калейдоскоп новогодних елочных воспоминаний. Не будь у меня тебя, я бы не сходил с ума от тоски, представляя наш любимый праздник. Лежать было невмочь. Осторожно, чтобы не разбудить соседа, влез на верхний ярус вагонки, толкнул наружу форточку и, ухватившись пальцами за холодные прутья решетки, приник к ней лицом. Мне был виден маленький, по-тюремному убогий угол двора с заснеженными строениями. Ветер, гулявший по праздничному, огнистому лону новогодней ночи, прошиб беззвучными слезами обиды. Совершенно разбитый, лежа на койке, записал:

\*\*\*

Ночью дрожащие слезы текут,  
Губы кривятся и скачут, -  
Черною веткой на белом снегу  
След мертвеца обозначен.

Ночью то поле метели секут,  
Вой над сугробами тянут...  
Годы-сироты, шатаясь, несут  
В спину убитую память.

\*\*\*

*Из письма от 23 мая 1972 г.*

*Саранск, изолятор КГБ*

**Здравствуй, Рит!**

Пошла последняя неделя моего пребывания в столице Мордвы. Признаться, оно мне не наскучило. Иногда, правда, из тесноты камеры тянет в зону, на травку. Но как подумаешь, что подобный случай вряд ли еще выпадет, сразу смиряешь свои вольнолюбивые помыслы. Докладываю тебе, Ритэт: привезенный чемодан с книгами я осилил; для зоны закуплено 4 кило сахара и полдюжины пачек чая. Как видишь, меня ждет житье безбедное. Нагулял на здешних хлебах порядочного жирку, но, надеюсь, он без остатка растрясется за 3-4 рабочих недели. Не беспокойся, на свидание явлюсь поджарым и загорелым!

...Черета времен года едва ли не единственное зримое разнообразие в условиях зоны. Снова наступит и пройдет короткое лето средней полосы, одарит новы-

ми запахами и красками. В далеке от тебя сладко будет вспоминать дни, залитые прощальным светом августа, видеть наш город, где над земным золотом садов висит-ся и сверкает небесное благородство куполов. Помню, летела паутина, остывали к вечеру кремневые кирпичи собора. День назад ты уехала в Москву, торопясь к началу учебного года. Один, прощаясь с Рязанью, я приходил в кремль и подолгу стоял на высоком парапете архиерейского дома. Внизу от подножия крепостной насыпи, сразу за обмелевшим Трубежем, стлались выкошенные окские луга, с редкими копнами на них. И казались бы они бескрайними, похожими на даль Дикого поля, если бы за плавной Окой не темнел державной полосой Луковский бор. Он напоминал о близких мещерских лесах, где в старое время рязанцы рубили засеки от татарской конницы. Среди могучих сосен замерли на века крепостные стены и церкви Солотчинского монастыря. Смотрел, думал, и на глазах выступали слезы от горделивой причастности к былинной, мужественной древности. Когда-то из щелей бойниц с коротким стуком тетивы вылетали певучие стрелы. Толпы визжащих татар носились на вертких лошадях под его стенами.

Через триста лет там падал крупный, слепой дождь, мочил сухую хвою и завитки твоих расплетающихся кос. Мне хотелось понести тебя на руках, но ты, смеясь, не давалась. Никогда в жизни не будет ничего лучше того дождя и нашей умопомрачительной слиянности...

\*\*\*

В селе Коломенском – нарядная трава,  
В апрельской синеве сияют главки храмов,  
Бьет колокол, стареют деревья,  
Линяют титулы в грамоте охранной.

В селе Коломенском мы у себя, мы дома.  
Нам русская живая старина,  
Как даль красна, как хлеба кус знакома,  
Трудами праотцев она утверждена.

В селе Коломенском, где церковь Вознесенья  
Хранит от вандалов московский окоём,  
Не мелочась, отбросивши сомненья  
Мы правды ради дышим и живем.

Живем, как сироты, случайным подаяньем,  
В печали, в радости - всегда к виску виском.  
Господь лишь знает, может, не случайно  
Приветил ангел нас улыбчивым лицом.

\*\*\*

*Из письма от 1 июня 1972 г.  
Саранск, изолятор КГБ*

**Милая улыбашка, привет тебе из Саранска!**

Стоит жарынь, по ней не трудно представить печально-знаменитые поволжские засухи. В камере духота, весь день чайниками дую сырую воду, на ночь укрываюсь одной простыней. Завершаются мои двухмесячные саранские безделки. Столько передумано, шагаячи по камере от стены к стене. За три глухих года «отсидки» представилась нежданная возможность отдохнуть, побыть наедине с собой. Предчувствую, что до отправки на зону от тебя ласточкой прилетит еще одно письмишко. Загадываю, что ты не будешь плаксииво похныкивать, а в самом конце меня будет ждать фри-

вольное иносказание, понятное только нам одним. Ты, реалистка, как-то резонно заметила, что распаленные чувства мои, если верить З.Фрейду, вполне объяснимы обостренной сублимацией. Доподлинно так, трудно что-либо возразить, – поцелуй тебе за то в лобик! Глядя на свои пальцы, не могу поверить, что недавно, прикасаясь к прохладному атласу твоего лица, я с юношеским восторгом сознавал: до чего же ты мной любима... Однако, моя белотелая боярыня, жаркие импровизации на любовную тему ты услышишь через месяц на личном свидании в Озерном.

Продолжаю в прогулочном дворике, где, прислонившись спиной к стене и запрокинув голову, любуюсь облаками такой дивной красоты, что они могли бы украсить небо над библейским вечным городом. Между тем, в городе Саранске страсть, как жарко, и хочется мороженого, кисленького, фруктового. Не забыла, как я кормил тебя с ложечки на Казанском вокзале? При расставании, целуясь, я чувствовал на твоих губах вкус московского лета.

Жду от тебя открытки с анютиными глазками. На прощание благоговейным жестом подношу к лицу красивую кисть руки твоей и нежно-нежно прикасаюсь губами к кончикам пальцев.

## Водоколонка

Июнь 1972 г.

Несусветная жара, горят леса и торфяники. В швейном цеху, где я выдаю по 2 нормы рукавиц, стрекот множества машинок, прерывистый вой натяжных ремней и такой духман, хоть нос зажимай. Наконец долгожданный перерыв. Мастер выключает рубильник, и ээки, отряхиваясь, разламывая спины, вываливают наружу. Впереди 15 минут роздыха. Старики тянутся к туалету, мы молодые, как повелось, собираемся у колонки – освежиться. И тут кто во что горазд!.. Володя Жильцов, высокий с вислыми плечами, разувается, закатывает до колена штанины и с удовольствием подставляет ступни под холодную струю. Человека 4 и я с ними, растелшившись по пояс, скучились у колонки. Плеская на себя пригоршнями воду, озорно толкаемся, хохочем и вскрикиваем от удовольствия. Владик Узлов, любитель экстрима, в одних трусах, красуясь атлетическим сложением, спокойно улыбаясь, ждет своей очереди. Затем, пружиня на руках, он подставляется под хлестко бьющую воду колонки. Выкрики, смех, дурачество... Все мы молоды, над нами радующая голубизна летнего неба. Чуть ниже за забором – шишкинской красоты сосновый лес.

После обливания во всем теле бодрящая легкость,

жара делается приятной и желанной. Всенаполняющее чувство жизнежадности каким-то непостижимым образом возвращает полузабытое упоение летних месяцев, когда мы были с ней неразлучно вместе. Перед глазами на золотистом загаре плечей бретельки ее летнего сарафанчика и светло-коричневые босоножки, которые еще более стройнили ее. Мне чудился шалашик в Маклаково, на самом краю сада, куда мы с ней уединялись по несколько раз на дню. Я будто вдыхал запах сена и ее волос. Казалось, моя нежность к ней, подобно жаркому лету, наполняет пространство между нами. То и дело бросаю взгляд в сторону вахты, где 10 дней назад, уезжая со свидания, она, опечаленная, простучала каблучками.

В цех возвращаюсь с неохотой, последним. Сидя за машинкой, пытаюсь хоть на малое время удержать в себе знакомую сердцу светлую грусть. Она обычно подступала в конце наших шатаний по городу, когда я провожал ее до троллейбусной остановки, уставшую, но сияющую.

### ИЗ ПИСЬМА

Ах, если б можно было вернуть  
Круженье той июльской карусели  
Теперь, когда деревья облетели  
И предстоит нам зиму пережить.

Здесь так тоскливы ранние потёмки,  
Так непостижна общая судьба;  
И только прошлого узорная резьба  
Дарит теплом завещанной иконки.

*Из письма от 3 июня 1972 г.  
Саранск, изолятор КГБ*

**Привет тебе, золушка моя, из страны лесов и болот!**

Возможно, письма из изолятора своей краткостью напомнили тебе студенческие, саратовские, написанные абы на чем. Там я не меньше страдал без тебя, но мое одиночество было лишь видимым. От него спасал мною измышленный полумистический культ, исполненный возвышенным чувством обожания. В том городе, что так и остался чужим, особенно любимы стали места и улочки, которые ты осветила своим присутствием. Они влекли меня звуками грустного менуэта, сопровождавшего наши прогулки. Равно дороги были мне скамейка в укромно-зеленом дворике «университетки», старинные дома, улочка, что шла от музея Радищева вниз к Волге, подоконник в кассах драмтеатра, где мы грелись в предновогодний вечер. С тех пор мало что изменилось: я все тот же скрытый, мечтательный студент. Стоит зарыться ночью лицом в подушку, и в воображении своем зачарованно стою на торжественной и слезной службе вседарящей памяти. Мне бы навсегда остаться в том времени, когда, увлеченный романтической игрой, я неделю хранил в портфеле твою варежку. Украдкой поднося ее к лицу, вдыхал влекущий запах духов студентки-первокурсницы.

Однажды, пытаясь охладить мои непомерные восторги, ты заметила, что любовь, подобную нашей, переживают многие. Ересь! Истинная любовь исключительна и неповторима. Разве может кто говорить языком моих признаний, словословий и заверений?

Да, чуть было не забыл сказать: иногда, просыпаясь

по ночам, слышу отдаленный стук поездов, который в другое время не доносится. Он воспринимается, как подарок, напоминающий о наших уединенных прогулках по весне в придорожном лесочке.

От далёкой железной дороги  
По ночам обмирающей музыкой,  
Деревенским костром под треногой,  
Цветом платьвица, в талии узеньком,  
Долетает и в темени тает  
Наших весен пора золотая.

Попробуй не ответить на мои страстные вопрошания, я тебя, неженку, покусую!..

*Из письма от 14 июня 1972 г.*

*Озерное*

**Милая Ритэт!**

В этот раз привечаю тебя уже из Озерного. Вчера, 9-го, вернулся сюда этапом, и в первый же вечер был нещадно искусан комарами. Почесываясь, сожалею о вздыхаю о городских огнях Саранска. Несказанно благодарен за фотографию, ты на ней выглядишь изысканно-аристократически: с локонами фрейлены и неизменной грустью в глазах. Бережно поднес карточку к глазам, и внутри сладко сдавило одновременно от восхищения и жалости к тебе. Через месяц ты явишься, дворяночка моя, и я лицом к лицу смогу насладиться твоей великосветской неотразимостью.

Денечки между тем бегут... Выкатило свое распис-

ное колесо новое лето... Комариные сумерки, вознесенные верхи сосен, а над ними засвеченные закатом июньские облачка. Снова влечет озерно-темная стоячая вода томления по твоим золотистого загара плечам. Чем ближе встреча, тем неотступнее грезы, предвосхищающие часы и дни нашей близости. Видишь, как ослабна во мне тяга к тихой пристани, ласке и теплу семейного гнездышка? В разлуке настойчивее заявляет о себе инстинкт ничем не стесненной свободы душевного и плотского единения. Оказаться бы снова в конце мая на людном Рязанском перроне и, бросившись навстречу, обнять, осыпая поцелуями твое лучезарное личико. Хочу лелеять твои безмятежные зорьки, дожидаясь минуты детски-сладкого пробуждения. «Хочешь, засоня, принесу тебе в постельку чай со сливками и шоколадным батончиком? Прошу, сударыня, но осторожнее: он довольно горячий. Пожалуйста, не жадничай, дай мне отпить с твоего краешка чашки. Честное слово, никогда в жизни не пил более восхитительного чая! Секрет в том, что он имеет несравненный привкус твоих губешек. А можно мне еще глоточек? Ну спасибочки, в поощрение вечером поведу тебя в киношку. Хочу, чтобы ты была в белом, с кленовыми листьями, платье. Как всегда, возьмем билеты на последний ряд, – и без возражений. Потом троллейбусом до пристани, а там – в луга, к копнам...»

Кажется, целую вечность не видел тебя, даже стал забывать, как ты улыбаешься. Но помню-помню: когда моя лисичка старалась мне понравиться, то делалась невозможно какой обворожительной. Как видишь, пытаюсь разжалобить тебя, в надежде на нежность, которой ты одаришь истосковавшегося Сенина.

Вечера стоят клеверные. Деревенскую тишь нару-

шает сольное и хоровое кваканье лягушек. После затхлости камеры хорошо вдыхать запахи сочного июньского травостоя. Пока совсем не стемнело, торопливо дописываю, облокотясь на край теннисного стола. Рядом – знакомый тебе растрепанный блокнотик с фотокарточкой. Время от времени, отложив письмо и приподняв обложку, прикасаюсь к ней губами.

...Рит, в Саранске сулился написать о прочитанном. Если желаешь – послушай...

«Русская фольклористика», хрестоматия, М.: Просвещение, 1971. В зоне все не доходили руки до фольклора. Вместе с хрестоматией захватил сборник «Русское народное поэтическое творчество». Оказывается, только с середины XIX века по-настоящему обратили внимание на красоту и богатство фольклорного наследия. Между тем, оно постепенно вымирало в последнем своем пристанище – на русском Севере. Страшно подумать, что через полвека собиратели могли не застать и того малого, что сберегла народная память из сокровищницы неповторимых образов и словесной вязи. Не раз русские люди в благодарности снимут шапки перед именами неутомимых собирателей и исследователей фольклора: А.И. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, П.Н. Рыбников, А.Ф. Гильфердинг. Век спустя и я тоже восхищаюсь певучим складом старых заонежских песен:

«Не березонька шатается,  
Не кудрявая свивается,  
То шатается. Свивается  
Твоя молода жена...»

Признаюсь, едва прихлебнув из берестяного ковша,

почувствовал: до чего же хороша брага! По приезду примусь за сборники песен Печоры и Поморья.

Рит, я бы продолжил, но вот искушение: манят к себе запашистые сумерки бесподобного вечера. А где они застали тебя в твоей Тмутаракани?

*Из письма от 21 июня 1972 г.*

*Озерное*

Недолго тебе, Ярославна моя, осталось плакать на крепостной стене. Твой князь торопит время, ожидая уготованной встречи. А недавние весточки от тебя, будто гонцы с посулами, что скоро мы возрадуемся и утешимся. Мои древнерусские аллегории подразумевают строки из письма, где на удивление мне ты загибаешь пальчики, перечисляя достоинства твоего Сенина. До сих пор я считал, что комплименты – преимущественно мое дело. Но не скрою: был весьма польщен твоими комплиментарными признаниями. Снова и снова благодарю и при встрече воздам поцелуем в макушку.

Соплюша, пишу тебе наспех и предельно кратко – недолго осталось, и Сенин наговорит тебе с три короба, не удержишь его. От сладких речей у тебя, как пить дать, головка закружится. Наши свидания похожи на солнечные лесные поляны: долго бредешь темным сырым бором, и вот оно – Богом данное воздаяние за трудный путь.

На рассвете ты снова к нему поспешишь  
Через город глухой к обещаньям вокзала,

Вопреки оговорам, чтобы там не сказали,  
Светлой мужней женой ты пред ним предстоишь.

Столбовая дорога былинно длинна,  
Но сладки и коротки часы ожидания,  
Позабудется напрочь тоска прозябанья,  
И расступится разом разлуки стена.

Ты увидишь его, одного среди чужих,  
Ты замрешь, на мгновенье глаза прикрывая,  
Чтобы дивная вспышка трехдневного рая  
Возвратила ему жар объятий твоих.

Наткнулся на изречение: «Мир таков, каким мы хотим его видеть». Как я понял, в человеке многое зависит, что у него на душе. Платон Каратаев у Толстого вразумлял Пьера Безухова: «Барин, все в тебе...» И правда: если на душе слякоть, то никакие райские яблочки настроения не поправят. Но в данном случае сказка не про меня, потому как твоего воздыхателя не оставляет предвосхищение праздника.

С каким трепетом поджидаю мою загорелую говорунью, с красивыми бантами, щебетом и букетиком только что сорванных цветочков в ее ручонке. Целый год не слышал, как заливаются наш серебряный колокольчик. Воображаю, сколько стишков и песенок выучила она для папочки. Рит, непременно отбей телеграмму о дате приезда. Я заранее схожу в баню, постараюсь заготовить впрок побольше рукавиц, чтобы в день приезда иметь возможность часок-другой поспать, дабы предстать перед тобой сияющим и освеженным.

*Из письма от 30 июня 1972 г.*

*Озерное*

Рит, после трех упоительных дней любые слова кажутся пустыми, ничего не значащими. И все же скажу: в этот раз мне было особенно хорошо, будто мы наконец-то сошлись, чтобы никогда больше не расставаться. Напрасно я терзался, полагая, что наши чувства постепенно сходят на нет. Оказалось, ни капельки в нас не ubyло от прежней преисполненности нежностью. Потрясенный, я заново прочувствовал, как всеильны чары твоей женственности. Они напрочь развеяли сомнения, убеждая, что не напрасен был наш брачный зачин в том мягком златолистом октябре.

\*\*\*

Та ночь неутоленных ласк,  
Признаний, слез, прикосновений,  
Влюбленно-осеянных глаз,  
Ночь наших брачных единений -  
Нам подарила век и миг  
И камень солнца – сердолик.

\*\*\*

*Из письма от 8 июля 1972 г.*

*Озерное*

**Рит!**

До сих пор не пришел в себя после свидания. И на этот раз возвращение в опостылевшую зону после твоих объятий показалось сущей пыткой. Но боль превоз-

могалась радостью, что я нашел тебя прежней, моей, с родинкой на белой шее и детским пошмыгиванием носика. Столько нужных мне слов услышал я. Но куда убедительней было сказано языком истомленных разлукой губ и рук. С первого взгляда загадочно и властно влечет меня покорная женственность твоей натуры. Доныне она очищает и вдохновляет. Наши урывочные встречи непостижимым образом восполняют слабеющую взаимность любви. Дал бы Бог сил дойти до черты, после которой время пойдет в обретенном единстве наших жизней. А хочешь, скажу проще, на старинный лад: ты, краса-девица, черпнув из колодца-студенца хрустальную водицу, с поклоном подаешь мне испить ее. Вода та непростая: всякий день она делает Божьим, солнышко – красным, а меня, доброго молодца – сильным. Те три дня, как три таких глотка, и уже не так тошно мне в серой веренице времени.

...Неделю томился, ждал письма. Наконец оно пришло, но, Боже мой, сколько безутешности в каждой его строчке. Прочел, и внутри все как отшибло, одно перед глазами: твое зареванное личико. Риточка, горящая моя ясная, не терзайся, пройдет немного времени, и боль поутихнет, отступится. Разве что появится еще один шрамик на сердце. Невольному виновнику твоих злосчастий, остается в бессилии заламывать руки и надеяться на милость Бога к нам.

Руки твоей не выпуская  
В надежде душу отогреть,  
Я к ней губами припадаю  
С одним заклятьем: «Не посметь  
Ударить тягостным кимвалом  
В твою истерзанную медь!»

...Рит, на днях ты наведаешься в деревню к нашей щебетунье. Тебя ждет лес, покой, любимая мной поляна за огородами вдоль опушки. Завидую, каждый день станете гулять, собирать ягоды, плести венки. Вечера в деревне ласковые, со стрекотом кузнечиков в траве. Мама станет потчевать разными кушаньями, а отец непременно угостит душистым сотовым медом. Отдохнешь, придешь в себя, наберешься сил. Ласкуша моя, после свидания во мне осталось так много от тебя, заплаканной и обожаемой.

Моим загорелым селянкам адресую свои поцелуи!

## Малая зона

Жарким летом 1972 г. половину заключенных Дубравлага этапировали за Урал в Пермь. Климат там оказался непривычно суровым, а режим содержания – куда более строгим. Родственникам зэков добираться на свидания было затруднительно и накладно. Мне, слава Богу, повезло: я попал в число тех, кого переместили на соседнюю 17-ю «малую» зону. Вместо политзэков в пустующие бараки завезли осужденных женщин, для которых мы за два года выстроили огромный швейный цех, где они, бедняжки, работали в 3 смены. «Малая» зона по обличию и истории ее основания была своего рода реликтом совдеповских концлагерей. Видимо, изначально она предназначалась для насельников монастырей, нещадно разоряемых в 20-е годы безбожной властью. И действительно, уже в мою бытность при рытье траншеи в углу рабочей зоны, работяги наткнулись на костные останки. Их поразило, что обнаруженные черепа оказались необычных, детских размеров. Маловероятно, что в одном месте могли захоронить такое количество детей, тем более на территории зоны. Скорее всего, это были останки монахинь и послушниц, оказавшихся в узилище. Немногочисленные строения в жилой и нерабочей зонах своей ветхостью подтверждали раннебольшевистское происхождение. На жилой половине лагеря стояло всего

4 барака, не считая вахты и «дома свиданий», находившихся под одной крышей. Два из них, приземистые, рубленные из бревен, стояли напротив друг друга. В пространстве между ними утром и вечером проводилась проверка заключенных, которых выстраивали по 5 человек в одну колонну. Ближе к рабочей зоне в допотопного вида строении размещались баня, библиотека и штаб, с кабинетами начальника лагеря, отрядного и опера (зам. начальника по режиму).

В непосредственной близости от вахты в равновеликом здании находился медпункт и клуб-столовая, где заключенные кормились 3 раза в день. Здесь же проводились разные мероприятия, и показывали фильмы. Жилые бараки делились на две большие секции, разделенные тамбуром и умывальником, где в углу постоянно топилась печка. На ней эки заваривали чай, поджаривали на растительном масле репчатый лук, сушили сухари. Ширина барачной половины была немалая: от каждой стены до прохода стояли в торец, одна за другой, по две койки, плюс к тому сам проход, шириной в полторы койки. Пролет таких размеров держался на двух рядах продольных балок, подпираемых деревянными столбами. Окна были не большие по высоте, в три застекленных шипки. Справа при входе – круглая, отделанная жемчужной пестротой печка. Койки стояли попарно, одна к другой, с проходом между ними в две тумбочки. При первом взгляде внутренний облик барака напоминал старорусский постоялый двор, только без палатей. Такое сходство непроизвольно располагало и умягчало душу. Там мне довелось прожить почти 2 года до освобождения. Первое время мои койка и тумбочка, а это все, что есть у заключенного в бараке, располагались в спаренном коечном «четверике», не у стены, а ближе к проходу. Место

было явно неудобное: людское хождение, мешало спать ночью, а днем - сосредоточиться. Выходило, что ты со всех сторон был постоянно окружен людьми, а это в условиях лагеря действовало подавляюще на психику и порой раздражало. Надо же было тому случиться, что ангел-хранитель неожиданно приветил меня обретением места, о котором я мог только мечтать. По случаю освободилась койка в самом углу рядом с окном. На долгие месяцы она стала для меня душевно-согретым уголком в неприкаянности казенного жилья. Особенно радовал проем окна, что светлел близ изголовья. И поистине Божьим даром стал вид на сосновый бор. По прихоти ландшафта наш барак стоял на некоем возвышении, и оттого деревянный частокол забора почти не скрадывал пейзажного окоема. Довершением к бытовому и душевному комфорту стало соседство с пожилым, сдержанно-интеллигентным эстонцем Теодором Рейнгольдом. Старикау страшно не повезло: во время войны больше по принуждению, чем по убеждению он оказался в немецкой армии. По окончании, будучи магистром юриспруденции, преподавал курс гражданского права в Тартуском университете. В начале 1961 года, за несколько месяцев до принятия нового Уголовного кодекса был арестован и приговорен к 25 годам. Случись это на 2 месяца позже, мистер Рейнгольд получил бы вместо «четвертака» 15 лет. Судя по возрасту, у него не оставалось никакой надежды умереть на воле. Мы общались с ним учтиво и по-дружески предупредительно. Однако ни разу не поговорили откровенно и всерьез. Лагерный этикет предполагал подобное чувство дистанции. На новом месте я расположил свое изголовье так, чтобы проснувшись, можно было сразу видеть сосновую грядку и небо над ней. Вечерами, полулежа, обложившись книгами и жур-

налами, подолгу читал. Время от времени, отрываясь от страницы, со светлым предчувствием чего-то приятного переводил взгляд на окно. Мистер Рейнгольд имел обыкновение в числе первых ходить на ужин. Возвратившись, он выкладывал ложку, брал из пачки 1 сигарету, чтобы с удовольствием выкурить её на свежем воздухе. Затем с типично эстонским выговором обращался ко мне: «Мистер Сенин, сегодня на ужин каша... И, кажется, вечер обещает быть хорошим...» Он уходил, а «мистер Сенин», натянув кирзовые сапоги и запахнувшись в бушлат, отправлялся в столовую, чтобы отужинать кашей, изрядно приевшейся за годы.

*Из письма от 30 июля 1972 г.*

*Озерное*

**Поклон родным осинам и всем, кто под ними обретается: папе, мамочке, Михаилу и вам, голубицы мои!**

Начну с огорчений: неожиданно разболелся зуб, мучил три дня, особенно донимая по ночам. Стоматолога в зоне не имеется, он за синими лесами, за широкими долами, на «больничке» в Барашево. Пытался унять боль пригоршнями анальгина, и, надо же, через день как рукой сняло! Но чередом явилось новое искушение: кормилица моя, швейная машинка, безотказно стрекотавшая, безнадежно поломалась. Таким образом, мои финансовые прожекты оказались под угрозой. Вынужденные простои пытаюсь наверстывать во вторую смену. Машинку заменили, но она оказалась не такая

ходкая, как прежняя. Не зря говорят: пришла беда – открывай ворота. В довершение прочему, нарвал палец. По неосторожности я пробил его иголкой, выгоняя норму пошива. Одним словом, как из штанов не выпрыгивал, – должного процента не добился. По причине форс-мажорных обстоятельств смог отправить тебе, селяночка моя, всего 15 рубликов. Не обессудь, через месяцишко вдогонку уйдет перевод посолиднее.

Трудовой энтузиазм сбивает несносная жарынь. Целыми днями пьешь, потеешь и холодка ищешь. Приходит на ум Пушкин: «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи...» Видно, от матушки-северянки перешла ко мне приязнь к прохладному вологодскому лету. Жду не дождусь начала осени, для меня эта пора – истинный праздник для грустящей души. Осталось недолго, уже послезавтра заявится божественный август, хранящий в анналах так много воспетого и оплаканного мною.

Рит, две недели как мы расстались. Поувяли лепестки букета, что недавно радовал, а ныне навевает грусть. Самое страшное в приговоре суда – не семь лет и два ссылки, а то, что я здесь, за колючкой, а ты, жизнь моя, – там, без меня. После свидания придавило так, что ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Насколько я беспомощен, в той же мере и беззащитен, уязвим. А ты, глупыша, будто забыла о моих душевных каверзах: напоследок наговорила мне разного, понапророчила всякой черноты. В моих словах нет суда. По сути, ты не сказала ничего такого страшного, из-за чего повеситься можно. Нас и раньше многое отличало друг от друга, но когда любишь, невольно вменяешь человеку то, что носишь в себе. По причине вулканического темперамента, в проявлении чувств, в суждениях я всегда доходил до преде-

ла, а ты, тихоня моя, не такова: тебя отличает сдержанность и женская интуиция. У твоего дуросвета, подобных достоинств днем с фонарем не отыщешь. Ты, не подумав, проронила, а я как обидчивый мальчик замкнулся и все переиначил по-своему. Бывает, по склонности к самокопанию столько дохлых мышей натаскаю из подполья своей душонки, что и сам, отвернувшись, готов нос зажать.

Подытоживаю свой сумбур просьбой: «Будь со мной поделикатнее, не играй со спичками». Очень надеюсь на твою чуткость. Много раз прежде, когда винился перед тобой, слышал в ответ: «Алька, ты же знаешь, что я добрая, я не могу на тебя долго сердиться». Не сердись, и на этот раз прости меня...

Рад, что возвращение в Рязань многое напомнило тебе. С какой милой романтической изюминкой ты написала мне о незабвенном июльском дожде и подаренном мною букете флоксов... Особенно тронули строчки, как мы ездили на троллейбусе до безлюдной пристани, потому как там можно было безоглядно целоваться. Распрекрасное то было время!.. Помнишь, листья на память засушивали, сходили с ума в выдумках, встретившись, наговориться не могли?

Заканчиваю, остаюсь твой.

*Из письма от 11 августа 1972 г.*

*Озерное*

**Грустинка моя, чем же тебя порадовать?**

Вот разве: 8 августа разменял 4-й год каторжанского срока. Это тебе не хухры-мухры!..

У меня появился друг – Владимир Иванович, но чаще я именую его «Капитаном». В августе 68-го офицером-танкистом он оказался в мятежной Праге. Под впечатлением увиденного «башню» у него в другую сторону развернуло... В итоге мою годовщину отмечали вместе в Дубравлаге. Закусили припасенной на такой случай банкой шпротов, за чаем поговорили о том, о сем, погрустили. Выйдя из барака под небушко, битый час вышагивал вдоль «запретки», гоня всякие разные мысли в непутевой голове... Что ни говори, Ритэт, 3 годика мы с тобой переканючили. Любому со стороны немислимым покажется пройти шаг за шагом по нашему следу. Радость и мука в том, что ты, вопреки холодным ночам, ранним заморозкам, по-прежнему цветешь во мне кустом осенних хризантем. Ты была права, проронив в прощальный час свидания: «Алька, я тебя знаю, ты никогда не уйдешь от меня первым...»

Мои хризантемы дожили до снега,  
До белого праздника холода.  
И грустно мне видеть, как нежно и молодо  
Соседствует альфа с омегой.

Как сразу, зеленым и белым,  
Легла годовая черта,  
И смертных цветов красота  
Последнее чудо соделала.

Генрих Ибсен в старости записал в своем дневнике: «Власть первой любви над нами такова, что она намного может пережить саму способность человека на это чувство». А Бунин, вторя ему, заметил: «Даже когда мы перестаем любить свою первую женщину, до самой

смерти мы продолжаем любить наше чувство к ней». Предвижу, что подобное постигнет и меня...

В разливанно-солнечный апрельский день 68-го я забирал вас с Аленкой из роддома с ул. Полонского. Не выразить, что творилось в душе, когда бережно держал на руках нашу крохотную дочурку, завернутую в розовое одеяльце. В такси, то и дело при разговоре оборачиваясь к тебе, я видел на твоём почти бескровном личике пятнышки синячков – трогательные знаки страданий в час родов. В те счастливейшие из минут вы обе, весна, наша Рязань были для меня чем-то единопрекрасным!..

Смотри и удивляйся, «миленькая мамочка», как быстро подрастает наша Забава. В каждом из годочков она все больше будет походить на тебя. Вопреки амбициям мне, честно сказать, этого очень хочется. Представляешь, Ритэт, как ты мне угодила? Что бы не стало с нами, как золотые прожилки внутри драгоценного камня, наша дочь будет носить в себе частицу нас с тобой.

Прими за это мой признательный поцелуй. Твой Алька

*Из письма от 9 сентября 1972 г.  
Озерное*

### **Рита-Маргарита!**

Что интересного донести мне до слуха твоего из лагерной скудобы? Меня в составе стройбригады по-прежнему водят на работу за зону. Не сегодня-завтра объект закончим. Не без грусти придется расстаться с сестрицами-соснами, что тихо шумели вблизи от «запретки» за сараем.

Накануне дочитал Генриха Бёлля «Глазами клоуна». Боже, как свойственно людям жалеть самих себя. Но все меняется, если фоном для человеческой скорби становится другая душа – душа женщины, которая не разделила твоей взывающей любви. Такие вот книги, Ритэт, мне все больше попадаются... Психология людей мира сего: «Как мне любо, так и живу». Оттого-то Генрих Бёлль назвал наш век «веком проституции». В самом деле, чего проще: за удовольствие и жизненные блага запродать то, что по заповеди купле-продаже не подлежит. Кому интересно тяготиться воздержанием ради супружеской верности, которую в глаза никто не видел, а только в книжках про нее читал?

8 сентября... Полтора месяца назад мы остались один на один в убогой комнатке для свиданий. Я терялся, что делать мне с тобой: терзать расспросами, утопить в неге или избить за возможные и надуманные измены? Но мне, слабаку, не под силу было устоять перед очарованием моей смиренницы. С первых же минут я так запросто поддался ему. Затем во все три дня не смел и слова молвить вопреки...

Одно за другим приходят августовские письма. В них много слез, воспоминаний, в них ты прежняя, моя. Читаю, и хочется вместе с тобой плакать, – настолько они меня проникают. Когда мне случалось видеть, как маленькие частые слезинки вдруг начинали катиться по твоим щекам, становилось нестерпимо жаль тебя, и я, беспомощный, готов был сделать что угодно, только бы не видеть твоего по-детски несчастного лица. Хочется любить тебя по-мужски, сдержанно, отпивая по глоткам вино твое, радующее-утонченного вкуса. Открою маленькую тайну: отдельные твои письма, что я готов снова и снова перечитывать, хранятся в особой стопке.

Мама расхваливает Алену, что растет хлопотуньей, любит что-нибудь делать по дому, особенно ей нравится помогать бабушке на кухне. Видимо, деревенское жительство пойдет ей впрок. Светло позавидовал: как хорошо сейчас у вас в Полянах...

Близится осень, скоро за нашим огородом побагровеют трепетные листья осинника, поспеет на колких ветках терпко-сладкий терн. А в октябре ветряными ночами станет осыпаться листва с дубов перед домом. Мне нравилось в эту пору спать под тулупом на сеновале. Просыпаясь, видеть через распахнутую дверцу неброскую красоту среднерусских перелесков, подернутую утренней дымкой.

### ОСЕННЯЯ ЗЕМЛЯ

Последние листья, познавши одиночество  
На утонченной нагоде ветвей,  
Взирают грустно на упадок зодчества, -  
Удел безрадостный всех поздних октябрей.

Земля соцветий, уступив из робости  
Канунам и итогам плодородия,  
Имеет вид торжественной суровости,  
Столь неразлучный с моей скорбной Родиной.

И только небо, вечно осиянное,  
В своем порыве всех дарить надеждой,  
Пророчит ей обновы сребротканные  
И белизну, невиданную прежде.

## Под соснами за сараем

В начале лета 1972 года меня перевели из «швейки», с рукавиц, в стройбригаду. Появилась возможность после поднадоевшего однообразия зоны каждое утро выходить на целый день за ворота лагеря. Видеть людей, жизнь поселка, – все это приближало к безнадежно утраченному миру «воли». До стройобъекта нас вели колонной в сопровождении вооруженного конвоя с собаками. Передвижение строем, охрана – было делом привычным: они не могли помешать арестантской душе моей видеть и радоваться всему, что открывалось взору. Красный штакетник палисадников, за ним – обилие золотых шаров, чуть ли не до половины закрывавших окна с тюлевыми занавесками. И такие же, как на моей родной улице, спокойные строгие гусыни с подросшими гусятами, а по садам – осыпанные яблоки. Особенно радовали встречавшиеся по пути маленькие дети, любопытные лица мальчишек, тарачившихся на овчарок и автоматы солдат.

В то лето мы строили шестиквартирный деревянный дом для сотрудников лагпункта. Находился он почти впритык к лесу и был временно огорожен деревянным забором с двумя рядами колючей проволоки. Сторожевые вышки торчали не на каждом углу огороженного прямоугольника, а по диагонали. Бригада наша

была небольшой, человек 15-20, состояла в основном из стариков, а молодых вроде меня – всего-то 2-3 человека. Работа артелью, на новом, незатоптанном месте близ леса, приносило особое настроение, что я испытывал, когда мы с отцом отправлялись на лошади в Дальние Леса на сенокос.

К концу дня за час до развода мы собирали инструмент и, растелешившись по пояс, мылись, поливая друг друга на руки бодрящей прохладной водой из железной бочки. Для меня предстоящий недолгий часок был самым дорогим времечком. За тесовым сараем, где мы оставляли инструмент, спецовки, кое-какие материалы, у меня было облюбено местечко. Там меня ждали потаенные, только мне ведомые радости. Прежде всего, красавицы сосны... Не страшась постовых, они подступали почти вплотную к забору. Раскинув на густой траве фуфайку, я лежа упивался близостью их бронзовеющих стволов и вознесенных к небу вершин. Ничто не мешало мне снять надоевшие сапоги и почувствовать босыми ступнями травянистый дерн луговин. Вдоль дощатой стены сарая красовались вымахавшие на целый метр раскидистые лопухи. Можно было выбросить руку и притянуть к самому лицу большие, мягкие, пахнущие детством листья.

Памятуя, что ни одна живая душа не видит меня, я разговаривал вслух, улыбался, случалось, плакал. Опять же, за то время успевал написать 2-3 странички очередного письма к ней. Я и в голову не брал, что при этом были глаза, которые могли наблюдать за мной. То был солдатик-постовой на караульной вышке. Нас с ним разделяли какие-то 7 метров. Для меня, как и для каждого из эков, постовой был существом безликим. Он воспринимался с той же равнодушной отрешенно-

стью, как колючка ограждения, програбленная запретная полоса, лай сторожевых собак. В отличие от надзирателей, что следили за соблюдением режима внутри зоны, солдаты из роты охраны никоим образом не могли и не должны были сообщаться с заключенными. Со мной же случилось нечто необычное. После обеда, который нам привозили из зоны на объект, у зэков оставалось полчаса, чтобы отдохнуть и покомарить. Я же, по обыкновению, отправился за сарай с намерением дописать письмо. Едва расположился, и вдруг голос с вышки: «Слушай, все хочу спросить. Ты что-то пишешь там, пишешь и улыбаешься. Скажи, если не секрет, что пишешь, наверно стихи?» Отвечаю ему: «Нет, не стихи. Сочиняю письмо любимой девушке. Она далеко – в Караганде». «У меня тоже есть девушка, она сейчас в Саратове. Пишет, что ждет меня и моих писем. А я не знаю, что такого ей написать, тут все одно и то же. А слова, какие хочу сказать, я уже сто раз писал». «Не переживай, я тоже, бывает, мучаюсь. А когда примусь все-все вспоминать о ней, слова сразу находятся».

Мы доверительно перекинулись еще несколькими фразами. Он оживился, когда я сказал, что учился и получил срок в Саратове. Оказалось, что он даже что-то слышал о нашем деле. Потом он посерьезнел, замолчал и стал смотреть в другую сторону. Снова слышу голос с вышки: «Ты не подумай, что я немного «того»... А ты не мог бы прочитать то место, где пишешь ей о любви?» Как ни странно, его просьба несколько не удивила меня. «Ну хорошо, слушай», – сказал я чуть громче. Вместе с фуфайкой и неоконченным письмом я перекинулся поближе к вышке и стал выборочно вслух читать, что счел нужным. С удивлением заметил: мой голос и интонация звучали так, будто я читал ей самой.

Когда я замолчал, он, немного выждав, заключил: «Красиво так... Теперь я понял, почему ты улыбаешься, как дурачок. Она там от твоих писем как сахар тает. Но мне сроду так не написать. У нас в казарме ребята своим девчонкам в письма стишки из тетрадок лепят. Анжелке штуки 3 таких послал, как вроде сам сочинил. А она мне в последний раз сопли-то утерла.... Сказала, что эти стихи не раз читала. Пробовал сам сочинить, да фигня какая-то выходит. У тебя наверно лучше получается». Подчиняясь внезапно возникшей между нами откровенности, я стал читать свои стихи так, как то бывает за бутылкой вина с хорошим другом.

Родная алость губ твоих, дарящих  
Сладчайший вкус полночных поцелуев,  
Нетленной розой на лице твоём ликует  
И флейтою поет во след звезде летящей.

По-царски щедро ты мне завещала  
Наследье взглядов, слов, прикосновений,  
И пламень обольстительных коленей,  
И к вечной страсти восходящие начала.

Всесилью времени вовек не свергнуть  
Самодержавье глаз твоих влюбленных,  
К губам моим ладоней поднесенных,  
Хранящих нежность предпасхальной вербы.

На следующий день на вышке вместо душевного краснопогодника из Саратова дозор нес другой «вертухай». Видно, кто-то из стариков-бригадников «стуканул» о нашем лирическом общении.

Обратно с объекта ззков вели той же самой дорогой,

она нисколько мне не надоедала. Всякий раз в увиденном я опознавал нечто схожее с родными местами. У углового домика из красного кирпича с блестящей жестяной крышей радовали глаз три березы знакомо русского вида. Они поднимались к небу из единого корневища гладкими известково-белыми стволами и напоминали мне нашу сельски-пригожую улицу в Маклаково. На сердце приходил незабываемый летний вечер, когда после короткого теплого дождя мы вместе с ней вышли погулять. Воздух был напоен последождевой свежестью. Мы шли до самой околицы, загребая сапогами мокрую траву, и остановились у таких же дивных межевых берез. Прислонившись к гладкому стволу, я обнимал ее, вдыхая запах волос и чувствуя под тонким болоневым плащом влекущее тепло тела. С листьев в траву мягко падали крупные капли. Молодым и влюбленным, нам было невыразимо хорошо в сказочной немоте деревенской тишины. И только лай собак и звук пересекающих листву капель...

*Из письма от 12 сентября 1972 г.*

*Озерное*

**Ритэт, листочек мой березовый!**

Пришла она, долгожданная моя осень... Но не «очей очарованием», а пасмурной серенькой сыростью. Забрал из каптерки меховую душегреечку, что ты привезла мне на краткое январское свидание. Пока мы замороженно общались через стол, она грела твои плечики. Целую неделю после я ее под подушку подкладывал, чтобы от запаха твоих духов слаще было плакать

по ночам. Как ты поняла, Сенина на сантименты повело. В таком разе нет ничего лучшего, как поговорить о нашей улыбочке. Мы должны сказать ей спасибо, ведь она, аленький цветочек, воедино переплела наши разрозненные жизни. Вернусь к вам бородастым, но молодым и нежнолюбящим. Станем с ней по воскресеньям на детские сеансы ходить. А милоликая мама в красивом фартучке настряпает к нашему возвращению поджаристые оладушки. Растет невозможной говоруньей. В каждом письме наобещает мне всего-всего: и что бабушку будет слушаться, и что в Мордовию из деревни цветочков привезет. Очень понравилось ей подаренное мной платьице. Кармашек у него хоть и маленький, но удобный, она таскает в нем желуди и ягоды-рябинки. В Рязань возвращаться не хочет, собирается зимовать у дедушки Миши и бабушки Саши. Когда ты уехала, она очень скучала и каждый день ждала тебя с автобуса, спрашивая, когда вернется ее мамочка. Плохо, Рит, что мы все трое порознь...

Ритэт, как звездочета влечет интерес к ночному небу, так я готов неотрывно, с любованием следить за каждым твоим шагом... Представляю, как просто, но со вкусом одетая, ты появляешься утром на кафедре. Возвратившись к себе на исходе дня, в задумчивости стоишь с ложкой в руках у плиты, и совсем не о супчике невеселые думы твои. Поздно вечером в зеркале отражаются усталые глаза, рассыпанные по ночнушке пряди волос.

Рита, распрекрасный мой человечек, не слушай меня, полупомешанного ревнивца. Я в тебя верю, иначе поперхнулся бы всяким ласковым словом. От первой встречи до ареста была тысяча поводов узнать друг друга, проникнуться. Нас сроднила беспокойная жизнь

на ветру, всегда на пределе. Прикрой глаза и вспомни: московская осень, холодное дождевое стекло электрички, ты рядом на скамье в коричневом пальтишке, светловолосая, без косынки. В обоюдном миноре мы едем до аэропорта Быково. Держа твои ладони в своих, молчу и боюсь взглянуть на тебя, чтобы не видеть слезной дорожки по бледности твоих щек. Перед самолетом, сам не свой, стану утешать, осушая губами святые твои слезки. По прилету, в чужом холодном Саратове, обрыдаюсь в подушку от любви и жалости к тебе.

На закате, по осени, близость беды  
Ощутима в окрасе холодного неба,  
Так светло проступили босые следы  
Твоего легконогого майского бега.

Только голос пластинки наивно-лучист,  
И пресветлы Владимира крестные главы.  
А в немыслимом прошлом сияюще-чист  
Огонёк восковой закатившейся славы.

Представь, отложив письмо, я в это мгновение подношу к губам карагандинский листок, слетевший с ветки, что перед твоим окном. Ты – мучение мое, но не будь тебя на свете, какой серенькой и безотрадной была бы моя дорога по жизни.

Послушай, что здесь читаю и пролистываю.

Принялся за Глеба Успенского, его «Нравы Растеряевой улицы». Бунин высоко отзывался об этом писателе. И, правда, диалоги, словесные обороты колоритны, разговорно-подлинны, без видимых следов стилизации. Но в его подаче как-то безысходна, по-бытовому принижена жизнь тульских мастеровых. Одновременно читал

Лескова, стилист он несравненный. В описаниях природы и характеров – присутствие авторского обаяния и располагающей приподнятости. Послушай наставление, коим матушка-купчиха вразумляет своего великовозрастного, под дверной косяк ростом, сына: «Живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты, не доспеть бог тебе стыда-срама великого и через тебя племени укору и покосу бездельного» (из рассказа «Грабеж»).

В журнале «Звезда» за этот год из номера в номер публикуется роман-исследование Б.И.Бурсова «Личность Достоевского». Вводится много нового биографического материала. Для невзыскательного читателя позиция автора выглядит убедительной, хорошо аргументированной. Однако, недоумеваешь, видя, как Бурсов пытается дистанцировать Федора Михайловича от тем и вопросов, к которым он имел особое пристрастие. Взять хотя бы его неприязнь к полякам и католицизму, как к религиозной системе. Пусть он не был до конца воцерковленным человеком, но его душевный пиетет перед православием не подлежит сомнению.

Валентин Катаев в «Новом мире» после «Святого колодца» и «Травы забвения» поместил книгу воспоминаний «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Сделано мастерски, он многожды и не напрасно заявлял о своем ученичестве у Бунина. Некоторые куски выписаны как стихотворение в прозе.

Открыл для себя Юрия Трифонова. Он мастер психологически проникновенного городского романа. Не отрываясь, прочел повести «Предварительные итоги» и «Долгое прощание».

Недели две не выпускал из рук выбранные места из

«Переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Его вероискательство представлено там в подобии многосмысловой мозаики. Собранные под одну обложку небольшие статьи раскрывают искренность и своеобразие его христианства. Просмотри помещенные там суждения о русском духовенстве и очерк о его друге, художнике Вячеславе Иванове. Гоголь был необычайно скрытным человеком. Ближайшим своим друзьям, в искренности и расположении которых не мог усомниться самый завзятый привереда, он никогда не открывался в своих творческих и житейских помышлениях. Утаивая правду, Николай Васильевич большим охотником до мистификаций. Ему ничего не стоило самым серьезным тоном поведать о событиях, тут же, на месте, им выдуманных. С каким наслаждением он хохотал, если проделка удавалась!

Но наряду с этим Гоголь был человеком удивительной душевной чистоты. С.Т. Аксаков называл его святым. Последние месяцы перед смертью Николай Васильевич переживал необычный религиозный подъем. Он читает церковные книги, постится, часами беседует с протоиереем Матвеем Константиновским. С ним его познакомил граф А.П. Толстой, в доме которого закончились дни земной жизни Гоголя. От помощи врачей он отказывался. Общее истощение было таково, что через полость живота легко прощупывались позвонки. За 10 дней до смерти им были сожжены рукописи 2-го тома «Мертвых душ». В 1908 г. А. Блок назвал письмо Белинского к Гоголю «истерическим бранным криком». После он писал о «великом грехе» Белинского перед Гоголем.

На этом заканчиваю. Прими мои целования в твой светлый лоб.

*Из письма 28 сентября 1972 г.  
Озерное*

### **Здравствуй, Рит!**

Держу в руках листочки, долетевшие за три тысячи километров. В них – о ветряной карагандинской осени, одиноких вечерах за штопкой зимней одежды и хороших предчувствиях, которые не хочется прогонять. Нам действительно надо надеяться на лучшее, но при этом не следует обольщаться. Если Богу будет угодно, в ответ на твои неуверенно-робкие ожидания я, возможно, выйду отсюда раньше срока. Ради этого работаю, как вол, выкладываюсь сполна, выгоняю по полторы-две нормы (100-130 пар рукавиц за смену). В детстве мама меня иначе как лодырем не звала, а сейчас впрягусь на целый день и до развода не унять дурака. Устает спина, седалище отсиживаю, на некоторых пальцах ногти пробиты иголкой. Решил в октябре бешеный темп несколько посбавить, чтобы часа полтора на «променад» оставалось, иначе получается, свежим воздухом совсем не дышаю. Вечерами, отложив книги, журналы хожу-брожу под небушкой, о вас думаю. Вижу, как Алёнка в теплой кофешке, в запачканных на коленках чулочках обихаживает с бабой Сашей сад. Волоча за длинный черенок деревянные грабли, сгребаёт в кучечки листву под яблонями. Такая находит страдальческая радость!.. Выйдешь утром из барака – рань, туман, солнышко где-то за лесом в ладошки дышит, отогревается. А в это время моя засоня-женушка, торопясь к первой паре, делает себе перед зеркалом мудреную прическу... И уверяю: ни капли ревности, одно затаенное восхищение тобой.

С тюрьмы привычка осталась: сделается иной раз

тошно, ни на что смотреть не охота. Тогда ложусь на койку калачиком, укрываюсь с головой ватником и, Господи Боже, где я только в мыслях не побываю! То представлю свое нежданно-негаданное возвращение из зоны в нашу Рязань – как бы я улыбался в окно восьмого троллейбуса каждой липке вдоль Московского шоссе. Вот знакомый мост на Приокский. Единственный из пассажиров, я счастливо обомру, когда троллейбус медленно вползет на его пологий скат. Мне бы выйти у молодого парка, а оттуда не пойти, а побежать мимо парикмахерской, пятиэтажек из светлого силикатного кирпича к нашему дому через тополиный дворик.

Да, чуть не забыл рассказать... Видел во сне Аленку, будто мы оказались вместе. Но не в зоне, а вроде на воле, потому что было очень радостно, воскресно. Я присел перед ней на корточки и, боясь напугать сразу своими ласками, водил ее ладошкой по своей бороде и, улыбаясь, спрашивал: «Помнишь папу, похожего на Деда мороза?»...

Чем дальше разлука, тем неотвязчивее мое влечение к прошлому, ежеминутно переживаемому. Если два-три дня не пишу тебе, то кажется, что чего-то не хватает. Появляется неосознанное томление по хорошему. И как-то сразу приходит: «Господи, да написать Рите». Рассказать о той самой минуте, когда, сидя в своем закутке, я листаю альбом с каменно-рязанской стариной. Нахожу вид Кремля с церковью Покрова-на-Яру, представляю тот снежно-декабрьский вечер, когда, размахивая портфельчиком и чиркая каблукками сапожек о снег, ты со смехом тянешь меня за руку к заметному выступу Крепостного вала. Там, в затишье стен и развесистых вязов, целуя твои непослушные губы, я вдруг пойму, что это она – та, которую я ждал и искал.

\*\*\*

Ты осчастливила меня своим лицом  
Старинной, удивительной работы,  
И, осененный, я вдруг понял, кто ты!  
Замкнулись дни всерадостным кольцом,  
И в пушкинский октябрь вошли мы под вен-  
цом.  
Теперь апрель, его зеленый дым  
Клубится по весенним палисадам.  
И мне от жизни ничего не надо —  
Лишь только нежить дни теплом твоим  
И с любящим твоим встречаться взглядом.

\*\*\*

*Из письма от 5 октября 1972 г.  
Озерное*

**Азиатка моя чужедальняя, привет тебе!**

Отложены все дела и делишки ради того, чтобы представить твоему взору несуразную мешанину эпистолярного самовыражения. На 1 курсе юридического, одержимый учебой и созданием антисоветского подполья, я писал тебе на чем попало и где угодно: на тыльной стороне от твоих же конвертов, телеграфных бланках, обложках методичек. Конечно, была в этом доля юношеской бравады, желание удивить. Но в целом распирало торжествующее сознание, что мною любима не кто-нибудь, а большеглазая красотка, умница, студентка МГУ!.. Впрочем, сама она явно не скрывала, что умирает от меня. Но, оставаясь во всем истинной женщиной, знала себе цену...

Помню, на исходе новогодней ночи в Саратове, после клубного застолья, мы остались вдвоем в холостяцкой комнате моего общежития. Ложем нам стали два спаренных матраца на полу. На столе – привезенный ею коньяк, апельсины, большая плитка черного шоколада. В те часы мы все забыли в самозабвенном выплеске страсти... Под утро, лежа рядом в недвижном изнеможении, ты произнесла с нежной укоризной: «Сенин мой, ты хоть капельку понимаешь, что кто-то согласился бы полжизни отдать за возможность быть на твоём месте? А ты возлежишь, как молодой бог, и вижу, через минуту-другую заснешь, даже не поцеловав меня...»

Заметь, Ритэт, каждое из писем слагается из разрозненных эпизодов. Некоторые из них по экспрессии ничуть не уступают тем, что вошли в Саратовский калейдоскоп. Но, повторюсь, это только отдельные из них. К сожалению, зона приглушила прежнюю гамму настроений, да и откуда ей здесь взяться. Меню моих впечатлений выглядит донельзя скромно. Оттого-то, как привязанный, не могу и не хочу оставлять мое прошлое, красно-украшенное переживаниями. Замечаю, что стал меньше ревновать тебя: просто в какой-то момент понял, что если вовремя не остановиться, то изведу тебя и себя. Нет, вовсе не благоразумие мне то подсказало. Скорее бессилие и усталость.

Аленка шлет размалеванные цветными карандашами рисунки. Лучше всего ей удаются цветочки и домики. Жалуется, что мамочка так скоро уехала, мало побыла с ней в деревне. В Мордовию собирается зимой, в санях на дедушкиной лошадке. Пришли, пожалуйста, детских открыток.

Вышел на полчасика подышать. Небо по осени звездное, отыскал полярную звезду и представил, что ее

млечный свет достигает в эту минуту твоего незашторменного. Скорее всего, ты сладко посыпохиваешь. Тем и воспользуюсь: явлюсь тебе во сне и нежно-принежно приложусь к лепесткам твоих полураскрытых губешек.

Спи, ясная моя, а я минутку-другую побуду с тобой рядом.

*Из письма от 9 октября 1972 г.*

*Озерное*

### **Милая моя корреспондентка!**

Ты растрогала засушенными листиками и новыми карточками. Моя интимная фотогалерея сразу неожиданно пополнилась. Особенно впечатлила ласково-застенчивая улыбка на одной из них. При мерзопакостной погоде, что стоит на дворе, ее-то мне очень недоставало. В эту пору иногда находят приступы тягостных настроений. Вначале все хорошо: сентябрь, бодрящая прохлада, тонкое, как опавшие листья, предчувствие подступающей золотой осени. Но задождило, отсырела земля, отяжелело тучами небо, и такая мерлехлюндия на сердце находит... Во спасение от нее завариваю после ужина жестяную кружку бодрящего крепкого чая. Неспешно прихлебывая, полчаса провожу на койке возле тумбочки в своем уголке. Благодарю!

Тебе, рязаночке, будет интересно знать, что два вечера кряду листаю небольшую книжонку с ностальгическим названием «Солотчинские были». На бледно-зеленой обложке рисунок хорошо нам знакомой надвратной церкви монастыря. Книжка заурядная, не ахти

как написана, с черно-белыми фотографиями. Но с какой жадностью я считывал с ее страниц все связанное с этим дорогим для нас местом. Там помещен невзрачный снимок беседки, где работал наезжавший в Солотчу Паустовский. Тонкие полуоблетевшие деревья, покосившиеся приступки крылечка, замшелая, вся в листьях дощатая кровля. Пришло же кому-то в голову заснять все это безотрадно-поздней осенью... Но я-то доподлинно знаю, что там сейчас все по-иному. Среди хвойной гущи ельников золотыми нимбами светятся березки. Кто-то из жителей граблями сгребает в пышные вороха обильную листву подножий.

Надо же было мне родиться с мучительно-обостренным переживанием красоты мира! Память моя так устроена, что до словечка, до черточки помню события, которые спустя время вписывались на страницы нашей летописи. И, как наказание Господне, при моей-то жизнежадности – оказаться за решеткой, и при том в лучшую пору человеческого возраста. Каждый год заточения влетает мне в два по числу утрат. До сих пор не свыкнул с неотвратимостью срока. Не могу, как ни пытаюсь, приглушить остроту боли, – это выше моих сил.

Когда бывает не заснуть, представляю деревенский наш домик, мягкий свет за занавесками. Шумят на ветру старые дубы, осыпается сад. В натопленной горнице с розовым абажуром топает по ковровым дорожкам в вязаных шерстяных носочках наша непоседа-дочурка. Вот бы мне в сырой темени сада приблизиться к одному из окошек и, не выдавая себя, слышать ее шаловливый голосок, приглушенный двойными рамами. Представляю, и сердце заходится. Так тянет поутру, когда она, заспанная, вылеживается в постельке, пощекотать под одеялком ее нежнокожие пяточки.

*Из письма от 23 октября 1972 г.*  
*Озерное*

Рит, меня угораздило простудиться... Два дня провалялся в бараче, укрывшись поверх одеяла двумя фуфайками. Читать не хочется, настроение лазаретное.

В детстве мы ребяташками возводили в лесу шалашики. Старались, трудились с увлечением, но больше всего нравилось сидеть потом в его тесноте, душистой от наломанных веток и разостланной травы, и выдумывать разные небылицы. Представляешь, снаружи смеркает, лесная прохладца, а мы в своем укрытии сидим плечом к плечу на старом одеяле и без умолку болтаем. Заметил, когда наваливается болезнь, приходит ощущение слабости и оставленности. Хочется, чтобы кто-то пожалел, посидел рядышком, как раньше это делала мама. Во все время болезни невозможно как тянуло в шалашик...

Пять лет назад, поздним вечером 27 октября, закончилась наша скромная свадебная вечеринка, и мы остались одни в комнате. Запах от букетов, разлитого вина. Моя уставшая, белолицая невеста, полулежа на тахте, откинувшись на подушки и, слабо улыбаясь, не сводит с меня глаз. Уронив голову ей на колени, не отнимая губ от прохладных пальцев, я шептал: «Рита-Риточка, никогда-никогда не выпущу твоей руки из своей... Ты слышишь меня? Никогда-никогда...»

Перечитал твои письма за два последних месяца. Ты видишься в них поникшей, потерянной. Все выглядело бы иначе, будь я рядом. Тебе, слабышке, нужна мужская опора, неуемная расточительность моего любящего сердца. Два года назад ты успокаивала: «Пусть, Алёка. Чего уж теперь, раз это случилось. Зато потом мы

станем более бережны друг к другу».

27-е, вечер. В столовой киношку показывали. Смотрел и словно побывал в потустороннем мире. Как в чеховской «Палате №6», здесь забываешь, что на свете есть облетающие сады, маленькие дети, вечерние улицы города. Сидя в фуфайке и кирзовых сапогах на табуретке, всматривался в красочные кадры, и накопала обида, на всех и на все: «Где-то в том неведомом для меня мире и она, сидит вечером в гостях у подруги Натальи с красивой прической в кремовой вязаной кофте с пояском... Очень то ей нужен каторжник пропащий»... Корю себя за ревность – глупую, беспричиную, но обида не проходит.

Нам бы, Ритэт, пожить месячишко в деревне, по вечерам печку растапливать, чаевать, вести душевые бесконечные разговоры о нашей дочурке, о нас двоих. Мечта, как видишь, простовата. Но представишь, и такое тепло разольется по выстуженной душе.

Алена, малышка моя. Сколько солнца в каждой мысли о ней. Мама пишет, что растет она сущей бессеребряницей, подружкам своим готова отдать все до последней игрушки. Не так давно пришло понимание, что как мужчина, как отец созрел только теперь. К сердечному умилению добавилась тревожная ответственность за вас. Безрассудная романтика пятилетней давности обернулась бедой. Но из-за меня вы все страдаете безвинно. Когда в темноте «бью пролетку» по своей тропке, от жалости слезы не спросясь подступают, кажутся по лицу, и я не вытираю их, чтобы не заметили со стороны.

*Из письма от 9 ноября 1972 г.*

*Озерное*

**Ритэт, воробушек мой озябший!**

Сегодня второй день праздничных выходных. И надо же, пошел снег. Да какой! По-новогоднему обильный и лиричный... Минут пять как зашел в барак, находился до устали в ногах. Заварил чая и вот, растянувшись на койке, поджидаю, пока он хорошенько запарится. Предвижу, что письмо выйдет бело-зимним, поэтическим. Но посмотрим, как пойдет. Не зря говорят: «Загад не бывает богат». Не скрою, вчера, 7-го, было муторошно. Конечно же, я не забыл, как отмечают праздники на воле, и потому в голову всякая хрень лезла... Представлял тебя, красивую, в компании. Кто-то из рядом сидящих галантно за тобой ухаживает. Опять же какая вечеринка без танцев... Я бы и дальше сопли на кулак наматывал, но вовремя остановился. Весь день заучивал тексты Евангелия, молился, думал о вечном. Не хотелось видеть тебя чужой, враждебной тому лампадно-чистому образу, что светится во мне.

Десять минут назад любовался соитием воистину вселенского снегопада. Снежинки – творения женского рода: их легкость, загадочность, изящность полета рисуют во мне нечто возвышенное, чистое, недостижимое для очерняющего действия зла. Представилась Рязань, прошловековой фасад пединститута, юношеская радость при взгляде на город, убеленный первым снегом. Стройная первокурсница с непокрытой головой, смеясь, пытается отобрать у меня свои девчачьи варежки. Я вознамерился оставить их на память, заигрывая с ней. Даже помню какого они были цвета: светло-коричневые с темной окантовкой у запястья. Она торопится домой, – бабушка заболела, с готовностью провожаю через весь го-

род на 8-м троллейбусе. Всю дорогу, сидя рядом, я обречен любоваться ее полудетским профилем с обрезанными под челку прядями светлых волос из-под роскошного мохерового шарфа. Незабвенное своей наивной восторженностью начало нашей первой любви!..

Вселенское соитье снегопада  
Вершится, не взирая ни на что.  
Но взгляд твой не мерцает рядом,  
И нет его согласия на то,  
Чтоб сеяло снежинок мириады  
Вседарящего неба решето.

И этот мир, бедою поделенный  
На вызов мой и жертвенность твою,  
Покоится, снегами убеленный,  
Скрывая милую в чужом краю.  
Но бесконечно дорог он влюбленным,  
Мечтающим увидеться в раю.

Под снегопадом легче бывает прозреть духовную вертикаль, изыясняющую душе красоту святости. Начинаешь понимать молодых радонежских иноков, которые предпочли аскезу подвига пушистым ресницам юных московских боярынь. На Руси не было европейских органов: нам ближе царственный гул колокольных звонов над заснеженными градами и весями. Их звуки волнующе узнаваемы в начальных аккордах второго рахманинского концерта. Для русского сердца в их благовесте сокрыт Божий зов и предначертанный путь. Не загубите бесценные души свои, не разменяйте их на медные пятаки житейской суеты. Почему бы, услышав, человеку сразу не внять, не отозваться? Но нет, непременно через

смерд греховный, через падение Родиона Раскольникова и очистительные муки раскаяния. Я и раньше знал, что грех камнем тянет душу на дно, мучался, устыжался, уходил душой после всеразрешающего покаяния. Но подобно муравью, переползающему с травинки на травинку, не ведал, что надо мною есть Тот, кто свыше видит мои блукания и, сострадая мне, исподволь указывает верный путь. И однажды мне открылось удивительное, неправдоподобное: оказывается я Ему нужен, Им любим. Сколько себя помню, всегда ощущал в себе потребность боготворить, коленопреклоненно созерцать неотразимость красоты. Раньше лишь неясно сознавал, и только теперь понял, что источник и полнота ее... в Боге.

Отсюда, лада моя, мистические мотивы в моем влечении идеализировать и обожать.

...А снег все валится, валится... Где-то Леноська, уткнувшись носиком в холодное стекло, любитесь пушистыми ветками дедушкиного сада, а мама ее, разнаряженная, ходит по гостям, допивая вчерашнее вино. Знай, гулена, мое сердце в Лесной Поляне, с дочуркой, со стариками. Там меня помнят, любят и жалеют, поэтому они постоянно снятся мне во снах. Взаимость моих чувств дает о себе знать в слезах вечерних молитв.

Последнее время ото всех отдалился. Один как перст гуляю, наедине отмечаю свои сокровенные даты. Читаю много: Ключевского, историю Византии, Милюкова о русской культуре, но делиться прочитанным что-то не хочется. Душа, как судно, вмерзла в лед. И так до весны, до полый воды.

Прошу тебя, Ритэт, в завершении каждого письмишка не забывай делать для своего Иванушки-дурачка коротенькие приписки вроде недавней: «Не печалься, Сенин мой, я жду тебя».

...Не могу не сказать несколько слов про снег. Он царственно падает в смиренной тиши вечера и знать не знает, не помнит, как он был с нами заодно, когда, гуляя по убеленной Рязани, я покупал в кондитерской на «Подбелке» любимые тобой шоколадные батончики, чтобы губы твои холодные были слаще для моих безудержных поцелуев.

Многое можно утратить, чем-то поступиться, но вечно буду дорожить душевной молодостью, чтобы с чудачковатым запрокидом головы навстречу летящему снегу ощущать, как вместе с ним снисходишь ко мне и ты, небесно-призрачная, восхитительная, моя снежинка...

Мечтательной зимой очаровался город,  
Касаньем сумерек утешены дома,  
Покорно убралась дневная кутерьма  
В согретые теплом людские норы.

Над скопищем огней, дерев, порталов.  
Над хрупкостью неисчислимых жизней  
Вселенский колокол беззвучно виснет,  
Растроганно следя полет снежинки малой.

Оставайся, целую. Храни тебя Господь молитвами  
Пресвятой Богородицы.

*Из письма от 24 ноября 1972 г.*

*Озерное*

**Женушка моя легконогая!**

Рука не поднимается начать с эпистолярных баналь-

ностей – с расспросов о здоровье, погоде и родственниках. Тебе знакома чересполосица моих настроений. Так вот сегодня на душевном барометре – сплошной минор. Страдальческими фибрами своими я обеспокоенно ощутил, что последние полтора-два месяца ты будто почужела ко мне. Не обольщаюсь, тебя хоть казни, правды ты не скажешь. Сужу по твоим письмам и собственным предчувствиям: незапамятно долго тебя не было со мной прежней, любящей...

Выпадал снег, радовал, обидно стаивал и снова падал, по-зимнему надежный, хрусткий. Квадратный мирок зоны обречен на тягостное постоянство. Здесь мы закрыты, упрятаны от привычной людской жизни. Обманулись: подлинной человеческой жизни в зоне больше, чем где-либо. Спросит кто: чего же мне не достает? Не задумываясь, отвечаю: «Тебя, моей ненаглядной, и нашего маленького воробушка». В царские времена женам декабристов дозволено было приезжать к ним на рудники и жить рядом, в поселениях. Отчего же в наши дни так жестко? Да, век ныне другой, но человек все тот же. Объятия арестанта по-прежнему раскрыты для любимого существа. За забором острога – все та же тьма и неумолчный шум сосен. Вслушиваясь, удрученно подумаешь: какой год это длится, какой по счету век? Не забыть бы о том золотом веке, когда душа в душу мы жили в маленькой университетской комнатке на Воробьевых горах. Как уютно и мягко она озарялась розовой настольной лампой... Всему там было свое место: твоей шубке в прихожей, чугунному чайнику под тахтой, залистанным конспектам и бутербродам с колбасой на тарелочке. Неужто правда ты без ума любила меня, ревновала к Людке Бобровой, зареванная проводжала чуть ли не до трапа самолета? Отложил письмо и,

выдвинув ящик тумбочки, поднес к лицу зеркальце: не верится, что этот лобастый, бородатый человек с вечно вопрошающим взглядом и есть твой Алька, некогда одержимый любовью и идеями о мировом пожаре?

В одном из писем ты сказала: «Сенин мой, тебе гораздо труднее, – время и обстоятельства не считаются с тобой». Что ж, правдиво замечено. Оказавшись за ключкой, я угодил в капкан, жестко и больно защемивший мое жизненное право на самовыражение. Здесь дни, как карты в колоде – они все те же. И как их не тасуй – из игры не выйдешь. Бывалые зэки говорят, что через полтора-два года отсидки подступают беспокойство и нервозность: невесть чего хочется и неведомо куда тянет. По инстинкту самосохранения ищешь отдушину, озираешься: куда бы спрятаться от постылого однообразия. И представь, когда «жива душа калачика просит», Боженька его подает. Чудаковатый Диоген заключил себя в бочку, но именно там, в предельной стесненности пространства, смог по-настоящему поразмыслить и нечто для себя открыть. По письмам ты не могла не почувствовать перемен, происходящих во мне. Тебе то известно, как изменчивы ветры моих настроений. Но при этом вектор моих безудержных влечений неизменно устремлен в знакомую тебе обетованную землю с молочными реками и кисельными берегами. Видит Бог, всех вас, старых и малых, за пазушкой ношу и чем дальше, тем сильнее убеждаясь во взаимности. О том и пословица: «Свой своему поневоле друг». Рита моя, столько лет мы вместе и все это время разлука, как заклятье над нами.

Перед глазами саратовский почтамт, куда каждый день после лекций я приходил в ожидании твоего письма. Получив конверт, горя нетерпением, удалялся к по-

доконнику по которому проходила лучевидная трещина, напоминавшая букву «Л». Для меня она была графическим символом чувства, бесповоротно соединившего нас. Неспешно, сдерживая себя, я обрывал на короткой стороне конверта узенькую кромку. Извлекая листки, как цветы подносил их к губам в ожидании твоего запаха. Совершив лирический ритуал, принимался читать. Нечто похожее проделываю с твоими весточками, приходящими теперь уже из Караганды.

Спрошу тебя, гулену, что же ты ничего не написала на мои маниакально-настойчивые вопрошания, как ты провела ноябрьские праздники в Караганде. Для сумеречного сознания ревнивой природы твоего Сенина это вопрос отнюдь не праздный, – мне не дано забыть праздничные даты прежних лет. Всё вокруг было лишь декором взаимно сплетенной жизни, согретой безоглядным счастьем супружества.

В шестьдесят восьмом в этот день мы собрались у Люды Щербаковой на Бронной. Компания составила пестрая: из старых знакомых дай бог половина. Вино, веселье, споры, стихи наперебой, песни и романсы под началом Сашки Фатюшина. На тебе было изысканное рукодельное платье, украшенное бисером по рукавам и прямоугольнику закрытого лифа. Роскошные волосы ты собрала в необычную и вместе с тем аристократично-скромную прическу. Находясь «под шафе», я, дурсовет, приревновал тебя без всякого на то повода. Выйдя на лестничную площадку, мы пытались объяснить. Огорченная упреками, ты неожиданно для меня расплакалась... Вечеринка не утихала часов до 3-х, потом народ стал разъезжаться, расходиться, а мы, так и не примирившись, решили дождаться первого троллейбуса. Людмила проводила нас в комнату родителей, по-

ловину которой занимала двуспальная кровать. Там-то и разверзлись над нами розовые небеса заново пережитого чувства первой влюбленности. Еще не раз потом мы испытаем сладостный, всеразрешающий восторг взаимного обретения. Нечто подобное случилось и там, между четырьмя и пятью часами утра в спальне 5-этажного панельного дома на Бронной. Ну полно, пряничек мой медовый, иначе я сегодня не засну...

Рит, как я понял, ты почитываешь «Иностранную литературу». Дело неплохое, по сути невозбранное, но только в меру, дуся моя, в меру. Одухотворенность оставила Европу еще в конце средних веков, а на сей день там накрепко утвердился рационализм, чистоган и, как сказано в Евангелии, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». По этим дорожкам мы, русские, с Западом наперегонки не бегали и, надеюсь, не побеем. Для меня нет ничего превыше духоносного русского слова. Всякий ищущий обрящет здесь мятежность поиска, выстраданность веры и вселенскую глубину. Поэтому читай лучше наших великих соотчичей, – они на большее наставят. В западной литературе талантов хоть отбавляй, другое дело – какому божку они фимиам воскуряли. Уж больно суеты много, всё за курочками бегают, и один помысел – самим собой мир удивить. Огорчает, что даровитые люди, составляющие цвет западной литературы, в нравственном отношении выглядят сквернавцами и блудодеями. Не веришь? В таком разе зачитываю тебе список ... сифилитиков от литературы и искусства: Доде, Миларме, Тулуз-Лотрека, Гоген, Жерар Нерваль, Бодлер, Жюль де Гонкур, Ван-Гог, Мопассан, Ницше, Моне и т.д.

Жестоко, как видишь, я с ними обошелся!.. Но если сами себя не берегли, то мне сам Бог повелел беззлобно, но пафосно обличить их.

Мопассан был маниакальным клубничником и, как известно, на этой почве свихнулся.

Жорж Санд – чуть-чуть не бульварная дамочка. По крайней мере, так она себя называла. Под старость, правда, поуменьла – стала ратовать за семейные устои и сделалась ревностной католичкой.

Виктор Гюго до 30-х годов держался достойно, но потом сбился. В 70 лет соблазнил молоденькую горничную Мари Мерсье, жену погибшего коммунара. Взято из книги Андре Моруа «Олимпио или жизнь Виктора Гюго». В 75 лет Виктор оставался большим лакомником, хотя совесть начинала пощипывать. В черновике сохранилась комедия «Развращенный Филемон», в главном персонаже угадывается сам автор. Но, будучи одной ногой в могиле, начертал в своем завещании: «Бог. Душа. Ответственность. Трех этих понятий достаточно для человека. Для меня их достаточно. В них – сама суть религии. Я жил в ней. В ней и умираю...»

Кто мне нравится, так это Экзюпери. Но ему, бедняге, не повезло в браке: в жены взял взбалмошную, полусумасшедшую «штучку» из актрис. Поначалу души в ней не чаял, но скоро их веселое житье, с ее побегамии из дома и попытками самоубийства, вконец измотало его.

Ритэт, не прими всерьез всего, что я нагородил. Признаю, Запад оставил после себя немало значимого, общечеловеческого, – в этой части наследия его стоит читать и почитать. Но советую относиться к нему как к приготовленной рыбе: кости – долой, а прочее – с аппетитом.

А теперь я попотчую тебя содержимым моих записных книжек.

Ален (псевд. Эмиля Шартье, ум. в 1953), один из

крупных моралистов современности, писал: «Желать – значит рисковать и терпеть... Нет ничего невозможного: посвятите себя делам сегодняшнего дня, и тогда в границах человеческих сил и ваших собственных возможностей вы добьетесь того, чего хотите».

Шеллинг: «Быть в одно и то же время опьяненным и трезвым – в этом заключается тайна истинной поэзии». С другой стороны, помню совет Чехова, что за писание надо садиться с холодным сердцем.

Фома Аквинский: «Познание истины двояко – это либо познание через природу, либо познание через благодать». Русские умы, ведущие свою традицию от афоно-константинопольского монашества, твердо стояли за вторую половину изречения. Им по душе был постулат апологета церкви Тертулиана: философы полны человеческих заблуждений и пороков, Божья истина старше их, философы только искажают ее вследствие пристрастия к человеческой мудрости.

У Анатолия Жигулина вышел новый сборник стихов «Свет предосенний». Название дано по строчке его стихотворения:

«Тихое поле за логом,  
Чистый холодный овес.  
И за обветренным стогом  
Рощица тонких берез  
Родина! Свет предосенний  
Неомраченного дня.  
Желтым потерянным сеном  
Чуть золотится стерня»

Пиши чаще, чтобы нам не отвыкнуть друг от друга.  
Жду, твой Сенин.

*Из письма от 21 декабря 1972 г.  
Озерное*

### **Сосулька моя хрупенькая!**

В Богом забытой Мордовии навалило не скупясь навалило снега и ударили морозы. А до сих пор стояла не зима, а какая-то Евпатория. На дворе празднично, звёздно, снежок, как в детстве, под валенками поскрипывает. Леса за забором не узнать, по-зимнему величавый, что хоть шапку перед ним снимай. На душе необыкновенно молодо, и прошлое, где мы вместе, до странности приблизилось. Кажется, протяну в твою сторону руки, и вот ты стоишь передо мной, на снегу, по погоде закутанная, такая домашняя кулема. Губы холодные, влекущие, а шея, плечики и вся ты под шубкой, дразняще согрета. «Невозможный Сенин, что ты делаешь? Я же простужусь...»

Совестно, что тебя такую я огорчаю своими дурачками, ревнивыми намеками. Жаль, что драгоценное чувство к тебе переводится на никчемные и обидные для тебя измышления. Одним утешаюсь: «все минется, одна любовь останется». Ее, как дивное, выстраданное, сказание, мы оставим нашим детям и внукам. Хочу, чтобы моими глазами они увидели снежно-белый, безлюдный перрон подмосковной станции. И на фоне маленьких привокзальных елочек одинокую фигурку, в которой все, от сапожек, шубки, заиндевелого шарфа на голове, в свое время унесет с собой в вечность бессмертная душа моя.

За снежной белесью вагонного окна  
Смиренница-зима пощады ожидает,  
Но буйством белых выюг следов не замечает,  
Хоть чаша чар ее испита не до дна.

Мы скажем ей «спасибо», что она  
Тишайшим февралем нас тайно сочетала  
И муку белую разлук нам завещала.

Ты, нитку памяти в иголку продевая,  
Вдруг вспомнишь, под осеннее ненастье,  
Что век твой женский ночь та открывает,  
Где встретились две жизни в одночасье  
И, приняв мед любовного причастья,  
Как створки врат, в пространстве разошлись,  
Но сводом ласк и мук навеки обнялись.

Близится новолетие. Накануне, 31-го, следуя обряду, стану припоминать то душевно значимое, что останется в уходящем году. И, как повелось, воскрешая в памяти яркие, как новогодние открытки, воспоминания разных лет, буду грустить в одиночестве. В девять вечера, когда в твоей Караганде зазвучат куранты, выскочу полуодетый из барака на мороз и после слов молитвы за всех нас прошепчу, глядя в небо, нечто особенное для тебя. При этом представлю, что вдыхаю запах твоего свитера, теплой кожи под ним и услышу, как тихо, едва шевелящимися губами ты ответишь: «Милый, милый... Алька, ты мой милый... Я жду тебя»

Оставайся, помни обо мне. Неужели ты не видишь, с каким задыханием я тебя люблю?..

*Из письма 5 февраля 1973 г.  
Озерное*

Рит, из письма узнал и очень огорчился, что родные

твои вознамерились разменять квартиру в Приокском. Выходит, отныне не будет у нас дома, с которым меня связывают теплые, немеркнувшие воспоминания. Не забыть вечер, когда первый раз я позвонил в дверь квартиры номер 17, но оказалось, ты еще не вернулась из института. Своим обращением и экстравагантным видом перепугал твоих мнительных домочадцев, вообразивших Бог знает что. На мне было новенькое кожаное пальто, темно-зеленая шляпа, в руках увесистый модный портфель. Стоя при всем парадизе в передней, я по своему авантюрному обыкновению наплел им с три короба. Выйдя из подъезда, решил во что бы то ни стало дождаться тебя на троллейбусной остановке. То было время, когда я буквально потерял голову из-за студентки броской внешности с истфака. Ты изумилась, увидев на остановке в поселке своего нового обожателя, но еще больше ты удивилась и даже растерялась, когда я на полном серьезе заявил, что был у твоих и... сватался. Моросил препротивный декабрьский дождик, но, взволнованные и обрадованные встречей, мы решили немного прогуляться. В тот вечер наше амурное общение не обошлось без злоключений. Накануне я сдуру решил почистить свое кожаное пальто гуталином. Видимо, дождик сделал свое дело. Нежничая с «невестой», я не раз пытался обнять ее. На беду на ней было красивое пальтишко цвета светлой охры. В преизбытке чувств, сам того не замечая, я отделал его черной ваксой...

Рит, а наши зимние каникулы, когда мы съехались в Рязань: ты из Москвы, я из Саратова... Хорошо было возвращаться в знакомый мирок квартиры, где все напоминало и радовало. Давили крещенские морозы, на улице все стыло, шмыгало носами, а мы в неразлучном уединении проводили время в комнате с люстрой,

темно-бардовой тахтой и детскими куклами на подоконнике.

Опять же в той квартире родилась и ласковым лопушком подрастала наша Алenuшка... Грустно, Ритуля, признайся, грустно, что скоро все это станет не нашим, а чьим-то чужим... Людям вообще свойственна память о родовом гнезде, где прожиты годы и годы, а для меня, лирика, тема прошлого была и остается душещипательной... Вначале не стало старого моста на въезде в Рязань. Провожая тебя на троллейбусе до Приокского и возвращаясь обратно, я радовался про себя его приветно-знакомой арке. Тогда-то на каменной стене тоннеля, как мальчишка, вознамерился вывести краской буквы «Р.Л.!»: «Рит, люблю!».

Никогда не вернуться нам в Маклаково к плесу на речке Проне... А еще раньше выкорчевали заветный пень в сквере у филармонии. Одни утраты и ничего взамен...

Господи, поскорее бы наступила весна, а с ней ласковое тепло марта, сверкание капли, ожидание чуда. За зиму барак изрядно поднаеол. Кажется, весь день не уходил бы с улицы.

Славно, что ты недельку-другую побудешь в «рязанях». Не покидает чувство, что любимая моя Ритатуля рядом, совсем близко от меня, и от того спокойнее на душе. Не надо переводить стрелки на три часа вперед, зная наверняка, что в эти дни мы оба живем по московскому времени. Рит, услышь и поверь, я тоскую по тебе так, будто всего час назад тебя оторвали от меня. Перед глазами не образ, а ты, как в прежней жизни, улыбаешься, поправляешь прическу, машешь мне в окно, когда я уезжаю в город. Представляю, как тебя ждали в Полянах мама с Лёнкой. Каждый день к приходу автобуса из

Шапка грели для тебя валенки и посматривали в окно, не идет ли в шали и с сумкой озябшая мама Рита. Вижу, как с радостным визгом встречает тебя Алёна во фланелевой пижамке и валеночках на босу ногу. Мама хлопотливо собирает на стол, в доме тепло от натопленной печки...

Ритэт, я вознамерился, помимо литературных обзоров, знакомить тебя с краткими эссе на тему: «Вера в жизни и стихах русских поэтов». Список открывает Ломоносов.

Выходец из простого народа, разносторонними талантами он перед всем светом засвидетельствовал, какие недюжинные силы сокрыты в даровитом русском крестьянстве. Жизненный подвиг и научные открытия Ломоносова общеизвестны, чего нельзя сказать о его религиозных воззрениях. «Псалтирь» и «Часослов» стали первыми книгами, по которым пытливый мальчик из Холмогор учился грамоте. Высокая поэтика Священного Писания и церковных служб покорила его сердце, восприимчивое к знанию и красоте. Влияние матери, дочери сельского дьякона, и уклад жизни набожного поморского крестьянства заложили в нём основу твердой веры. Во всех перипетиях жизни она не покидала его, укрепляя в трудностях и испытаниях. В детстве и отрочестве Ломоносов любил петь в церковном хоре. Среди прихожан считался непревзойденным чтецом молитв из «Часов» и «Апостола» (посланий святых апостолов).

Полученные впоследствии научные познания не сделали его скептиком и вольнодумцем, как то случалось с учеными мужами того времени. В этом отношении Ломоносову помог Вольф, его заграничный учитель, ученый философ, который предложил учение о предуспа-

новленной Богом гармонии мироздания. Вернейший путь примирения науки с верою Вольф видит в изучении природы, архитектором и художником является Творец. Михаил Васильевич многое воспринял от любимого учителя: он свято уважал основы религии, но признавал и права разума.

Ломоносов вырос среди величественных картин русского Севера, с его дремучими непроходимыми лесами, беспокойной стихией Белого моря, огромными, в полнеба, сполохами северного сияния. Став большим ученым, проникая в тайны вещества, он во всем провидел Богом данную законосообразность Вселенной. Основы своей веры он сообразовывал с наукой. Ломоносов говорил: «Создатель дал роду человеческому две книги: одной показал Свое величество, а в другой – Свою волю; первое – видимый сей мир, вторая – Священное Писание».

Питая интерес к трудам отцов Церкви, таких, как Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, видя их стремление примирить науку с верой, он восклицал: «О, если бы в их время известны были изобретенные недавно астрономические орудия и открыты тысячи новых звезд! С каким бы восторгом проповедники истины возвестили о новых свидетельствах величия, мудрости и могуществе Творца!»

Поражает библейская исполненность образов, которыми изобилуют его духовные оды и переложения псалмов.

«Светило дневное блистает  
Лишь только на поверхность тел;  
Но взор твой в бездну проникает,  
Не зная никаких предел.

От светлости твоих очей  
Льетса радость твари всей.

Творец! покрытому мне тьмою  
Прости премудрости лучи  
И что угодно пред тобою  
Всегда творити научи,  
И на твою взирая тварь,  
Хвалить тебя, бессмертный царь»

Жизненные восхождения Ломоносова, его беспримерная неутомимость в трудах, духовные и научные озарения зримо свидетельствуют, что все возможно в Господе. На примере его жизни ободряюще звучат строки некрасовского стихотворения, обращенные русскому школьнику:

\*\*\*

«Скоро сам узнаешь в школе,  
Как, архангельский мужик  
По своей и Божьей воле  
Стал разумен и велик»

\*\*\*

*Из письма от 5 марта 1973 г.  
Озерное*

Рита моя, беспокойно ждал письма от тебя. Наконец-то оно приходит, и что я узнаю, – ты попала в больницу! Во мне так все и перевернулось! И раньше, когда ты заболела, видеть тебя ослабшую, бледненькую было для

меня мукой. Сам готов был трижды за тебя переболеть.

Рит, среди заключенных и «стариков» есть опытный врач. От него я узнал, что ревмокардит в молодом возрасте совсем не опасен. Нечто похожее вычитал и в медицинской энциклопедии. Ради Бога, не переживай за последствия, тебе лет-то – совсем ничего. Пролечат, и снова будешь бойко стучать каблучками по институтским коридорам. В эти дни, пока ты в больнице, стану тебя сильно-сильно жалеть и просить Господа о твоём выздоровлении. И вот увидишь, скоро поправишься и перестанешь хандрить. Рит, на следующей неделе вышлю денежки. Как положено больнуше, на соки и фрукты. А еще хочу спросить, но отвечай по честности: может, следует бабушке прилететь к тебе? У меня есть возможность оплатить перелет хотя бы в одну сторону. И умоляю, – пиши мне из больницы по возможности чаще, иначе я здесь изведусь.

Продолжаю вечером. В Караганде около десяти. Моя больнуша в палате, скучая, полистывает книжку. Ей не терпится поскорее сбежать отсюда в маленькую обжитую светелку на бульваре Мира.

Вспомнил, как в марте 67-го года решил на свой день рождения лететь к тебе в Москву. Заранее был куплен билет, но в день отлета затучило так, что пришлось его вернуть и катить на поезде. Наутро, проснувшись в вагоне, в ожидании Рязани вышел в грохочущий, выстуженный тамбур и простоял часа полтора. За стеклом перелески, почти нетронутый весною снег, а в тамбуре я, без вина пьяный в свои 20 лет. Сердце тает от единственной неотступной мысли о ней, что с каждой минутой все ближе и ближе ко мне... Войдя в университетскую комнату, увидел тебя, сидящую с поджатыми ногами на тахте, простуженную, вконец заждав-

шуюся... Вечером, в полумраке мы пили вино с халвой, шутливо обмениваясь бокалами. В разговоре я не без упрека посетовал, что «кто-то» забыл поздравить меня с Днем рождения. Ты стала оправдываться с простодушием школьницы: «Алька, не можешь себе представить, что во мне творилось, пока я ждала тебя... Когда ты вошел, я все на свете позабыла. Прости, за это я тебя сто раз поцелую» И, обняв, стала целовать и гладить меня, как надувшегося мальчишку.

Мне нравились наши шатания по Москве. В громадности города моя влюбленность сияла сознанием причастности к седому прошлому той большеглазой девочки, стучавшей каблучками рядом со мной.

Вспомни, как покупали пельмени в киоске на проспекте Вернадского. Девушка, подавая нам коробку, с улыбкой заметила: «Наблюдала за вами, как, стоя перед витриной, вы что-то обсуждали, и про себя загадала: если влюбленные – попросят конфеты, купят пельмени – значит женаты». Мы все трое рассмеялись, и я попросил, чтобы она добавила пакетик с фруктовым драже.

Вся непостижная Москва  
Струилась дивным хороводом,  
Кружили голову слова,  
Дух возносившие под своды.

Был тих февраль, как никогда,  
И вместо сретенских метелей  
Шептали сонно провода  
Признанья нежные капелей.

И ты, танцующе-стройна,  
Шла припорошенным бульваром,

А мной владела мысль одна:  
«И это мне досталось даром!»

Бедняжка моя, мне право совестно, что я не даю тебе в письмах покоя ревнивыми прибабасами. А в те дни как-то и не к чему было терзаться, просто любилось и жилось. С разлуками, горечами, но жилось.

...В первую весну в зоне, а весна здесь ощущается радостно и вызывающе, просматривая альбом по «Третьяковке» поразился картине Рериха «И мы открываем врата». На ней, в проеме распахнутых монастырских врат, вместе с позолотой надвратной иконы Пресвятой Богородицы, простиралась утренне-туманная даль весенней оживающей земли. Щемяще близок был мне уединенный затвор обители, ограждённый каменными стенами и зовущая, бередящая душу ширь земли моей, русской земли!..

Помню темень и сырость мартовских вечеров, одинокое исступленное вышагивание вдоль «запретки», в бессилии обуздать и заглушить мятежное буйство сердца. Как утешение оставалась сладостная и жуткая возможность опрокинуться памятью в детство. Вспомнить ветрянную ночь холодной ранней весной, дедушкину избушку среди шумящего леса, фитилёк лампадки и бессонное изумление восьмилетнего мальчика.

Расшибаясь о деревья,  
Ветер, темный и сырой  
По заброшенным кочевьям  
Шарит лапой травяной...

...Поздравляю с праздником Благовещения, весенним и чистым! Ему посвящаю отдельную страничку.

Немного сказано о Матери Иисуса Христа в Евангелии. Но если бы о Ней и не было написано ни слова, человечество всегда хранило бы память о Пречистой Деве, Которой суждено было стать сокровенным сосудом Боговоплощения.

Когда однажды осиянный Ангел явился Ей, удивленной и потрясенной, и возвестил, что именно Она, Мария, родит долгожданного Мессию, – смиренное сердце Ее возликовало. Она радовалась не тому, что именно от Нее родится Спаситель мира, но тому, что наконец-то Он явится людям, ожидавшим его, и укажет путь спасения от зла.

В простоте сердца приняла Она благовестие от Архангела Гавриила. И как ни удивительно было это известие для Нее, Она во всем доверилась Богу. О Ее вере так написано в Евангелии: «Блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа».

Мы никогда не перестанем изумляться детской вере смиренной девушки из маленького, захолустного Назарета. Сколько материнского самоотвержения и повседневного участия было проявлено Ею за тридцать лет жизни под одним кровом с Сыном!

*Из письма от 6 марта 1973 г.*

*Озерное*

Рит, по всей видимости, в конце марта отправят на больничку. Дело в том, что сегодня у меня выдернули зуб. Представь, первый. Поздравил себя с невеселым почином. Положив руку на сердце, на зубы я не жалуясь, они у меня от отца – крепкие, здоровые. История

с зубом такова: на втором курсе перекусывал в буфете чаем с пирожком, а в нем, - о юродство! - попался камешек. Он, злосчастный, был сокрушен одним жевательным движением, но ползуба - как не бывало. В Рязани я несколько раз его подлечивал, но, в конце концов, он не устоял, - развалился. На больничке поставят «мостик», но ради этого придется проваландаться там 2-3 недели. Нет худа без добра: передохну, отойду душой и телом, и заброшаю тебя оттуда по-весеннему приподнятыми письмами.

Рит, прошло 2 недели после известия, что ты обретаешься в больнице. Ждал, надеялся, что хотя бы через неделю ты отпишешь мне все в подробностях. Но минула неделя, десять, двенадцать дней, а от тебя ничего, Сенин твой, испереживался, пребывая в неведении. Рит, ну ты же могла написать хотя бы несколько слов, ведь душа-то болит, она не железка... Что до меня, то я здоров и резв, как годовалый теленок. Молю Бога о скором твоём выздоровлении и верю, что Он не оставит тебя.

Отправил перевод на 50 рублей. Перед отъездом отчину еще 40. В ближайшие дни напишу и передам прошение о помиловании. С нетерпением жду весточки.

Как и обещал, хочу порадовать тебя очередным очерком из рубрики «Вера в жизни и стихах русских поэтов». Речь пойдет о Гаврииле Романовиче Державине.

Автор знаменитой оды «Бог», в мощных аккордах слова и смысла запечатлевший Предвечного, родился на свет слабым и хилым. Опасаясь за его жизнь, малютку пришлось, по тогдашнему обычаю, обкладывать тестом и ставить в остывающую печь. По рассказу его матери, когда младенцу едва исполнился год, по небу над армейским поселением, где служил офицером его отец, шла большая комета. Подхватив ребенка на руки,

она выбежала на крыльцо, чтобы дитя увидел небесное диво. Знаменательно, что первое слово, произнесенное в ту минуту мальчиком-несмышленишем, было слово «Бог». Через сорок лет, благодаря оде «Бог», он делается известным не только России, но и всей Европе.

Вот что узнаем мы из истории создания оды от биографа обширного труда о жизни Державина Якова Грота. Она была начата поэтом в 1780 году в светлое Христово Воскресенье, по возвращению с Пасхальной заутрени. Но дела службы и столичная жизнь долго не давали ему снова приняться за нее. Вышедши в отставку в феврале 1784 года, для завершения оды он решил на короткое время уединиться. Сказав жене, что едет в свое белорусское имение, Державин остановился в Нарве и там на несколько дней снял у старушки-немки маленькую комнатку. Запершись, он без устали работал над ней несколько дней кряду. Доказательством того, как воображение его было разгорячено, может служить рассказ об окончании оды: не дописав последней строфы, уже ночью, Державин заснул перед зарею. Вдруг ему показалось, что кругом по стенам бегают яркий свет, слезы ручьями полились у него из глаз, он встал и при свете лампы разом написал последнюю строфу:

«Но если славословить должно,  
То слабым смертным невозможно  
Тебя ничем иным почтить,  
Как им к тебе лишь возвышаться,  
В безмерной разности теряться  
И благодарны слезы лить»

Говоря о нравственном облике Державина, следует, прежде всего, сказать о присущем ему чувстве неис-

тового правдолюбия. Оно сделалось причиной многих житейских огорчений, но, с другой стороны, завоевывало уважение даже тех, кому явно не по душе приходилась эта черта его натуры. Праведная нетерпимость ко всякой несправедливости объясняется не только врожденными свойствами его характера, но и тем горьким опытом, который он приобрел, будучи еще 12-летним мальчиком. После смерти отца, бедного армейского офицера, корыстные соседи оттягали у несчастной вдовы часть и без того небольших усадебных земель. Мать Державина, женщина робкая и малограмотная, в поисках управы долгое время обивала пороги судов и разного рода чиновников. Привожу скорбные воспоминания самого Державина о том времени: «Мать, чтобы хоть где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выхода: но, когда они выходили, то никто не хотел ее выслушать порядочно, но все с жестокосердием проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали». Эти сцены на всю жизнь врезались в память впечатлительному мальчику. Много лет спустя, занимая посты губернатора, сенатора, министра юстиции, Державин в своей деятельности будет назидаться печалью и слезами матери, всегда и во всем отстаивая святую правду. Он всю жизнь не мог равнодушно сносить обид и притеснений, чинимых вдовам и сиротам. Потому так впечатляюще звучат строки переложенного им 81 псалма Давида:

### **ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ**

Восстал Всевышний Бог, да судит  
Земных богов во сонме их:

Доколе, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков...

Назначенный тамбовским губернатором, он и здесь проявил неуступчивость к мздоимству и неправосудности, процветавшим в тогдашнем чиновничьем аппарате. Действуя так, он очень скоро нажил себе немало врагов как среди подчиненных, так и среди высших сановников. В результате их козней Державин был отдан под суд, но в итоге вышел оправданным.

Состоя статс-секретарем самой императрице, Гавриил Романович с присущей ему наивностью решил, что, имея доступ к самой властительнице, он сможет открыть ей глаза на произвол подданных. Он надеялся, что непосредственным обращением к Екатерине даст справедливое разрешение многим судебным делам. Гавриил Романович, например, представил ей одно из самых запутанных дел того времени, которое привезли из Сибири на трех доверху нагруженных подводах. Неумеренная ревность секретаря-обличителя припала не по нраву государыне, и вскоре он был переведен в Сенат.

Александр I, не желая сносить поучения Державина,

удалил его с поста министра юстиции в отставку.

Переживши немало разочарований и огорчений, он последние годы провел в своем новгородском имении. Деревенское уединение способствовало душевному покою, творчеству, молитвам и думам о скоротечности и бренности жизни. Сам он всегда старался прожить ее по-Божьи.

«Река времен в своем теченьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы»

*(Г. Державин)*

## Святая Пасха

Всякий праздник являет собой радостное или скорбное переживание евангельских и церковных событий, духовно значимых для человека. Лагерный народ, в большинстве своем, был верующим. Из стариков религиозной ревностью отличались литовцы-католики, западенцы-униаты, армяне и некоторая часть православных из русских. Хотя дата западной Пасхи чаще всего не совпадала с нашей, но те и другие с искренней благосклонностью поздравляли друг друга с Пресветлым Праздником. С утра после подъема в бараке и на улице, ээки, приветливо улыбаясь, встречаясь, возглашая: «Христос воскресе». Услышав в ответ «Воистину воскресе», крестились и троекратно лобызались. Вслед за тем по обычаю следовали поздравления и пожелания. После ужина собирались и отмечали пасхальное торжество землячествами: русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, прибалты. На братскую трапезу приносили в складчину, что у кого было. Чаю по такому случаю заваривали вдосталь, целое ведро. Перекрестившись на иконку, не стройно, но воодушевленно пели пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых смертью смертью поправ, и сущим во гробех живот даровав». За чаем, угощаясь и беседуя, читали стихи, пели любимые народные песни. Общение было про-

никнута дружелюбием и настроением праздничности.

Вспоминаю Пасху в 17-й «большой» зоне весной семьдесят второго года. По обыкновению в 7 утра дневальный по секции на всю громкость включал радио, что означало подъем. Наши православные из стариков – Виктор Константинович Орлович, Николай Дюжий, еще двое, бородатых, одетых во все выходное, с засвеченными лицами уже пошли по секциям. Открывая двери, радостно возглашали: «Христос воскрес! Всех вас, братья, с Пресветлым Праздником! После завтрака сердечно приглашаем в «сушилку» на Пасхальную трапезу! Непременно приходите, дорогие, ждем вас!» В «сушилке» из трех столов составили один, от порога до окна. На нем – угощения из пряников, конфет и печений. По центру стола – ведро умеренно крепкого душистого чая, который политзэки, в отличие от чифира, именовали «Байкалом». Орлович, худенький, сутулый, вместе с Колей Дюжим всех любезно потчуют, то и дело доливая черпаком из ведра в общую кружку. После отпитых двух она по кругу переходит от одного к другому. За столом радушное оживление, не покидающее чувство духовной общности.

Столько лет прошло, но всякий раз, отмечая Праздник праздников и Торжество из торжеств, вспоминаю зону, печалуюсь, что душе недостает прежней полноты светлого переживания того дня...

## ВОСКРЕСЕНИЕ

Опять на святцах – русская весна.  
И снова Ты, оставив Вифсаиду,  
Идешь туда, где, выместив обиду,  
Тебя собьет глумливая волна.

Но, Господи, отныне и навеки  
К подножью вознесенного креста  
Березы юные, творя святой устав,  
Печально клонят шелковые ветви.

И малых рек студеная водица,  
Все слезы непросохшие вобрав,  
Смешав их с благостью пасхальных трав,  
Тебя зовет на землю возвратиться.

Чтоб навсегда, животворя творенье,  
Превозмогая запустенья срам,  
Вознеся к небу бело-синий храм  
Пресветлого Христова Воскресенья!

*Из письма от 28 апреля 1973 г.*

*Озерное*

**Милая Рит!**

Пишу утром, на зорьке. Еще и шести нет, даже солнышко из-за леса не появилось. Зато вот он я, сидя на перевернутом табурете под знакомым тебе тополем, кутаюсь в фуфайку от утренней свежести. Грызу кончик ручки, теряюсь, чем бы таким тебя удивить. Уезжал на «больничку» по сыпучим снегам, а вернулся к одувачикам и птичьему щебету. Весна, она нас не спрашивает, пьянит, будоражит. Но успокойся, женушка моя, помыслы мои в эту минуту чисты, как утренняя роса. Иначе стрелку моего бешеного темперамента клонило бы в сторону притягательного магнитика, носящего одно имя с тобой. И тогда я за себя не ручаюсь: разго-

вор наверняка перейдет на белые плечи и кружева твоих ночных рубашек. Благоразумия ради, поверну стрелку к дорогим сердцу соснам и одуванчикам.

Доложу, что отныне трудиться буду на стройке. Когда по лету заявишься, под кожей будут играть бицепсы, и ты взмолишься о пощаде, оказавшись в моих объятиях. Если получится со свиданием на май, я, соплюша, от радости вознесусь на седьмое небо.

В продолжении темы о христианских мотивах в русской поэзии на этот раз расскажу нечто о Жуковском.

В русской литературе вряд ли найдется подобная Жуковскому личность, в которой христианин так ярко просиял бы в поэте. По свидетельству современников, он целокупно вместил в себе смиренномудрие, душевную чистоту и деятельную любовь к ближнему. Он писал: «Бог есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота; все противоречащее добру, правде, истине, красоте есть отрицание Бога... Что есть назначение человека на земле? В одном слове: восстановление падшего в нем образа Божьего...»

С самого появления на свет, он, казалось, был обречен на неизбежную приниженность своего положения. Жуковский являлся незаконнорожденным сыном орловского дворянина Бунина и пленной турчанки Сальхи. По воле Неба, он сделался не просто поэтом первой величины, но другом и благодетелем многих поэтов пушкинского окружения. Наделенный умом и светлостью, Василий Андреевич удостоился стать воспитателем наследника престола, будущего царя-освободителя Александра II.

Душевная открытость и добродетельность характера дались ему солёным потом терпеливого христианского самосовершенствования. В итоге почти все, знавшие поэта, могли сказать о нем словами апостола: «Вера со-

действовала делам его и делами вера достигла совершенства» (Иак,2,22).

«Господь! Господь!  
В беде моей жестокой  
На небеса Твои с надеждой, с верой  
В тоске, в слезах я душу посылаю!  
Всесилен Ты — тончайшей паутине  
Тебе легко дать крепость твердой стали;  
Всесилен Ты — тройным железным узом  
Тебе легко дать брэнность паутины...»

В любых жизненных ситуациях он отдавал предпочтение воле Божьей. Глубокое, всезахватывающее чувство молодого Жуковского к Маше Протасовой натолкнулось на решительный отказ ее матери. Долгие годы он жил надеждой и что только не предпринимал ради этого брака. В конце концов, они с Машей решились покориться. Жуковский вспоминал: «Та минута, в которую я для этой цели решил пожертвовать собой, была восхитительна...» Пережив ее замужество, а затем и раннюю смерть, он будет неустанно заботиться о ее дочери. До гроба его не оставляла печаль молитвенного воспоминания о своей возлюбленной.

Когда выходила замуж сестра Маши Александра (прототип его Людмилы), Жуковский в приданое бедной невесте продал свое именье, доставшееся ему в наследство от крестного отца, и составлявшее все его богатство. После смерти Александры, когда Жуковский сам намеревался создать собственную семью, он продает другое имение, купленное ему книгопродавцем Поповым, а вырученную сумму разделил между тремя дочерьми покойной.

Жуковского справедливо называют ангелом-хранителем русской литературы. Благодаря его хлопотам был возвращен из ссылки Пушкин. Баратынский обрел утраченную по юношеской провинности гражданскую дееспособность. Заступничеством Жуковского была облегчена участь Герцена, чего Николай I долго не мог простить ему. За деньги от продажи своего портрета работы Брюллова был выкуплен из крепостной неволи Тарас Шевченко. Надо заметить, что сам Жуковский за сорок лет до официального освобождения крестьян дал вольную крепостным, купленным для него вышеупомянутым Поповым. Он делает все возможное для освобождения от рабства поэта Сибирякова, крепостного архитектора демидовских заводов Швецова, матери и брата литератора Никитенко.

Приближенный к царскому двору, Жуковский не сделался придворным лизоблюдом и угодником, – жертвуя собственным благом, он часто идет на все в желании помочь другим. Жуковский любил повторять: «Все в жизни – к прекрасному средство».

Взгляд на природу и назначение искусства воедино связан у Жуковского с его христианским мирозерцанием. Красоту он определяет как видение и слышание Бога в творении.

«Чист душой ты был вчера,  
Ныне действуешь прекрасно,  
И от завтра жди добра:  
Бывшим будущее ясно.  
Будь не солнечен наш глаз –  
Кто бы солнцем любовался?  
Не живи Дух Божий в нас –  
Кто б Божественным пленялся?»

Послушай, Ритэт, какое удивительное определение поэзии он дает в одном из своих стихотворений:

«Будь тверд, душою не дремли!  
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли!»

*Из письма от 24 мая 1973 г.*  
*Озерное*

В последнем разобиженном письмице больше всего тронула приписка, что ты стала часто видеть меня во снах. Читал и глазам своим не верил, это не иначе, как к моровой язве. А если без зубоскальства, ты согрела меня своим признанием. Чем же, скажи, мне ублажить тебя? Лето цветет. В тишине окрестностей лягушачий благовест. Так бы никуда и не уходил, все бы слушал, да беда: комары, огари они проклятые, докучают. Иной раз в сердцах подумаешь: лучше бы квакушки этих кровососов глотали, чем напрасно глотки драть, но такое сорвется под конец, когда и наслушаешься всласть, и веткой намашешься до усталы, отбиваясь от них.

В воскресный вечер четыре года назад в Рязани мы вместе с Людкой Бобровой дожидались начала спектакля в фойе драмтеатра. С самодовольным видом я зрел, как полроты молоденьких курсантов лупят глаза на моих очаровательных спутниц. У одной из них, большеглазой пышноволоосой блондинки поблескивало на пальце обручальное колечко. Утром я провожал ее, опечаленную расставанием, к электричке до Мервина. В ней, из всех самой красивой, всё было сродни апрель-

ской свежести того раннего часа. В нарастающем шуме электрички обещал ей, что каждый вечер буду звонить, считать дни до пятницы и встречать приду непременно с букетом.

### Прощание

Последние слова, колёс вагонных скрип,  
Дрожащих губ кричащее молчанье.  
Как смертник ко кресту, я к ним приник,  
Чтоб твердо и светло принять колесованье.

Вагон пошел, руки прощальный знак  
Усталым голубем трепещет и белеет,  
Комок внутри подкатывает так,  
Что душит криком и слезой синеет.

Сегодня в рубрике «Жизнь и вера русских поэтов» тебя ожидает краткое слово о Пушкине.

Духовная и жизненная емкость евангельской притчи о блудном сыне во многом приложима к судьбе нашего национального гения. Данный ему свыше редкий поэтический дар в годы своей молодости он обращал к темам не всегда достойным. Душевная пылкость и чувственность не позволяли ему провидеть очертания духовных сущностей, менее всего зримых в эту пору человеческого возраста. Трудно чем-то другим объяснить школярские богохульные дерзости молодого поэта. Именно они стали причиной его ссылки и последующих житейских стеснений.

Позднее, с удивительной образностью и лаконизмом он выразил бессилие человека, не способного без Бога противостоять неотразимому искушению греха.

«Напрасно я бегу к Сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам...  
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий»

Познав, каким спасительным якорем является вера, он восклицал: «Стократ блажен, кто предан вере!..» Врачующая сила времени, внутренняя предрасположенность к правде, сделали зрелого Пушкина великим поэтом. Его перо возвестило Европе о самобытной русской литературе, ставшей отражением духовных исканий нации. Несомненно, вдохновение поэта было питаемо из источника вечной красоты, добра и любви, которым был и остается наш Господь: «Веленью Божию, о муза, будь послушна...»

Душевным обаянием всякий из нас обязан небесному отсвету красоты, способной тронуть и засветить каждого.

«В дверях Эдема ангел нежный  
Главой поникшею сиял,  
А демон мрачный и мятежный  
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья,  
На духа чистого взирал  
И жар невольный умиленья  
Впервые смутно познавал.

«Прости, – он рек, – тебя я видел,  
И ты не даром мне сиял:  
Не все я в небе ненавидел,  
Не все я в мире презирал»

В последние годы в духовно неустроенной жизни поэта обозначилось возрастающее влечение к религиозному утешению.

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит –  
Летят за днями дни, и каждый час уносит  
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем  
Предполагаем жить... И глядь – как раз – умрем.  
На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля –  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег»

Перед кончиной Пушкин исповедовался, причастился, благословил жену и детей. О его внутреннем просветлении свидетельствует тот факт, что он простил Дантеса, который, по сути, стал причиной семейного позора и трагической гибели поэта.

*Из письма от 9 июля 1973 г.*  
*Озерное*

Июль – макушка лета. Все вокруг проникнуто полнотой и довольством природной жизни. В этом году особенно чувствую его райскую прелесть. После ужина запариваю чай в привезенном тобой термосе, набираю что-нибудь из чтива и, прихватив для умиления фотоальбом, отправляюсь за барак на травку. Кстати, последняя Аленкина карточка мне вначале как-то не глянулась, а потом присмотрелся и нашел ее прямо-таки художественной. В жизни она по-детски милее, а тут в облике

схвачено нечто взрослое, чуточку печальное... Славная моя непоседа, как она запомнилась в последний приезд: повзрослела, с ней интересно стало говорить... Мне бы ей книжки по вечерам читать, в зоопарк водить. Раньше после подобных сетований оптимистически добавлял: «Ничего, все наверстается». Нет, сударь, однажды упущенное не восполнишь... Ну а ты, Ритэт, как тебе в деревне? Вижу, как ты передвигаешься по дому, льноволосяя, в летнем халатике, и кончиками пальцев вишни с блюдечка в ротик отправляешь.

Отпросила бы ты меня у лагерного начальства на недельку к родным осинам, в наши сельские «Палестины»... Сколько бы я отдал, чтобы оказаться рядом с тобой в домике под дубами. Мы спали бы в саду под открытым небом: запах меда от ульев, стрекот кузнечиков и отдаленный гул машин с Моршанской трассы.

Воистину непостижимы пути Божии и человеческие. Вижу тебя восемь лет назад беспечной девчонкой-гимнасткой, с соломенно-золотистыми косами, с легкой играющей походкой... Могла ли ты тогда, в наивном ожидании счастья, заглянуть в бездонные, недобрые глазища судьбы? В первую ночь нашего свидания в зоне, помню, я давился в глухих рыданиях, терзая подушку, а рядом сидела и успокаивающе гладила меня по плечу поникшая женщина, мой печальный ангел, моя неиспитая радость.

Поволокой пасмурного неба,  
Беспросветным дождика литьём  
Я казнюсь за то, что ещё не было  
И за то, что поросло былъём.

Цвет весенний к жизни возвращая,  
Не в ладах с седую головой.

Я, как клен осенний, облетаю,  
Охру разбросав по мостовой.

Словно мальчик, выпустивший руку,  
Я рыдаю, сдавленный толпой.  
Ты рванись на жалобные звуки,  
Зацелуй, заплачь, закрой собой.

Годы несбывшейся жизни горьким осадком отлагались в голубые кристаллики боли. Они цвета наших глаз: твоих – заплаканных, и моих – оставших.

Смеркается, посвежело. Вернулся в барак. Вы с Лёной где-то совсем рядышком, всего-то семьдесят километров по прямой. У вас тот же ласковый вечер. В саду мама разожгла под таганом костерок – согреть воду, чтобы всё семейство непременно помыло бы ноги перед сном. Так уж было заведено. Передо мной на тумбочке еловая шишка. Ее как бесценный подарочек принял от своей дочки. Тут же крохотный носовой платок, что я извлек у тебя из сумочки перед самым уходом со свидания, и привезенный тобой термос. При прощании я принял его из твоих рук и легким касанием приложил его к твоей щеке, провел по шее, заведя за спину, подставил его под поток распущенных волос. Видя твое удивление, я пояснил: «Рит, через минуту мы расстанемся. Со мной не будет тебя, милых мне рук, губ, волос... Пусть останется осязаемая память от их прикосновений. Термос, всегда нужный мне, будет со мной до конца срока».

...Рит, помнишь, в МГУ ты посещала на филфаке лекции по истории русской литературы XIX века? Из интереса к ним ты пропускала свои, исторические, что были в расписании. Зато там ты узнавала много интересного, чем увлеченно делилась со мной. Настал мой

черед радовать тебя... Слушай же.

Жизненный путь обаятельнейшего русского поэта Ивана Ивановича Козлова (1779 — 1840 гг.) подтверждает евангельскую истину, что страдания нередко посылаются нам во спасение. Принадлежа по рождению к высшей московской знати, наделенный от природы умом и видной наружностью, разносторонне образованный, он быстро и легко восходил по лестнице чинов и отличий. Имея блестящее положение в обществе, будущий поэт, может быть, никогда бы не пережил того обращения к вере и творчеству, не случись с ним несчастья, перевернувшего его жизнь.

В 1818 году паралич лишил его ног. Вскоре он стал слабеть глазами и через три года ослеп совершенно. Потеря ног и зрения, поразившие Козлова в зените жизни, сделались роковым крушением его надежд и устремлений. Но вместе с тем промысел Божий обратил душу его к непреходящим ценностям. Вот как свидетельствует об удивительной выдержке Козлова в то черное для него время его преданный друг В.А. Жуковский: «Глубоко проникнутый смирением христианским, он переносил свою участь с терпением удивительным, и Божий промысел, пославший ему тяжкие испытания, даровал ему в то же время великую отраду: поразив его болезнью, разлучившей его навсегда с внешним миром и со всеми его радостями, столь нам изменяющими, Он открыл помраченному взору его весь внутренний, разнообразный и изменчивый мир поэзии, озаренный верою, очищенный страданием».

От него мы узнаем, что Козлов не впал в безнадежность, не похоронил себя как личность: за годы слепоты овладел еще тремя языками, помимо французского и итальянского, которые знал с детства. Обладая феноменальной памятью, поэт читал наизусть всего Байрона, поэмы

Вальтера Скотта, лучшие места из Данте. Но наибольшее утешение он получал из молитв и Евангелия, которые знал на память. Именно они дали ему силы и терпения превозмочь 20 лет слепоты и телесной неподвижности.

«...Не страшны мне мои страдания:  
Они залог любви святой;  
Но дай, чтоб пламенной душой  
Я мог лить слезы покаянья.

Взгляни на сердца нищету,  
Дай Магдалины жар священный,  
Дай Иоанна чистоту;

Дай мне донести венец мой тленный  
Под игом тяжкого креста  
К ногам Спасителя Христа»

Скрытая поэтичность его природы, заглушаемая житейской суетой, заявила о себе в утешительной отраде слов и слез, согретых верой. Стихи он диктовал дочери. Первое стихотворение было опубликовано в 1821 году. В тот год он в конце ослеп, утратив возможность радоваться красоте мира.

Из стихотворения, посвященному В.А. Жуковскому:

\*\*\*

«О, друг! Поверь, Единый Бог,  
В судьбах своих непостижимый,  
Лишь Он, Всесильный, мне помог  
Стерпеть удар сей нестерпимый!...»

\*\*\*

## Мое окно

За день мне по несколько раз приходилось возвращаться в жилую секцию барака. Войдя, привычным ходом направлялся к своей койке с тумбочкой. Внешне все выглядело вполне обыденно, но только для стороннего взгляда. Во все годы неволи внутри меня, в хрустальном коконе души, тайно жидился незримый сокровенный мир. Его не вечерний свет мягкими бликами облегчал безысходность нечеловечески долгого срока. С постоянством, подобным биению сердца, во мне возникали и затихали волнующе знакомые голоса и звуки. Как кадры из любимых фильмов, оживали лица и события. В душе, подобно цветомузыке, совершалась тончайшая игра настроений. По утрам я просыпался под звуки гимна и в течение целого дня до отбоя был подчинен предписанному укладу жизни. Мне было бы ни за что не выжить там столько лет, не будь теплого свечения животворящей любви к ней, доченьке, родным, к незабвенному обаянию надолго оставленной жизни. Помимо жесткого ритма моего существования, имелось скрытое ангельское водительство. Среди серости и однообразия оно проявлялось в раскрасе впечатлений, в обогащении смыслом, в надежде, светлой, как полоска зари. При подавленности лагерным образом жизни оно стало для меня истинным спасением. Я душевно сла-

бел, пугался, чувствуя, как едва проступает пульс благоговеющего соотклика тому, что было дорого моему изболевшемуся сердцу.

Воистину «царство Божие внутри нас есть. И употребляющий усилие обретает его». Ради этого я внутренне следовал установленному ритуалу. Благодаря ему мне удавалось поддерживать живую связь с сокровенным миром пережитого.

Представьте, взглянуть хотя бы одним глазком на Царство Небесное я мог... через барачное окно. Оно зазывно светлело рядом с моей койкой и тумбочкой. Вид, открывавшийся из него, являл взору, не больше и не меньше, – написанную, чудотворную икону соснового бора. Чтобы вид его не сделался обыденным, не затерся, я всякий раз, направляясь в свой угол, внутренне готовился заново поразиться умиротворяющей душу картине. Делая первые шаги от двери по проходу в сторону окна, сознательно старался до времени не смотреть в него. Подойдя к тумбочке, привычным движением выдвигал верхний ящик, где рядом с записными книжками и молитвословом лежал самодельный блокнот. На серо-коричневой картонке-обложке была приклеена маленькая фотокарточка, с которой на меня, улыбаясь, смотрели Рита и Алена. Бережно задвинув ящик, я не торопился поднять глаза. Постепенно взгляд мой двигался вниз от подоконника, по траве пригорка, тропинке, пробитой ногами эзков, к бетонным столбам с рядами «колючки». Далее, с нарастающим нетерпением, выше по частоколу забора к неотразимому видению царственно величавых сосен и влекущему взор небу с каравеллами облаков. Заворожено и легко, как во сне, я входил вглубь лесного массива, наполненного запахами смолы, ягод, редкой травы и низовой поросли. Не прикрывая глаз, я

видел нас с ней среди солотчинского бора в то последнее, горестное лето перед арестом.

*Из письма от 20 августа 1973 г.*

*Озерное*

Идут дни, невозвратные мои денечки. Происходящее, будь оно великим или малым, видимым или незримым, сторает в них, оставляя сыпкий пепел воспоминаний. За 4 года я втянулся в обыденный неспешный ход времени. Грустно только, что постепенно забываешь о садах, где тяжелеет антоновка, рязанском небе с врезанными силуэтами вечерних храмов, о домашних запахах. И даже ты, моя милолика, все чаще видишься мне как бы в дымке, оставляя боязливую тревогу самой невозможности забвения.

Ты где-то далече, а рядом август – приветливый печальник и старинный мой друг. У него для меня клумбы поздних цветов. Им, как девушкам, зябко в его лонных ночах. А днями он пишет неброские акварели спокойными, мягкими красками небес и земли. Август неизменно радует, успокаивает, ему доверяешься... Вытянешь руку и кожей осязаешь невидимый ток тепла, легкость паутины. Он ничего не обещает, а всего лишь понимающе говорит: «Рита, Алька, хотя бы на часок вернитесь к песчаному плесу с редующим ивняком на речке Проне. Там 7 лет назад я протянул вам свои прохладные ладони. И до сих пор, закруженные жизнью, вы с ней не можете забыть прикосновения тихой моей любви». Ты, русалочка, осталась в нем лунной дорожкой. Куда бы я ни уклонялся, ее светящаяся полоска смирен-

но тянулась за лодкой. Да, я дурил, с размаху ударял по глади воды веслами. И она билась в испуге, но, постепенно успокаиваясь, неотступно следовала за мной.

19 августа. Преображение Господне. С друзьями-единоверцами отметил Яблочный спас. Непостижимым образом к скромному застолью явились они, румяно-налитые яблочки! Перед трапезой сотворили молитовку, прочитали тропарь празднику и отведали по несколько сочных и хрустящих долек.

Дочь наша, со слов бабушки, ждет мамочку в деревню, потому как ей за грибами не с кем ходить. Дядя Миша как-то дал ей важнющее поручение: сбегать через овраг в магазин за сигаретами. Она так волновалась и когда возвращалась с покупкой и сдачей в кармашке, всем знакомым, кто ее окликал, поясняла, что она при деле и, мол, некогда ей разговоры разговаривать. Рит, подумать только, ее ножонки ступают по траве-мураве той земли, где я родился, возрстал, познавал себя и Божий мир... Помнишь, я рассказывал тебе, что в детстве, временами, меня охватывала беспричинная тоска. Неотвратимые сумерки, холодная роса на траве, чувство неприкаянной затерянности в предвечернем тускнеющем пространстве заставляли меня искать утешительного тепла. Детским сердечком я ведал, к кому и в какую сторону мне нужно бежать; знал, что по дороге снизойдет на меня желанное успокоение. Босоногий, в застиранных сатиновых штанишках, я бежал через овраг к домику бабушки и дедушки, жившим в лесу при пасеке. Страх и сырой холод, наполнявшие овраг, превозмогались и как бы утрачивали свою силу, когда я припускал по тропке в гору. Меня ждала лесная избушка с заваленкой, бузиной под окнами, с влекущими запахами жилья, напеченных оладьев и старых дедушки-

ных книг. Переступив порог, я постепенно согревался и успокаивался в уюте скудного быта, с ласковым кругом от керосиновой лампы на потолке. Мне было невообразимо хорошо среди обнадеживающей, таинственной сопричастности малого сего к Богу и вечности.

Застигнутый бедой, в холоде одиночества, я и ныне ощущаю себя плачущим мальчиком, ищущим Господнего тепла и покоя.

...Мою читательницу в этот раз ожидает рассказ о Федоре Ивановиче Тютчеве, его жизни и вере.

Яков Полонский в стихотворении «Памяти Ф.И. Тютчева» писал: «Оттого ль, что в божьем мире красота вечна, у него в душе витала вечная весна...» Мысль, глубина и поэтическая образность многих стихов поэта поражают своей впечатляющей силой. Вдохновение, их породившее, можно отнести единственно к небесному Дателю возвышенной одухотворенности. Биография и душевный склад Федора Ивановича в значительной мере объясняют содержание его творчества. Возрастание в барской, по-московски хлебосольной семье одалило Тютчева не только отрадным детством, но и основательным по тем временам образованием. Мать Екатерина Львовна, урожденная Толстая, отличалась набожностью. В доме говорили в основном по-французски, но обычаи родной старины и церковные обряды хранили свято. Воспитателем будущего поэта стал С.Е. Раич, знаток классической литературы, недавно закончивший семинарию. «Его трогательное бескорыстие граничило с наивностью, его беспредельная преданность искусству могла многим показаться смешной», - Валерий Брюсов о Раиче. Тютчев обязан ему не только развитием выдающихся поэтических задатков, но и усвоением животворной евангельской истины, которой была

проникнута вся мягкая обаятельная натура его наставника. В будущем известный поэт и издатель, Раич прожил жизнь, подобно птицам небесным: не заботясь о завтрашнем дне, поэтому старость встретил в большой бедности. Благодаря ему, Тютчев настолько овладел классической поэзией, что в неполные 14 лет опубликовал перевод Горация. За него он был удостоен чести войти в число сотрудников Общества любителей российской словесности. Столь блистательное начало, казалось, обещало обильные публикации и скорую известность. Но поэтический парадокс Тютчева состоял в том, что слава пришла к нему на склоне жизни. Сказалась непритязательная натура поэта: всю жизнь он писал в основном для себя. Его мощный дух, чуткий до самого затаенного в душе и природе, проникал в умопомрачающие глубины мироздания. Поэтический отклик поэта нуждался в запечатлении, как сухая земля в дождевой влаге. Каждое стихотворение похоже на выскерк молнии, выхватывающий из тьмы ощущения и образы, неповторимые в своей гениальности. Многие стихи Тютчева удостоились называться шедеврами мировой лирики.

По словам Владимира Соловьева: «Сам Гёте не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия; не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, природной и человеческой». Но при всей одаренности полное небрежение к славе сопровождало поэта до самой смерти. Стихи писались им где попало, на случайных клочках бумаги, нередко терявшихся. Сам он ровным счетом ничего не предпринимал для их публикации, большинство расходилось в списках. Во время 20-летней дипломатической службы в Германии

первую подборку стихов переслал в пушкинский «Современник» его сослуживец – князь Гагарин. Восторженный почитатель поэзии Тютчева, он по приезду в Россию изумился, что поэта совсем не знают на родине. Пушкин, оценивший восхитительную самобытность переданных стихов, разом опубликовал все 16 стихотворений. Случай небывалый в литературной практике.

Первый сборник Тютчева подготовил и издал в 1854 году И.В.Тургенев. Он, к удивлению многих, заявил, что Тютчев самый выдающийся из поэтов настоящего времени. 2-е издание вышло в 1868 году. Участие самого автора заключалось в том, что он не возражал против замышляемого издания. «К рубежу 40-50-х гг. относится начало широкой известности Тютчева, которой он сам не искал, и которая пришла к нему как бы против его воли», - Валерий Брюсов. Равнодушие к славе может быть объяснимо обостренным сознанием тщеты и ничтожности всяких земных величаний. Душа-христианка уберегла его от подобных оболещений. По возвращении из-за границы в 1842 году, молва о нем, как о необыкновенном острослове и интереснейшем собеседнике, сделала имя его притчей во языцах. Петербургские салоны спешили наперебой заполучить к себе Тютчева. Блестящие острофы поэта, рожденные в захватывающих полемических импровизациях, передавались из уст в уста, облетая великосветские гостиные.

По воспоминаниям славянофила Ивана Аксакова: «Выдающейся преобладающей стихией Тютчева была мысль. Он не только никогда не знал пресыщения, но сытости никогда не давала ему никакая умственная трапеза».

Незадолго до смерти, разбитый параличом, Тютчев изумлял посещавших его ясностью и прежней притяга-

тельностью речей. В вере он находил утешение и целительную силу для мятежно-болезненного человеческого духа.

\*\*\*

«Пошли, Господь, свою отраду  
Тому, кто жизненной тропой  
Как бедный нищий мимо сада  
Бредет по пыльной мостовой...»

\*\*\*

## Сестра Галина и брат Михаил

У родителей нас, детей, было трое. С сестрой разница в возрасте составляла полтора года, а Михаил был моложе меня на 5 лет. С раннего детства жизнь в деревне предполагала посильное участие каждого из нас в работе по дому и помощи родителям по хозяйству. Всякий год засаживали огород картошкой и овощами; в саду, под яблоней, располагались ульи отцовской пасеки. Держали много скотины: помимо коровы и овец, водили гусей, уток, кур, одно время даже кроликов. Летом требовалось накопить в достатке сена на зиму, заготовить дрова. С конца октября до начала весны и первой травки всякой животине два раза в день следовало давать корм, напоить, почистить в хлеву навоз. Колонка была от дома далековато: воду приходилось возить на тележке во флягах, либо носить ведрами в руках. Сообразно возрасту и навыкам у каждого из детей имелись свои обязанности. Отец с мамой сами работали без усталости и нас с малолетства приучали к труду. К примеру, Михаилу нравилось заниматься с пчелами. Подрастая, он, благодаря отцу, основательно поднаторел в этом деле и стал хорошим пчеловодом. Сестру мама воспитала чистюлей, Галинка охаживала нас с братом мокрой тряпкой, когда мы с мальчишеской беспечностью, не разувшись, топали по только что вымытым полам.

Как девочка, она любила цветы, с охотой занималась в саду и огороде. Впоследствии она неспроста избрала профессию педагога-ботаника. Мне от вологодского деда-плотника передалось тяготение к дереву, плотничным и столярным работам. Благодаря наследственности и природной одаренности, все мы хорошо учились, несколько выделяясь среди сверстников инициативой. Мама рано привила нам охоту к чтению. Ее стараниями наша домашняя библиотека постоянно пополнялась. Всякая новая книга была у нас, детей, нарасхват. В общении с Михаилом я, на правах старшего брата, делился новыми идеями и рассуждениями о прочитанном. Он имел натуру впечатлительную, ранимую, что проявлялось в максимализме подходов и чрезмерном эмоциональном отклике. От отца брат перенял дар рассказчика, слушать его было одно удовольствие.

Начиная с 1966 года, когда Михаилу исполнилось 14 лет, я отчасти открывался ему в своих радикальных политических убеждениях. С моей подачи он прочел «Письмо Ф. Раскольникова к Сталину», «Обращение к вождям» Солженицына, статью Черниченко «Русская пшеница», «Бюрократия XX века» Юрия Корякина и отдельные работы Ленина. Михаил с юношеской доверительностью воспринимал наши крамольные идеи, и скоро мы стали почти единомышленниками. Из конспиративных соображений я не сообщал ему о создаваемой подпольной организации, но кое-что все-таки проскакивало в моих революционных речениях.

Известие о моем аресте потрясло и душевно сломило брата. Он болезненно переживал обреченность наших радикальных замыслов, мое заточение, горькие последствия, затронувшие семью. На какое-то время он утратил всякий интерес к жизни, родители впоследствии расска-

зывали мне, как они тайком присматривали за ним, опасаясь, как бы он чего с собой не сделал. В годы моей «отсидки» брат раза два приезжал на общее свидание, изредка писал, пересылал стихи поэтов серебряного века.

К Гале я всегда относился сердечно, встречая с ее стороны понимающее участие. Характером она вышла в маму. Переживательная, часто до трепета, до бессонницы, рачительно домовитая, с неизменной готовностью жертвовать собой ради детей, мужа, родителей. Работая в рязанской прокуратуре, частенько заходил к ней пообщаться и перекусить. Она жила в общежитии пединститута на Полонского, одной из самых живописных и любимых мною улочек Рязани. Сестре нравилось угощать меня, по доброте своей она никогда не отказывала в просьбе отчинить в долг немного денежек. Заполучив искомую десятку, я благодушно заверял, что как только стану генеральным прокурором, сразу все верну.

Сестра ничего не знала о моей «антисоветской деятельности». Памятуя о свойственных ей душевной трепетности и мнительности, я тем самым старался уберечь ее от ненужных волнений. Однако они ее, бедняжку, не миновали. Гале пришлось немало пережить не только за своего безрассудного братца, но и за себя. Первое огорчение пришло после моего конспиративного «прокола» с антисоветской работой, которая попала в КГБ. Вскоре за тем отца вызывали в органы для объяснения. Мама и сестра места себе не находили в тревоге за меня. Скоро о случившемся узнали Рита и ее домашние. Помню, в конце марта 68-го, сразу после того, как меня выставили с юрфака МГУ, Галя по просьбе родителей приехала в Москву. Каким-то образом мы оказались с ней на станции метро Фрунзенская. Стоя у колонны красновато-коричневого мрамора, Галя плакала во все время наше-

го тяжелого разговора. Держа меня за руку, всхлипывая, повторяла: «Олег, с тобой что-то должно случиться... Мы все боимся за тебя. Ты слышишь? Боимся!»

В скором времени обстоятельства сложились так, что сестра невольно оказалась вовлеченной в рискованную политическую игру, затеянную нами, безрассудными «борцами за правду». Дело в том, что в 1968 году началась печально известная «пражская весна». Демократизация в Чехословакии, как мы полагали, подтвердила наши политические прогнозы о скором кризисе партийно-бюрократической системы в СССР и странах социалистического лагеря. Из Петрозаводска, где созданием антисоветского подполья занимался Саша Учитель, должен был отправиться на учебную стажировку в Прагу близкий ему по взглядам человек. В Рязани решено было передать с ним фотопленку с программными работами нашего движения. Мы были уверены, что они придутся как нельзя кстати чешским реформаторам. Кассеты с фотопленками вмонтировали в три куска мыла, и встал вопрос: кого использовать в качестве курьера? Возникло затруднение, так как стояло лето: пора каникул и отпусков. Тогда-то я предложил в качестве кандидатуры свою сестру. Не посвящая ее в курс дела, придумали версию. По моей настойчивой просьбе Галина отправилась поездом в Петрозаводск и все доставила по назначению. Возможно, уже тогда сестра о чем-то догадывалась, но с появлением новых обстоятельств она, конечно, многое поняла и перепугалась за нас обоих. Из близких родственников Галя более, чем кто-либо оказалась замешанной в нашем деле. Ей пришлось пройти через допросы и давать показания на суде в Рязани, Саратове и Петрозаводске. Первое, что ей реально угрожало – это исключение из института. Месяца через три после моего ареста

сестре пришлось держать ответ на заседании ученого совета и партактива. Секретарь парткома института задал вопрос, что называется «не в бровь, а в глаз»: «Ответьте перед всеми и начистоту, как вы относитесь к вашему брату-антисоветчику, совершившему особо тяжкое государственное преступление?» Представляю, сколько глаз было устремлено в том момент на худенькую, бледную от волнения студентку... «Вы спрашиваете, как я теперь к нему отношусь? По-прежнему, по-братски...» Парторг видимо не ожидал такого по-человечески достойного ответа и принялся осыпать ее укоризнами и угрозами исключения. Среди присутствующих нашлась понимающая благородная душа: «Простите, Владислав Павлович, а как по-вашему она должна к нему относиться? Ведь он ей родной брат».

Выйдя замуж, Галя во все время беременности и после рождения доченьки Дины жила у родителей в Лесной Поляне. Там месяцами гостевала и Алена. Я был несказанно благодарен любимой моей сестрице за письма, в которых она с милыми подробностями сообщала о девчоночьих проказах и забавных суждениях ненаглядной доченьки.

Господь не обделил Галю милостями. Вместе с мужем Николаем, генерал-майором запаса, они воспитали двух дочерей и ныне живут радостями и тревогами за детей и внуков.

*Из письма 25 сентября 1973 г.  
Озерное*

Ритка, тебе повезло, что выпала стажировка в МГУ,

да еще на целый месяц! Счастливица, ты снова, хоть на малое время, обретишь утраченную «атлантиду» нашей недолгой, но яркой жизни в университете. Светло завидую, что ты сможешь сердцем припасть к нашим московским «святыням». На твоём месте перво-наперво я поднялся бы на лифте зоны Б на 10 этаж. По знакомой ковровой дорожке не подошел, а приблизился бы к двери блока 1041, чтобы с благоговением дотронуться до медной ручки замка... Ты, Ритэт, станешь моим специальным корреспондентом на этот месяц. Интересно, какими глазами ты увидишь многое и дорогое, на что мы когда-то смотрели вместе. Опять же, теплит душу, что ты будешь недалеко от Аленки. У тебя, театралка моя, все, напоминающее меня, похоже, идет на убыль. В ее маленьком сердечке, напротив, со временем растет потребность в живом папе, как у Светы, как у Вовки. А тут еще добавляется обаяние редких, но запоминающихся встреч, папиных сказок и заманчивых обещаний. Не обижайся, Ритэт, но по большому счету Аленка – самый верный мне человек. Мы связаны навеки вечные преданностью крови. В эту минуту, возможно, она расположилась за столиком и, зажав цветные карандаши в пальчиках левой ручонки, изображает для меня птичек, цветочки и разряженных девочек.

Представь, Ритэт, в отличие от нас с тобой она сейчас в деревне, на вольной волюшке, среди осенней красоты средней полосы. Как птица небесная, она видит и радуется тому, что нам не дано. С детства памятна картина Левитана «Золотая осень». Из года в год с печалью видишь, что снова отошло, отыграло цветами, ягодами, разнотравьем красное лето. На исходе августа грустными приметами напоминает о себе ранняя осень. Она сквозит в позолоте тополей, и в бледнеющей сини неба,

в бодрящих запахах, которыми исполнена земля. Дивно и непреложно совершается Богом установленный круговорот времен года!.. И снова за окном она, золотая, смиренная, наполненная последними цветами, грустью, кружением опадающих листьев.

...Рит, я, кажется, писал, что по приезду в зону, к удивлению своему обнаружил в личных библиотечках эзков раритетные дореволюционные издания. До 1968 года заключенным позволялось получать книги из дома. Так вот, вчера мне довелось держать в руках фотографию последнего русского государя с четырьмя дочерьми и малолетним наследником царевичем Алексеем, совсем еще мальчиком. Поднеся к глазам полувыцветший снимок, долго вглядывался в их лица, по-человечески обычные, но в то же время волнующие своей царственной значимостью. Среди сестер выделялась и притягивала к себе смешливым выражением личика младшая – Анастасия. В то время как старшие сестры, сознавая серьезность момента, держат себя перед фотокамерой с подобающим достоинством, Анастасия так и светится шаловливой милой непосредственностью. И вся она, юная, едва начавшая цвести таинственной красотой девичества, являла невозможность ожидавшей всех их изумительно страшной расправы...

Прошло три дня, но под впечатлением от снимка не покидает грустное чувство утраты.

### **Инфанта**

Опять мой флюгер повернул на север,  
Где Ладога синее в лесах.  
Там ленинградских улиц серый веер  
Скрывает прошлого дела и словеса.

Знамен суворовских обтрепанные канты,  
Салонов утопический бальзам  
Соседствуют там с тоненькой инфантой,  
Чей детский лик стоит в моих глазах.

Ее с утра рисуют гобелены  
То грустной, то восторженно-парящей,  
Вот на ночь молится она, склонив колено.  
Вот слышен смех ее в весенней чаще.

Перед дворцом - Невы свинцовой воды,  
По залам - изразцовый жар голландок,  
За Петропавловкой - кровавые разводы  
И гул глухой проснувшегося ада.

Княжна, инфанта, мотылек дворцовый,  
Не замирай, не прерывай круженья,  
Шали, печалься, кукусь, пританцовывай  
И избежи холопьего глумленья!

Но всем Васильостровским линиям  
Не зачеркнуть той жуткой были...  
Ты пребываешь самой дивной лилией,  
Что по Фонтанке жертвенно проплыли.

*Открытка от 27 октября 1973 г.*

**Милая Рит!**

Поздравляю с грустной и памятной годовщиной нашего обручения. Дай Бог тебе сил душевных превозмочь оставшееся время разлуки и сохранить верность

солнечному, утреннему и росистому, что напоминают об алой зорьке нашего горького супружества.

С любовью, твой Алька

*Из письма от 16 ноября 1973 г.*

*Озерное*

Рит, как ты в начале ноября? Бродил сырым, ветряным вечером по зоне, и вдруг слышу из репродуктора мелодию и особенный, с акцентом голос исполнителя:

«...Мне тебя сравнить бы надо  
С первою красавицей,  
Что своим весёлым взглядом  
К сердцу прикасается.  
Что походкой легкою  
Подошла нежданная  
Самая далекая, самая желанная...»

Он донесся сюда, в Дубравлаг из первой рязанской весны. Незадачливые влюбленные, мы радовались любому укромному уголку, где можно было тронуть руку другого, промолвить кружащие голову слова признаний. Одно время местом для любовных шалостей стал кабинет для прослушивания пластинок в новом здании городской библиотеки, «горьковке». Мягкая мебель, проигрыватель, удобные наушники и восхитительная возможность уединиться на время, лицом к лицу, колени к коленям. Именно там впервые услышал с пластинки незабываемый голос певца-югослава про «самую далекую» и «самую желанную».

Стоя в темноте вечера, я слушал и пьянел от некогда бывшего и ныне невозвратного. Вспомнился июльский вечер на Театральной площади. Прячась от дождя под дедушкиным зонтом, мы набрали на цветочный развал. Наши светло-русые головы, пальцы на ручке зонта волнующе соприкасались. В то лето мы восторженно переживали свою близость под алыми парусами нашей сумасбродно-романтической молодости. Как в песне, ты, вчера еще такая далекая, стала самой любимой и желанной. «Смотри, Алька, такая прелесть, флоксы белые!.. Купим?..»

Сколько доведется прожить дней, буду помнить тебя, под зонтом, с букетом флоксов среди старорусского города, где я обрел ту, что самим Богом была мне предназначена.

Ты, диво мое, конечно же помнишь день и место нашего знакомства... Под желтыми липами шуршали троллейбусы, радовал безветрием ясный октябрь. Шагая в своем новом кожаном пальто, с головой, забитой идеями, мог ли я знать, какая встреча меня ожидает, не доходя до перекрестка с улицей Свободы? Предреченное случилось на тротуаре рядом с серокаменным зданием бывшей городской Думы. Как органично смотрелась на фоне старинного портала большеглазая гимнастка, с девчоночьи-горделивой посадкой головы, привлекательной роскошью небрежно плетеных кос. Пока я разговаривал с ее однокурсницей Ириной, она, стоя рядом, нетерпеливо постукивала каблукчиками сапожек. Портфельчик у нее в руке покачивался в такт ее грациозным движениям. Все в ней было юным, влекущим, ни на что не похожим...

Донна моя, по правде говоря, ты единственная женщина в Северном Казахстане, которая получает такие

восхищенно-покоряющие письма. Достаточно одной твоей улыбки, чтобы заставить его трепетать и надеяться. И, поверь, окрыленный витязь твой пешком дойдет до тебя. Но занавес, скорее занавес!..

А если всерьез – в лето хочу, под сосны, в Солотчу. Где мы одни на весь лес, полураздетые, по-дикарски резвящиеся под дождем. И пусть все оборвется тишиной векового бора, давая место незабываемой радости, с которой я нес тебя на руках. Отчетливо помню, как покорно замерли сосны, подставляя верхушки теплому, робкому дождю. А мы бежали, взявшись за руки, хохоча, по мокрой хвое среди всепонимающей тишины. Капельки с твоих плеч отдавали на губах смоляной горечью...

В тот час я пережил издонное влечение молодости: склониться лицом к твоему, с прикрытыми веками, не скрывающему девчоночьего счастья. А затем, не дыша, дарить его благоговейными поцелуями, обмирая от тающей нежности...

Где ты, моя большеглазая,  
С солнцем в витых косах?..  
В самом начале знал бы я,  
Что радость останется в снах.

Помнишь, июльский закат,  
Теплые доски причала?..  
Чудо, сливавшее нас,  
Мучило и ласкало.

Было-то сколько, б-ы-л-о!..  
Лето цвело, любило,  
Но журавлиной тоской  
Осень кралась за рекой.

Звезды скрыл сизый мрак.  
Стужа цветы увяла.  
Замков разрушенных прах  
Выстелил доски причала.

Рит, верный обещанию, знакомлю тебя с богоискательством Толстого. Для меня он – прежде всего писатель, великий мастер. Но известно, что из 90 томов полного собрания только менее половины составляет собственно литературное наследие. Все остальное можно отнести к публицистике, философии и богоискательству. Величие Толстого как художника неоспоримо, он признан всеми и всюду. Но лишь немногим Лев Николаевич известен как философ, педагог и духовный учитель. Трудно согласиться с теми, кто свой пиетет перед ним как художником переносит на его философию, педагогику и религиозную проповедь. Так можно впасть в кумиротворство. Ведь у Толстого, «как у нашего Якова, – товару всякого». Он, к примеру, весьма критично относился к гению Пушкина, но это совсем не повод, чтобы пушкинистам и каждому из нас вторить ему. Граф с завидным умением тачал сапоги, но вряд ли кто из современных модельеров последует их фасону. Беда в том, что эта часть наследия Толстого входит в противоречие с нашими национальными ценностями. Например, сильной самодержавной власти он противопоставляет анархию, православному воспитанию – переосмысленную им педагогику вольнодумца Руссо. Веру отцов, авторитет Церкви и Священного Писания он заменяет неким религиозно-абстрактным морализмом и создает религию, основанную всецело на авторитете собственного разума.

На фоне революционно-нигилистических тенденций

последней четверти XIX - начала XX вв. позиция ясно-полянского обличителя вдохновляла и усиливала лево-демократические силы. Толстой для Православия был тем же, что Вольтер для католицизма. Всем известен знаменитый клич Вольтера: «Раздавите гадину!» Поэтому определение Синода об отлучении его от Церкви было лишь вынужденным актом. Сделавшись неистовым противником Православия, граф тем самым поставил себя вне Церкви.

Религиозный скепсис, надо сказать, сопровождал Толстого с юности и не оставлял его во всю жизнь. Например, в 16 лет он снял нательный крест, а вместо него повесил медальон с изображением Руссо. В 25 он мыслил себя основателем новой религии. М. Горький вспоминал, что до своей встречи с Толстым он считал его человеком неверующим. Общение с графом убедило его в этом. Религиозные представления Толстого складывались под перекрестным влиянием масонов и декабристов, Руссо и Прудона, Ренана и Штрауса, буддизма и протестантизма, духоборов и пацифистов.

Отпадение от Православия обнаружилось в душевном смятении последних лет жизни. Разочарование в своих последователях, мучительный страх смерти и болезненно-страдальческая кончина свидетельствуют о духовной трагедии великого писателя.

## Уединение по случаю

В начале октября 1973 года меня с тремя зэками из стройбригады направили перекрывать щепой крышу одного из жилых бараков. Дело оказалось знакомым: следовало ровно по натянутой бечевке пробить по краю обрешетки первый ряд щепы. Для этого использовался вытянутый деревянный помост, который передвигался по ходу работы с одного угла на другой. Щепа, сосновая или осиновая, представляла тонкую в 3 мм полосу размером где-то 10x25см. На первый пробитый ряд набивалась ровная рейка длиной 8 см, на нее один из зэков, держа в одной руке пачку щепы, другой ловко и быстро накладывал внахлест очередной ряд. Второй зэк с молотком в руках, с щепными гвоздями в кармане, а иногда держа их по несколько штук в губах, короткими и точными ударами прошивал уложенную щепу. Когда стоя на помосте было уже не достать, использовали небольшого диаметра бревнышко. За оба конца его крепили веревками к коньку. При работе, полулежа на боку, мы упирались ногами в бревно. В тот год осень стояла теплая и сухая. Любо было, вдыхая запах щепы, озирая с крыши окрестности, заниматься исконно мужицким делом. К слову сказать, я с детства испытывал тягу к дереву, видно, унаследованную от вологодского деда-плотника Никанора Афанасьевича Павлухова.

После обеда, по обыкновению, вернулся в барак, чтобы оставшиеся полчаса придремнуть, вытянувшись на койке. Едва я улегся, как почувствовал внезапную резь со спины выше поясницы. Боль нарастала, и через минуту-другую, как червяк, я извивался в мучительных корчах. Кто-то из «барачников» метнулся в медпункт, и скоро вернулся с медичкой Кларой Ивановной. Склонившись надо мной, она торопливо приложила ладонь ко лбу, проверила пульс, спросила где болит. «У тебя, Сенин, похоже, что-то с почками. Возможно, идет песок или камешек. Сам сможешь пройти?» Через 5 минут я лежал на одной из четырех коек в небольшой палате медпункта. Озабоченная Клара Ивановна поспешно сделала 2 укола подряд, попросила не вставать и дала градусник. Постепенно боль утихала, градусник показал 37,5. Через полчаса я крепко заснул, будто провалился, и проспал 4 часа кряду. Клара Ивановна давно ушла, но строго наказала санитару из эков, Грише Челидзе, худенькому, услужливому грузину, не отходить от меня. В случае, если вдруг станет хуже – бежать на вахту, чтобы её по телефону вызывали из дома. Гриша передал мне ее наказ, когда принес из столовой ужин в палату. Глаза его выражали неподдельное сочувствие.

Но, спрашивается, почему я назвал главку «Уединение по случаю»? А случай выпал воистину промыслительный, один из тех, когда внезапно открывается, что Господь за всякое содеянное добро воздает нам тем же.

Весной того года я зашел в медпункт попросить у Клары Ивановны таблетки. Замечу, что зэки уважали ее за участливость и простоту в обращении. Видно она успела приглядеться ко мне, потому как не раз мы заводили откровенные разговоры, которые по предписаниям режима были недопустимы. Тогда-то и выясни-

лось, что муж ее был родом из соседней к нам деревни. Нашлись и общие знакомые. Рассказывая про Рязань, работу в прокуратуре, я, видимо, обмолвился о своей тетушке, Ангелине Никаноровне, что преподавала в кооперативном техникуме. В конце приема Клара Ивановна неожиданно спросила: «Олег, а тетя-то твоя все так и работает в кооперативном? Я это к тому, что Тонька, дочка, в этом году заканчивает школу и собирается ехать поступать в Рязань. Девочка она вроде не глупенькая, но «троечки» нет-нет, да проскакивают. А в техникуме, я знаю, конкурс приличный... Не мог бы ты, Олег, через тетю подействовать нам с поступлением?» Свою просьбу из осторожности она проговорила еле слышно, почти шепотом. Мы условились, что в следующий раз я приду и тут же при ней напишу письмо тетушке. Тетя Лина впоследствии рассказывала, что девочка оказалась старательной и воспитанной. Они сдружились, и Тоня не раз бывала у нее дома.

С того времени из благодарности за услугу Клара Ивановна, при возможности, тайком проносила для меня небольшие съестные гостинцы. Всякий раз мне неловко, да и боязно было их принимать. Мой внезапный приступ по счастью не перешел в болезнь. На другой день я чувствовал себя как ни в чем не бывало. Но она, имея благовидный повод, решила подольше поддерживать меня в санчасти на больничном питании. Мне повезло и в том, что в палате, я оказался один. Клара Ивановна вела прием с 10-ти до 2-х, а потом уходила на соседнюю женскую зону. Санитар Гриша после ужина отправлялся в барак, пить чай с земляками. С 6-ти вечера и до утра, пока он не появлялся с завтраком, я был предоставлен самому себе. Нежданно-негаданно Господь даровал мне то, о чем я и помыслить не мог за че-

тыре года заключения – возможность побыть наедине.

Мой друг, Женька Бабинцев, добрейшей души человек, с лица которого никогда не сходила улыбка, приносил мне в палату свежесваренный чаек. За разговорами мы коротали время до отбоя. Принося из библиотеки книги, днями я прочитывал том за томом Мамина-Сибиряка, Островского, Лескова. Мне нравилось заносить в свой блокнотик цветистые сочные выражения. При заучивании они постепенно делались достоянием моего словесного обихода. Через язык, персонажи и образы, неповторимый национальный колорит, мне открывалась христоролюбивая целостность русской природы. Со слов отечественных бытописателей она выражалась в покорности судьбе и проникнутости народной жизни церковным обрядом.

Днем, не выпуская из рук книги, осмысливая прочитанное, я помнил, что моё заповедное время наступит после отбоя. Погасив, как было положено, свет в палате, раздергивал шторы на окнах, выходящих в сторону леса. Его темное загадочное окружение напоминало мне осенние ночи в избежке дедушки-пасечника. Просыпаясь на печи рядом с бабушкой, я какое-то время, по-детски затаенно, слушал шум ветра в гуще дубняка. Успокоенный дыханием бабушки и светом лампадки, вскоре снова засыпал. Впервые за три года я проводил ночи вне барака, не слыша привычного кашля, храпа, скрипа коек, шарканья ног выходящих по нужде зеков. Упиваясь невообразимой тишиной, подолгу стоял у окна. Возвращаясь к тумбочке, с наслаждением делал несколько глотков загодя сваренного терпкого чая. Какое-то время, погруженный в себя ходил от стены к стене вдоль изголовья коек. Отсвет наружных фонарей делал мое убежище по-домашнему уютным. Меня, как

мальчишку, увлекала возможность делать все, что мне заблагорассудится: читать вслух стихи, напевать вполголоса, разговаривать самому с собой; опускаясь на колени лицом к окну, молиться. В те ночи, неожиданно выпавшие мне, я с упоительной подлинностью переживал ощущение, казалось бы, навсегда утраченной жизни, лучше которой невозможно было себе представить.

*Из письма от 26 ноября 1973 г.  
Барашево*

Ритэт, накануне отъезда на «больничку» получил письмо, типично карагандинское: короткое и отстраненное. Ты признаешься, что тянет в Москву, к музеям и театрам. На это я грустно улыбнусь: как невообразимо далеки твои мечтания от сугубо приземленных пожеланий «заключенного Сенина»... К примеру сказать, пугает зима, долгая, безотраднo-тошная. Признаться, в ней мало что радует, как бывало прежде. Раньше проглянет среди облачной хмари кусочек небесной сини, и на душе сразу повеселеет; или кружка крепкого чая с карамелькой в предчувствии интересной книжки; долгожданное письмо на глянцевоy бумаге со знакомо сползающими вниз строчками. Но не думай, внутренний холодок – временный гость, через час-другой хандра проходит, а там нет-нет, да объявятся какие-никакие радости. Впрочем, любая радость в зоне какая-то недоношенная.

Лучше скажи, театралка, получила ли ты мои честно заработанные денежки? Много ли зияет дыр в твоём преподавательском бюджете? Есть проверенное средство поправить фигуру и финансовые дела – переходи

на простоквашу. Кафедральные старички и вьюноши, не сомневайся, оценят утонченность твоих линий.

Постарайся, Ритэт, быть снисходительной к моим письмам. Принимай к сердцу лишь те, где Сенин не вредничает и не несет ревнивой чепухи, а напротив, обещает в розовом будущем по вечерам встречать тебя в передней и целовать в застуженную с мороза щечку. Устало опустившись на тахту, ты жаловалась бы мне: «Не представляешь, Алька, как я набегалась за день...» А я с комплиментарной заботливостью кружил бы вокруг весь вечер. Нарисованную картинку семейной идиллии вставь в рамочку и в случае прескверного настроения любуйся, – глядишь поможет.

На пороге Новый год!.. По-прежнему он пахнет хвоей, апельсинами, твоими духами. Сердце подсказывает, что грядущее новолетие, Бог даст, порадует нас. Будем верить и надеяться.

Начало зимы, напомним тебе, открывает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ее родители, Иаким и Анна, не имея детей, горячо молились и дали Богу обет, что родившегося ребенка с благодарностью посвятят Ему на служение. Когда отроковице Марии исполнилось 4 года, они привели Ее в Иерусалимский храм. Под его сводами, незримо для людей, Она духовно готовилась к таинству Боговоплощения. Живя при храме, Дева Мария видела скорбь покаяния на склоненных лицах молящихся. Когда священник благоговейно разворачивал кожаные свитки Писания и читал пророчества о грядущем Избавителе, свет надежды и радости скользил по их смуглым лицам. В ту минуту Ей так хотелось, чтобы Он пришел скорее, завтра, теперь...

Месяцы и годы проходили для Нее в чтении Торы, богослужениях и всевозможных послушаниях. Вечера-

ми, становясь на молитву, Она плакала об умирающих, больных, бесприютных, о тех, кто ожидал иной жизни, безгрешной, духовно исполненной. Все чаще Мария слышала, что скоро, вот-вот, должен прийти долгожданный Спаситель. В храме читали из книги пророка Исайи о чудесном рождении Сына Божьего от Девы. В смирении сердца Она и помыслить не могла, что от начала времен именно ее Бог избрал для этой высокой миссии. Мы можем только догадываться о радостном потрясении, которое пережило Ее юное сердце при явлении осиянного Архангела... Он возвестил: «...Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами... И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего...»

*Из письма от 5 декабря 1973 г.  
Барашево*

Взгляни на календарь, горяша моя. Еще месяц – и года как не бывало.

Стал замечать: чем дальше в дебри срока, тем настойчивее тянешься сердцем к обычным людским радостям. Готов довольствоваться хлебом и водой, но только бы на воле, с вами. Ты как-то прислала мне в Саратов строчки из Блока:

«Кольцо существования тесно:  
Как все пути приводят в Рим,  
Так нам заранее известно,  
Что всё мы рабски повторим.

И мне, как всем, всё тот же жребий  
Мерещится в грядущей мгле:  
Опять – любить Ее на небе  
И изменять ей на земле»

Представить невозможно, что в ту пору мы могли ощутить даже малую частицу этой горькой истины. По мне, мы жили тогда беспокойным всезахватывающим чувством и видели вокруг себя просторы синего снега вперемешку с январским чернолесьем. Небо над нами было уютно низким, серо-белесым. В бесприютности разлуки нам дано было присутствие близости и очага на всяком месте той огромной, для счастья предназначенной земли.

Не забыть разноцветия заката под Коломной... Тихо шел поезд. Прижавшись друг к другу, мы смотрели, как навстречу наплывали величавые очертания отверженных храмов. В вязких сумерках, в гуще необлетевших садов, в деревянных особняках за заборами чудилось присутствие старомосковского быта. Твоя христоматийно-славянская внешность как нельзя дополняла ту красоту. Казалось, в эти минуты мы с тобой как никогда заодно. Не заслуженная, а дарованная по рождению и растворенная в крови причастность ко всему русскому рисовала мне тебя светлолицой княжной из бревенчатого, резьбой изукрашенного терема. До сих пор так и живу, вполоборота к прошлому...

Твой светлый лик таит иносказанья  
Рязанской златоглавой старины,  
Как рукопись с утраченным названьем,  
Как сладкий дым родимой стороны.

И по дороге к Сергиевой Лавре,  
Вбирая сосен благостный покой,  
Я видел, как закатами прославлен  
Неизгладимо русский облик твой.

В постылости тюремного плененья,  
В разладе между жизнью и мечтой  
Останется заветным утешеньем  
Неопалимо-русский образ твой.

Имея поручение от сострадающего сердца стать составителем летописи нашей любви, я неустанно заносил на ее страницы всё хоть сколько-то значимое, улыбками и слезками отмеченное. Кто как не я призван помнить наш судный день, день вынесения приговора: 7 лет лишения свободы и два ссылки... Перед глазами, будто вижу его в последний раз, – твое растерянное недоумевающее лицо, выражавшее одно-единственное: «Не может быть...» С того мгновения тебе не дано другого лица, такой я буду помнить тебя до гроба.

Снова расстроил без вины виноватую девочку мою... Из письма в письмо одно и то же. Но, клянусь, ничего не могу с собой поделать. Никогда, слышишь, никогда не свернется кровь в ранке, – ей так и сочтется, пока ты жалостливо не склонись над ней...

*Из письма от 19 декабря 1973 г.  
Озерное*

**Милая Рита!**

Как я и предполагал, 14-го укатил в вагон-зэке из

Барашево. Не без радости узрел «родную» зону, по-деревенски засыпанную снегом. Она у нас маленькая, всего в четыре барака. Всюду снег, его отвалы обрамляют расчищенные дорожки. На лес и взглянуть боязно – можно ослепнуть от красоты. Все твои письма нашли меня. Они, подобно новогоднему конфетти, осыпались на твоего бородатого витязя. Перед святками самое время что-либо загадать, да вот беда: у меня напрочь отбито чувство будущего. Иногда, правда, пытаюсь бестактно толкнуться в хрустальные двери, за которыми виден сияющий венец моих ожиданий. И вот, Емеля, представляю себе картину: будто восседаю за столом с резными ножками, покрытым комчатой скатертью. Передо мной соленья, угощения, и я аппетитно хлебаю серебряной ложкой золотистый куриный бульон. Но... фигурки сытым мешанским грезам. Мы, сударыня, предпочитаем дворянскую усадебную грусть, прогулки по парку с цветущими липами, а в конце аллеи, на веранде – белое платье той, что прибудет в сердце единственной, но навсегда потерянной для будущего. Раньше заводило и двигало тщеславие. По молодости оно озарялось свежей увлеченности и бескорыстия. Что теперь говорить: донкихотствовал, сражался с ветряными мельницами, актив всегда подавлял пассив. Содержимое последнего было скудненьким и занимало малую часть внутреннего мира твоего «пламенного революционера». Не стану столь же путано изъяснять, к чему в конце концов пришел. Лучше, чем у Апостола, не скажешь: «...всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал...» Духовная подлинность для меня не мечтание, я, недостойный, на серьезе ее алчу и жажду. И потом, мы с тобой такие разные. Скажем, тебе трудно бывает выдавить из

себя ожидаемое: «Алька, родной ты мой...» Я бы прочел, благодарно растаял, и не слова больше, довольно с меня! На горе я вышел характером в бабушку Анастасию Алексеевну, жалостливый: прежде жалею человека, а уж после люблю. Мне тошно видеть, как ты возвращаешься вечером в выстуженном троллейбусе. Уйдя в свои нерадостные думы, отрешенно чертишь ногтем заиндевелую рыхлость стекла. Как же не жалеть, не любить тебя такую...

*Из письма от 3 января 1974 г.  
Озерное*

Отсчитывая дни до твоего приезда, то и дело начинаю вычерчивать циркулем памяти тот магический круг, что вобрал в себя события запредельно невозможного прошлого...

Июльский вечер 66-го в опустевшей квартире. Полные паруса нежности к тебе, умиротворяющий интим нашей маленькой крепости. Теперь всё это до слезной сдавленности невозможно и недостижимо, но оно начало свою бессмертную жизнь в нетленном нашем прошлом. Ничего другого и не надо, лишь бы прикоснуться губами к чаши изведенного там счастья!.. Сладок был мед тех минут. Они засветились, заиграли бликами нескрываемой, безудержной любви моей.

Чудо моё! Как в волосах твоих переплелись русые и светлые пряди, так переплелись в горячечных токах моего бытия нежданные дары девчочей любви твоей!

Не верится, что скоро с приездом твоим начнется трехдневный круговорот твоего неотразимого очарова-

ния. А пока мне остаётся сладкая мука ожидания...

\*\*\*

Недолго мне уже осталось, -  
Не веря собственным глазам, -  
Читать влюбленно, по слогам,  
Про губ твоих родную алость,  
Про снегопады и улыбки  
Под звуки плачущие скрипки.

Нескоро нам с тобой придётся,  
Пригубя горечей бокал,  
Понять, что каждый потерял  
То, что лишь раз один даётся:  
Сердец согласных тихий бой,  
Всечастно дарящий любовь.

\*\*\*

## МОЛИТВЫ

Александр Викторович Иванов, ученый-историк из питерской националистической организации «Вайсхайсон», подарил мне по случаю молитвослов, с тускло-серебристым крестом на затертой синеватой обложке. До сих пор храню его, как реликвию. В зоне мне приходилось относиться к нему с неменьшим бережением, опасаясь очередного внутриварачного обыска (шмона). Не рискуя лишиться святыни, я переписывал в отдельный блокнотик одну из молитв, а затем за 2-3 дня заучивал ее. Благодаря бабушке, Федору Павловичу Сенину, мне с молодых ногтей были известны некоторые из них. Одни из молитв со временем призабылись, но при обращении к ним с легкостью оживали в памяти.

Лишившись в одночасье всего, я стал относиться к утраченному с проникновенным, отчасти религиозным чувством. Оно зримо проступает в моих письмах из зоны: чем ниже склонялось небо к моему горю, тем сильнее становилась слезная благодарность Богу. Рита, Алена, родители... душа моя в те годы изболелась за них. Сломленному, бессильному что-либо изменить, мне вдруг открылось, что он, Господь, любит их, как и я, сострадает и старается помочь. Вскоре после ареста, получив карточку с мордашкой Аленки, я украдкой целовал ее и шептал: «Доченька, цветочек мой майский... Как хочю поднять на

руки пушинку мою, зацеловать, дурачиться с тобой, быть рядом...» С тем же чувством родственной растроганности я обращался и к Нему, зная, что Господь слышит и отвечает мне. В разлуке любовь к Рите питала меня изголодавшегося, крепила обессилевшего. Чем ярче становилась звезда моего очарования, тем сильнее мучила совесть за прошлые обиды и обманы. Я готов был веревки из себя вить, чтобы быть достойным ее.

### Молитва

Сохрани ее, Боже, в затишье лесов  
От всечасных набегов нерадостных мыслей,  
В утешительных снах дни разлуки исчисли  
И укрой за стеною молитв и постов.

И я верю, Ты, Господи, аще восхочешь,  
Над ее головой станешь радугой светов,  
Херувимским распевом брусничного лета, -  
И тогда горечь слез ее синь не источит.

Заучивая молитвы, я поражался глубине покаяния, присутствующей в них. А ведь они были составлены людьми, которых ныне мы почитаем за великих праведников. Между тем сами они всечасно винулись пред Богом в том, что грехами своими причиняли боль Ему, вселюбящему и сострадающему. В прошлом я не однажды переживал похожие терзания, побуждавшие меня к повинным признаниям.

«...Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всеильными мольбами отжени от мене, смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного

ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи мя...»

В условиях зоны молитва требовала уединения. Одно дело, когда ты предстоишь пред Богом в храме, среди себе подобных. Но не просто было найти место и время среди людской стесненности. Не всякий мог на виду у многих глаз творить проникновенную молитву, осеня себя крестным знаменем и делая поклоны. Ради святого дела верующие приспособлялись, как могли. В дальнем углу рабочей зоны у меня была своя тропка вдоль «запретки». В половине 3-го, сделав две нормы, последующие два часа до развода я имел благословенную возможность читать и молиться. На тропке, прежде чем достать блокнотик с переписанными молитвами, крошил куски хлеба, принесенные с обеда, разбрасывая их на снегу для воробьев и галок. Было в этом занятии нечто умиротворяющее, иноческое. Молитву заучивал предложениями. Запомнив одно, переходил ко второму, но повторял уже оба сразу. И так до завершения. При каждом повторе душу озаряли отблески внезапно открывавшихся смыслов.

«...просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстию безстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани...»

Твоя молитву, изредка останавливался, чтобы положить влюбленный взгляд на зеленоснежный окомоем цепенеющего леса. Сосны, снег, небо вчера и сегодня оставались неизменно те же, но всякий день глаз не уставал любоваться ими. Молитва, сопутствуя созерцанию, грела изнутри, делая все вокруг невыразимо близким, твоим, Божьим.

«Благослови, душе моя, Господа,  
Благословен еси, Господи  
Благослови, душе моя, Господа  
и вся внутренняя моя, Имя святое Его.  
Благослови, душе моя, Господа  
и не забывай всех воздаяний Его...»

Свое местечко имелось и для вечерней молитвы, как раз на углу барака, рядом с моим окном. Перед отбоем эски, готовясь ко сну, расходились с улицы. Это краткое времечко было мне очень дорого. Стоя на углу, лицом к лесу, тихо радуясь уединению, я обращался к Ему как заученными, так и своими, из сердца идущими словами. Зная, что кроме постового в эти минуты меня никто не видит, я не таил набегавших слез. В те минуты, поминая поименно всех своих, будто обнимал дорогих мне родителей, сестрицу Галину с братом Михаилом; благословляя, нежно целовал на сон грядущий Риту и Алену. Каким бы ни было небо над головой – звездным или пасмурным, полным вечернего мрака или меркнувшего света, – я знал, что молитвы мои доходят до Господа. Верилось: Он своей хранительной любовью пребудет со мной и с ними в предстоящей ночи. При этом душу осеняло чувство, похожее на то, когда перед сном, склоняясь над кроваткой Алены, я поправлял одеялко и, едва касаясь, целовал теплые пальчики на ее ручонке...

Пресвятая Богородица и все святые, молитесь Бога за нас.

\*\*\*

Господь мой, бессмертный и крепкий,  
Встающий в заставах сосновых боров  
Светящийся золотом сколотой щепки,  
Влекущий созвучием колоколов!

К тебе в окаянстве своём притекаю,  
Во храм принося покаяния грусть  
И, благостно светел, смотрю не мигая  
На лик, осенивший крещёную Русь.

\*\*\*

*Из письма от 28 января 1974 г.  
Озерное*

Рита моя, нынче воскресный день. Ночью мела метель,  
а с утра установилось пасмурное оттепельное затишье.

Ровно неделю назад в эти минуты я был вместе с  
вами – с тобой, Алёной, мамой. Из всех свиданий ни  
одно так не засветило меня, как минувшее. Припомни-  
лись прежние московские зимы. Сердцем я до сих пор  
в тех коротких, с испугом тающих днях. Задержать бы  
их, продлить до вечности.

Аленка, доча!.. В те дни с полнотой отцовского чув-  
ства понял, какую радость я в ней имею. Господи, надо  
ли терзаться вопросом: зачем и для чего жить? Стоит  
ли голову ломать, слыша ее голосок, чувствуя детские  
ручонки на своей шее. Столько стишков она повиучи-  
ла. А как выразительно читала их. Но чем сразила она,  
так это песенкой:

«Стою на полустаночке  
В цветастом полужалочке,  
А мимо пролетают поезда.  
А рельсы-то, как водится,  
У горизонта сходятся.  
Ах, где мои веселые года?...»

После вашего отъезда раза два по радио слышал эту замечательную песню, и перед глазами возникало воодушевленное личико и звучало в ушах ни с чем не сравнимое детское исполнение. Не напрасны оказались мои ожидания, что, подрастая, она воспримет от мамочки чистый голосок и хороший слух.

Как принято, я должен был первым, в сопровождении надзирателя, уйти из комнаты свиданий. Прощание с вами, слова, слезы и поцелуи под конец – самое невыносимое и саднящее. Сошел со ступенек вахты и растерялся: солнечно, морозно, все в снегу и инее, во всем обещанная радость. Мама, Аленка, вы были настолько еще во мне, что не возникало сомнения: этот осиянный Божий денек также будет нашим, как и три прошедших. Стоял и ждал, когда вас выведут, чтобы вместе сделать несколько глотков морозного воздуха, одними глазами увидеть великолепие зимы. Таким несовместимым казалось оно с прощанием, слезами, долгой разлукой.

Ты не права, Ритэт, я не в легенде живу и жил. И ничего-то твой Сенин не выдумал! Все переживаемое мной с первого дня встречи и доныне, отнюдь не брызги шампанского. Не кто-нибудь, а ты, тихоня, зажигала звезды страсти на моем небе. Не сомневайся, в пламенеющем чувстве к тебе - все правда! В нем ничего не измышлено...

Вспомни свои прилеты в Саратов... После тебя в чужом, невыносимом для меня городе оставались улочки, тронутые твоим легконогим касанием. Большой одиночеством, тоскуя по тебе, приходил туда, как к полянам с целебными травами... Просто с годами ты, Ритэт, повзрослела, почужела, невольно отстранилась от тех времен. Здесь я живу и дышу тобой, а у тебя и кислорода гораздо побольше, и житье поразнообразнее. Не восприми как упрек: кто как ни я, дурсвет, повинен в твоих хождениях по мукам.

*Из письма от 11 февраля 1974 г.*  
*Озерное*

Рит, до сих пор не могу отойти от греющих впечатлений январского свидания. Три недели назад щека чувствовала шелковистость Аленкиных косичек. Забавно было видеть ее увлеченность, когда она повторяла и заучивала с моих слов названия столиц мировых государств. Видно от того, что ей не так часто приходится побыть вместе с родителями, она, на радостях, при всяком удобном случае обращалась к нам уменьшительно-ласкательно: «миленький папочка», «любименькая моя мамочка». Как она посерьезнела в минуту прощания: на личике появилось нечто похожее на испуг и, как мне показалось, она все-все понимала... По всей видимости, сейчас доча наша топает валеночками по свежему снежку рязанского дворика. Воздух там пахнет стылыми ветками тополей, а из любого уголка его видно окно с цветной оранжевой шторой. За ней, среди уютного тепла и запахов детской, слушают тишину неведомые никому, кроме нас реликвии одной необычно-печальной любви. Тысячи раз ты, льдышка, удостоверялась, что я буквально дышу на вас с Аленой. Мы простились, и вы, расстроенные, уехали, а во мне не стынут уголочки недавнего присутствия моих матрешек.

Девочка моя, душой своей я пытаюсь отыскать тебя, вопреки холоду забвения, в сокровенном пространстве памяти. Как в детстве, отогреваю на морозном стекле минувшего темно-влажный кружочек, через который живыми и влекущими предстают мгновения нашей общей жизни. Это та жизнь, ее начало которой в веках, в сплетениях родословий. Она сблизила и сроднила нас. Видно оттого не могу оторваться от твоей светлой сути,

от не покидающего ощущения нашего изначального неизъяснимого сходства...

...Поверь, только в пространстве мы порознь, но во мне и вне меня всё заполнено светом твоего лучезарного присутствия.

Оставайся, стану поджидать конвертов с синичками и надушенными листками внутри. Предчувствую, что они принесут голубизну и теплынь вечножданного марта. Не забывай, что твои письма помогают прожить день за днем серого лагерного однообразия. Бывает, просыпаясь утром после розовых снов и прежде чем ступить в холодный предбанник дня, как благословение привожу на сердце картинку прошлого. Представлю небоскреб университета с редкими светящимися окнами. На шестом этаже, в блоке 608, в темной комнатке, некогда согретой нашим дыханием, я любовно прикасаюсь ладонью к теплым брускам паркета. Они дороги мне, как кому-то клавиши фамильного пианино, потому что помнят каблучки 20-летней, сладкой, как мед, студентки-лентяйки с истфака. С ней и ради нее я начинаю свой новый день, один из великого множества...

*Из письма от 7 марта 1974 г.*

*Озерное*

Милая Рит, лагерная весна едва заявила о себе месяцем мартом. Пока не очень-то верится в нее, недели две-три состоят холодные сугробные дни. А потом не удержишь, — она торжествующе заявит о себе токами небесного света, возьмется долгими капельными днями. Не заметишь, как выведет к духману белой черемухи и майских вечеров.

Каждый март привносит смутное, необъяснимое чувство вины перед тобой. Ласкаясь, хочется пожалеть тебя, не поднимая глаз оправдаться горячими, в спешке найденными словами: «Рит, Риточка, Ритуля, ради Бога, прости меня...» Твое имя – как молитва – со мной и во мне под голубым и пепельным небом. Как и раньше, винась, сознаю превосходство твоей чистоты. Сколько раз, устыженный, я покаянно валился в ноги перед тобой.

7 марта. Шесть лет назад в этот день меня, как щенка, вышвырнули из МГУ. Опять облом, снова разлука. А ты на последнем месяце беременности... Вижу твой потерянный взгляд, белые пальцы, отрешенно разглаживающие полукружие клетчатого воротничка на платье. В тот вечер мы искали, куда бы скрыться от навалившейся боли, но не было спасения ни в прокуренном, переполненном ресторане, ни в темных дворах незнакомых улиц, где мы разыскивали моих дальних родственников. Ты покорно следовала за мной, как привязанная, но, оглушенный тупой болью, я почти не чувствовал тебя. Не было сил видеть эти белые пальцы, такие жалкие и ненужные на отглаженном воротничке, и ресницы непонимающих, застывших глаз, на которых собрались слезки. От Бахмутовых ты уехала в университет раньше меня. Вернувшись в нашу комнату с настолкой, с «семейственной посудой» на шкафу, я увидел, что все там, от халатика на стуле до разбросанных сапожек, выглядело обреченно и как-то жалостно. Все было закапано твоими слезинками. Прости, что разбередил твое сердечко, тяжело об этом вспоминать, но и забыть не удастся. Вместе с тобой живу надеждой, что Господь смиляется над нами, и новая весна соберет всех нас вместе.

В преддверии Великого Поста пересылаю тебе духовный этюд, недавно написанный.

## Христос и разбойник

Иисуса осудили в пятницу накануне Иудейской пасхи. Накануне Он провел бессонную ночь: допрос у первосвященника, а затем и у римского прокуратора. За два часа до того, как Ему взвалили на плечо тяжелый крест, римские воины глумились над ним: рядили Его в шутовскую накидку, оплевывали, били по щекам, полосовали тело ударами жутких семихвостых бичей. Господь так ослаб, что не мог нести крест, грубо сколоченный и увесистый.

Вместе с Ним к месту распятия вели двух разбойников. Они видели, что людям в толпе был интересен только Он, изможденный учитель из Назарета, богохульно именовавший Себя Сыном Всевышнего. Все взоры были устремлены на этого человека, в лицо ему что-то кричали, указывали пальцами, а на них не обращали никакого внимания. Это озлобило обоих разбойников. Когда Иисус спотыкался, они награждали Его издевками, Стоило Ему замедлит шаг – злобными окриками понукали Его идти. Больше всего их раздражало Его скорбное молчание. Он не отвечал на хлесткие и оскорбительные выкрики толпы, печаль и покорность выражало лицо Его.

Некоторые в толпе не могли остаться безучастными, сердобольные женщины от одного вида Несчастливого плакали. Он взглянул в их сторону, и сострадание изобразилось в Его взгляде: «дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы не питавшие!». Один из разбойников при этих словах вспомнил свою жену и ребенка, которых он не видел уже много лет. Нечто похо-

жее на сожаление слабо вспыхнуло в его омраченной, очерстневшей душе, но он тут же отогнал от себя расслабляющее воспоминание.

Когда процессия поднялась на каменистый горб Голгофы, осужденным повелели положить кресты на землю возле вырытых ямок. Часть воинов кольцом оцепила место казни. Остальные, повергая осужденных на кресты, резкими ударами молотков пробивали им руки и ноги гвоздями. При этом оба разбойника, крича от боли и бессилия, проклинали своих мучителей. А их едва живой товарищ и теперь молчал, хотя было видно, что Ему тяжелее всех переносить истязующую пытку.

Когда кресты с прибитыми к ним телами подняли и затем резко опустили концами в ямы, слышно было, как хрустели на руках у несчастных разрываемые сухожилия. Разбойники истошно кричали и бранились. Но Он и тут не вскрикнул, но видно было, как лицо Его еще больше побледнело и покрылось крупными каплями пота. Теперь все трое, обвисши на крестах, были видны каждому в толпе. И снова все глаза были устремлены на Христа. Ему с вызовом кричали: «Если Ты Сын Божий, сойди со креста, спаси Себя Самого...» А стоявшие в первых рядах фарисеи и книжники самодовольно заявляли, обращаясь к народу: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него».

Кресты располагались так, что распятые могли видеть лица друг друга. Один из злодеев, тот, что дорогой вспомнил о своей оставленной жене и ребенке, перестал злоститься и неотрывно смотрел на Христа. Он слышал, как Тот горячо и слезно молился за Своих мучителей, за тех, кто поносил Его: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Помимо горестной, едва слышной молитвы ни единого слова осуждения не сорвалось с Его губ.

Когда разбойник перевел взор на своего товарища, то поразился, насколько вид его был отличен от Страдальца, осужденного вместе с ними. На лице Христа отразилось сострадание к распинавшим Его, в то время как лицо разбойника было перекошено гримасой животной ненависти, с одних уст слетали слова молитвы, а другие изрыгали ругательства. Вид одного говорил о покорной готовности испить свою чашу, другой в исступлении корчился на кресте, не желая смириться со своей участью.

В этот момент что-то перевернулось в душе разбойника. Ему вдруг захотелось быть похожим на этого человека, которому никто не верил, называя его самозванцем. В каком-то непостижимом озарении ему открылось, что ни один из простых смертных не способен на подобную любовь и всепрощение, только Сын Божий мог явить их. Чувствуя, как неизведанная благодать наполняет его сердце, он попросил Иисуса о самом важном, самом неотложном: быть похожим на Него во всем том человеческом, что давно уже утратило его неприкаянное сердце. В тот день и час он был единственным из толпы, кто признал в распятом и отверженном Учителе из Назарета своего Спасителя: «Помяни меня Господи, - взмолился он, - когда приидешь в Царствии Твоем!» И лицо Христа в ответ на мольбу разбойника озарилось слабой улыбкой: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».

## Помиловка

По закону с прошением о помиловании в Президиум Верховного Совета РСФСР можно было обращаться по истечении половины срока, как самому осужденному, так и близким родственникам. В моем случае дата, с которой лагерный срок пошел «под горку», выпадала на 8 февраля 1972 года. К тому времени я пережил обращение к Богу и окончательно разуверился в теории и практике марксизма. По выходу из БУРа, в декабре 1970 года, сознательно отстранился от участия в протестных лагерных акциях, ограничив свое общение с немногими друзьями, в искренности которых я не сомневался. Постоянно перевыполнял производственную норму, отправляя деньги жене с доченькой. Однако по опыту лагерной жизни я знал, что помимо перечисленного, весомым основанием для помилования являлось позитивное отношение к заключенному со стороны администрации зоны. Однако решающее слово оставалась за дубравным управлением КГБ, которое курировало исправительно-трудовые учреждения для осужденных за особо опасное государственное преступление. Сотрудникам госбезопасности, необходимо было убедиться в искренности моего раскаяния и критическом пересмотре антисоветских убеждений. В общении со мной они предлагали те или иные формы сотрудни-

чества, которые, в большинстве своем, были неприемлемы для меня. Говоря откровенно, я ничуть не лукавил, когда старался убедить чекистов, что моя слабая психика не выдержит внутренней раздвоенности, и я попросту сойду с ума. Люди там были с понятиями, и справедливости ради скажу, через колено они меня не ломали.

В начале февраля прошение о помиловании отправили, каждый от себя: отец, Рита и дядя мой, Федор Павлович, инвалид войны, орденосец, директор школы в Печинах, соседней с нами деревне. Через полтора месяца после этого, во время работы, я был вызван в штаб, где меня ожидал сотрудник КГБ. От него узнал, что все три прошения находятся в Москве. Затем он пояснил: на положительное решение можно надеяться только в том случае, если подобное прошение будет написано и мною. И тут же без обиняков он предложил, для успешного разрешения дела, написать развернутое покаяние, содержащее критическую оценку моих недавних антисоветских убеждений. Не раздумывая, я согласился. Через неделю мои бумаги ушли в Москву. Замечу, мое покаяние в большей своей части соответствовало взглядам, что сложились у меня за последние три года. Сажу честно: дались они мне мучительной работой мысли, путем наитий и обретений.

Перед тем, как подать на помиловку, я рассказал о своем намерении самым близким мне людям из лагерного окружения. Надо заметить, что среди «антисоветчиков» было немало тех, кто по убеждению был противником любых просительных обращений к существующей власти.

Для меня и родных потянулись дни ожидания. В зоне ко мне, как к юристу, зэки нередко обращались с прось-

бами о составлении прошений о помиловании и жалоб на необоснованные приговоры. По опыту я знал примерные сроки хождения по инстанциям такого рода бумаг. Обычно ответ на помиловку приходил в течение трех-шести месяцев. Но ответ на мое прошение пришел ровно через год. К тому времени я почти потерял надежду на благой исход. Но Бог милостив! 14 марта после обеда, когда я в швейном цехе строчил рукавицы, явился посыльный из штаба: «Сенин, тебя вызывает начальник отряда, капитан Зиненко». Сразу почувствовал напряженное сердечное колотье: не иначе, как пришел ответ из Москвы. Но вместо того, чтобы все бросить и поторопиться к отрядному, я закончил очередную пару, подравнял укладку готовых рукавиц; выйдя в коридор, неспеша помыл руки. В голове неотступно, поочередно, а то и обе разом возникают, бьются одна о другую равно немыслимые для меня реальности: зона или воля?!.. Что же меня ожидает: долгожданное помилование или еще 2 года срока? На дворе сыро, слежалый сероватый снег, привычно безликий вид зоны. Над головой хмурая отстраненность неба, даже мои сестрицы-сосны не радуют. Все опостылело, больше не могу!.. Поднимаюсь на деревянное крыльцо штаба, останавливаюсь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и призири на душу мою. Не оставь меня и ближних моих, пошли нам помощь и заступничество. Да будет на все воля Твоя». Стучу в дверь отрядного, вхожу. По лицу его ничего невозможно понять.

– Садись, Сенин.

Не глядя на меня, перебирает на столе какие-то бумаги. Наконец поднимает голову, и первый обнадеживающий знак – Зиненко улыбнулся и понимающе, с соучастием произнес: «Наверно тебе, Сенин, сердце уже

что-то подсказало? Хочу порадовать тебя: твое прошение на помилование удовлетворено. Поздравляю!» После его слов меня разом подхватывает и невеста на какое небо переносит всенаполняющее сознание: «Боже, неужто правда? Неужто накрепко запертые двери, разделяющие меня с ней, с Аленой, моими стариками распахнутся передо мной? Заново рожденный, оставив за спиной бедлам прожитых лет, я вернусь в мир моих грез и найду его тем, каким пять лет назад оставил его?»

Вечером раздал друзьям-товарищам все, что у меня было: книги, одежду, продукты. Потом трое нас посидели, порадовались на проводах за чаем и угощением. Утром с рюкзаком за плечами я получал за зоной в управлении вещи и документы.

В справке об освобождении значилась запись с формулировкой, какой я не встречал ни у одного из известных мне заключенных, освободившихся раньше срока: «Выдана гражданину Сенину Олегу Михайловичу в том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы с «8» августа 1969 г. по «14» марта 1974г., откуда освобожден по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 5.03.1974 г. – помилован, неотбытый им срок л/свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3-х лет; ссылку снять». Приведенная формулировка предполагала, что если в течение определенного мне судом времени, я совершу действия, несовместимые с моими заверениями о раскаянии, то буду снова водворен в зону для дальнейшего отбывания срока. Проще говоря, мне пришлось бы досидеть два года в лагере и столько же отбыть на ссылке. Такая вероятность, согласно формулировке, довлела надо мной до 1981 года, то есть на протяжении семи лет с момента освобождения. Скажу откровенно, что эти годы мне не

пришлось ходить на цыпочках по половице: со времени отсидки в Дубравлаге я стал убежденным противником политического радикализма, чего держусь и по сию пору. Через 15 лет времена непредсказуемо изменились. В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР я и все мои подельники были реабилитированы по отсутствию состава преступления в наших действиях.

12 октября 1989 года в «Комсомольской правде», которая издавалась тогда многомиллионными тиражами, вышла статья Татьяны Корсаковой «Дети оттепели». На всю полосу был помещен материал о молодых саратовских марксистах, которые готовили в стране новый революционный переворот. Некоторое время спустя на центральном телевидении о нас было показано 2 фильма замечательного саратовского режиссера Юрия Нагибина. Затем «Ростовская киностудия» отсняла фильм с моим участием. Знакомство в январе 1990 года с Татьяной Кирилловной Черняевой, журналисткой центрального телевидения, ведущей детской телепередачи «АБВГДейка», обернулось появлением целого десятка телефильмов. Они прошли с 1990-го по 1993-й год на втором канале ЦТ. Последний фильм обо мне, «Прозрение», был снят ею 10 лет назад, в 2002 году.

## Возвращение домой

15 марта утром, в половине девятого, один за другим за мной лязгнули запоры вахты. Душой и подошвами сапог я ощутил новое небо и новую землю обретенной свободы. От поселка Озерное до родительского дома, если брать по прямой, было всего-то 70-80 км. Мой отец горько шутил: «Олег, до тебя ведь рукой подать. Мы с матерью по ветру с тобой разговариваем...» На станции Явас прикупил для Алёны кое-каких гостинцев. Малышка моя в ту зиму гостевала в деревне у стариков. Высматривая для нее что-нибудь из сладенького, все время видел себя как бы со стороны. Так необычно было происходящее, что не верилось, будто все это происходит со мной. До меня никак не доходило, что уже сегодня вечером моя маленькая растрепанка будет сидеть у меня на коленях, а я стану гладить ее густящие детски-пахучие волосы.

Выйдя на автотрассу, остановил новенький самосвал, забрался в теплую кабину, и час кряду общался с разговорчивым седеющим водителем. По виду он сразу понял, откуда я. Слушая невеселый рассказ о моих мытарствах, он преисполнился сочувствием и оставил на прощание свой рязанский телефон. Когда подъехали к Шацку, родному мне городку, я замолчал, растроганно всматриваясь в улицы и дома, памятные с раннего дет-

ства. В последние месяцы, в зоне мне часто снился один и тот же сон: будто я наконец-то освободился и добираться до дому. И как бывает во сне, с крыльями за спиной шагаю радостный по знакомой улице Шацка, мимо «Детского мира», почты, старой церкви бурого кирпича до автостанции, что на верху Соборной горы. Оттуда, как на ладони видна Казачья Слобода с огородами, палисадниками, где веками жили мои предки по отцу. Но всякий раз просыпаясь, расстраивался, что то был всего лишь сон. Со временем, даже не проснувшись, я вдруг сознавал, что ничего такого, на самом деле нет и, очнувшись, я увижу себя среди ночи на барачной койке.

Водитель высаживает меня на перекрестке, у кафе «Казачок»: ему направо в Рязань, а мне дальше до места. Не верилось все они: мама, отец, Алёнка, всего лишь в 20 км, и уж никак не ждут меня. День был на исходе, автобус к нам в Лесную Поляну ушел часом раньше. Остается одно – ловить попутную машину. Солнце, мартовское, желанное еще не зашло. За день своим теплом оно обласкало все, что можно. Повсюду чувствуется дух весны и покой сельщины. Внутри распирает от неумолчной радости, будто я на земле обетованной. Не могу надышаться, насмотреться. И надо же, как бальзам на душу, в домике напротив распахивается дверь бело-голубой крашеной терраски. Лохматый парень в спортивных штанах и тапочках кричит через дорогу: «Колян, ну чё, идем нынче на танцы в ДК? Моя Ларка слово дала, что приведет для тебя свою подругу из Ямской Слободы, - познакомиться. Помнишь, ту, рыжую, что тебе в прошлую субботу глянулась?» Слушаю, и слезы душат: такое все мое, наше, русское. Вижу, в мою сторону свернула грузовая. С надеждой машу перед ней рукой, - останавливается. «Друже, до Лесной Поляны,

подбросишь?» В кабине двое, тот, что за рулем, простодушно, как бы извиняясь, поясняет: «Тут такое дело, браток, я после «Луча» на Садовое сверну, километр до вашего поворота не доеду. Если не боишься, можешь лесом через запруду к себе выйти». Усаживаюсь в тесную кабину с рюкзаком на коленях: вот она, дорога к дому. Кажется, не еду по ней, а колобком качусь. Через полчаса ступаю сапогами по зернисто-рыхлому снегу в сторону темнеющего леса. Надо же отсюда совсем недалеко дедушкина усадьба, Сенино болото, осины, под которыми стояли ульи пасеки. Мальчишкой были исхожены все здешние стежки-дорожки, лесные уголки. словно по мановению волшебной палочки со мной, случилось то, о чем вчера мог только мечтать. Смеркалось, но в лесу от снегоподножий дорогу хорошо видно. Дубы вдоль нее не просто стоят, они приветно высятся, встречая блудного сына. Вот она – плотина Малкова пруда – любимое место мальчишеских купаний, катаний на коньках и головокружительных съездов на санках с ее крутизны. Дальше надо было пройти безлюдной улицей до нашего оврага, с дубами и зарослями черемухи. На другой стороне его одним рядом деревянных домов вытянулась родная улица. Сладостное нетерпение сердца: скорее, чуть-чуть осталось... и я в раю! Заставляю себя остановиться и, слушая захолоное сердце, шепчу: «Господи, благодарение Тебе! Я у себя, дома... Уже не во сне, а наяву» Вижу его оконца, светящиеся через ветки сада. Знакомая калитка с накиннутым резиновым кольцом вместо крючка, отцовский омшаник под дубами. Утром, сойдя с затертых ступеней вахты, я сделал первые шаги, ведущие сюда. Осталось пройти последние, их, к счастью, совсем немного. Останавливаюсь как перед иконой у незадернуто-

го окна горницы ... Сквозь слезы вижу отца в теплых кальсонах, сидящего с газетой на своей лежанке у печки. Возле его ног, сидя на полу, во что-то играет она, ненаглядная дочура, моя кровиночка... А мама, видно, на кухне – там тоже горит свет. Сколько-то времени стою, плачу, не отрываясь смотрю на них, чтобы до конца дней запрятать в душу незабвенные переживания того мартовского дня. Медленно, не чувствуя ног, поднимаюсь по ступенькам крыльца, останавливаюсь, глажу ладонью знакомую филенчатую дверь. Сняв шапку, трижды перекрестившись, стучусь... «Слава тебе, Господи, за все!..»

## Послесловие

Освободившись с зоны весной 74-го года, я прилетел к Рите в Караганду. Вскоре у нас появилась однокомнатная квартира, и мы забрали к себе Алену. Однако вместе прожили недолго: через несколько месяцев Рите пришлось на целый год уехать в Москву на учебу в аспирантуру. Доченьку нашу снова отправили к бабушке и бабушке в Лесную Поляну, где она пошла в первый класс. К сожалению, годы, проведенные в разлуке, не могли не сказаться: жизнь порознь изменила нас с Ритой. Через два с половиной года мы с ней расстались. В случившемся виню себя одного. Мы условились, что Алену будем воспитывать вместе, и наш разрыв, по возможности, не должен сказаться на ней.

В марте 1977 года я женился на Екатерине Новосад, она училась на филологическом факультете Карагандинского университета и была моложе меня на 10 лет. В декабре 1977 года у нас родился сын Никон, а через 3 года – дочь Анастасия. Пока мы с Катериной жили в Караганде, Алена постоянно проводила у нас выходные, любила нянчиться с братиком, а потом каждый год на зимние и летние каникулы прилетала в Тулу. Рита через некоторое время вышла замуж. Всякий раз, когда они с мужем бывают в России, мы с Катериной принимаем их у себя. Алена с мужем Олегом защитили док-

торские диссертации, у них трое детей: Акиму, будущему врачу, исполнилось 22 года, студентке Александри-не – 20, а Гришеньке – почти 4 годика. Алена с семьей живет за границей. У Никона и Веры двое детей: танцовщице Карине 9 лет, а ее братику Пересвету исполнилось 3 года. Никон после окончания факультета иностранных языков нашел себя в режиссерской работе на телевидении. Верочка закончила физический факультет и аспирантуру МГУ и там же осталась преподавать. Младшая дочь Настенька помимо исторического получила юридическое образование. Они с мужем Юрием ждут ребенка. Радует, что наши дети и внуки общаются и по-родственному любят и поддерживают друг друга.

С 1995 года, будучи магистром богословия, я стал преподавать в Тульском педагогическом институте, вначале на кафедре философии, а затем на кафедре духовного наследия Л.Н. Толстого. В то же время началось мое подвизание к Тульской епархии РПЦ в качестве катехизатора и миссионера. После открытия в 2002 году духовной семинарии, был приглашен для преподавания. Семнадцать лет, как занимаюсь духовно-просветительской работой.

В 2004 году был избран депутатом Тульской областной Думы от патриотического блока «Засечный рубеж – Родина». Через 5 лет меня переизбрали на новый срок, в этот раз от партии «Единая Россия». С 1998 года возглавляю общественную организацию «Духовно-патриотический центр «Колокол», который проводит просветительскую и благотворительную работу. Публикуюсь и выступаю в СМИ. Четыре года назад издал сборник стихопрозы «Оплакивая и утешаясь».

## Завершающее слово

В лагерной жизни, помимо всех тягот заключения, самым страшным, безнадежно непреодолимым было чувство неотвратимости определенного приговором срока наказания. Сейчас невозможно выразить ту душевную жуть, которая подступала всякий раз после сигнала подъема. В осенние сумерки или летнюю рассветную явь обреченно и тягостно душила мысль: «И так будет еще три тысячи утр...»

Когда мордовское зарешеченное инобытие осталось позади, душу стали тяготить навязчивые сны. В их неотразимой подлинности снова и снова я должен был начинать свой девятилетний срок с сознанием роковой его неотвратимости. Однажды в изматывающей одноликости снов о зоне, вдруг пришло совершенно чуждое мне по жизни, но прожигающее душу видение... Проснувшись, я тут же без помарки написал строки, отчасти выразившие полубредовую картину. В ней, как ангелы на иконе, запечатлены две женщины, Мама и Рита, как никто ощутившие на себе тяготы моего срока.

Опять во сне мерещится облава,  
Опять мне жутко, я вжимаюсь в стену,  
Мне ходу нет ни прямо, ни направо, -  
Рывком на левой я вскрываю вену...

Стена шатнулась, спину отпуская,  
В глазах крестами огненными метит,  
Я в темный погреб тихо оползаю,  
И Мама милая фонариком мне светит.  
Закрото дело – я за все ответил!  
А то, что будет, пусть придет с повинной  
К той Женщине, чей льноволосяый пепел  
Усыпал путь мне в райскую долину.

\*\*\*

Ты остаешься, девочка моя,  
Ты почему-то вечно остаешься  
Хрустально-хрупкой осью бытия  
И за глаза ты веточкой зовешься...  
Но в днях моих, поверь, цветет она,  
Та несказанно юная весна.

\*\*\*

## Оглавление

<b>Предисловие</b> .....	<b>4</b>
<b>Глава «Арест»</b> .....	<b>6</b>
«Ту комнатку в доме за старым храмом...» .....	17
Из письма от 19 сентября 1969 года .....	19
Беда («Так трудно начался пресветный октябрь...») .....	19
Из письма от 23 сентября 1969 года .....	20
Заточенье («По рукам и ногам кандалы неподъемные...») .....	22
<b>Глава «Снова в Саратов»</b> .....	<b>23</b>
«Может всё, и не пройду...» .....	23
Из письма от 6 октября 1969 года .....	24
Из письма от 10 октября 1969 года .....	25
«Мне думать о тебе – листать времен анналы...» .....	25
«В горечи разлуки опустели дни...» .....	26
«Ветер. Мрак. Потух огонь...» .....	26
Из письма от 29 октября 1969 года .....	28
Тоска («Мне б камнем разбиться...») .....	30
Из письма от 7 ноября 1969 года .....	30
«Город стал от снега бел...» .....	32
Из письма от 18 ноября 1969 года .....	32
«Так хочется от злой беды...» .....	33
Из письма от 28 ноября 1969 года .....	33
Из письма от 1 декабря 1969 года .....	34
Из письма от 21 декабря 1969 года .....	35
«Я не знал, что леса потемнели...» .....	36
<b>Глава «Мои родители»</b> .....	<b>37</b>
«Не печалься, милый человеке...» .....	40
<b>Глава «Приговор»</b> .....	<b>42</b>
«Предречена минута, когда под медный бой...» .....	44
Из письма от 26 февраля 1970 года .....	45
Из письма от 1 марта 1970 года .....	46
Двенадцатый этюд Шопена («Не помню про начало...») ..	48

Из письма от 28 марта 1970 года .....	50
«Еще березы берегут...» .....	51
Из письма от 11 апреля 1970 года .....	51
Читая Данте («От невозможности связать концы») .....	55
Из письма от 21 апреля 1970 года .....	55
Из письма от 8 мая 1970 года .....	56
<b>Глава «Арестантская одежда» .....</b>	<b>58</b>
Из письма от 22 мая 1970 года .....	60
«Твоя холодность беспощадней пытки...» .....	60
Из письма от 23 июня 1970 года .....	61
«Прости, что я ушел, но за собой оставил...» .....	64
Из письма за июнь 1970 года .....	65
Путь («Ты прости меня, ты прости...») .....	66
<b>Глава «Личное свидание» .....</b>	<b>68</b>
Свидание («Я жду тебя в наскучивших стенах...») .....	71
«Напрасен свет закатного портала...» .....	71
Из письма за июль 1970 года .....	72
<b>Глава «Олег Фролов» .....</b>	<b>74</b>
Из письма от 8 августа 1970 года .....	78
Из письма от 24 августа 1970 года .....	80
Из письма от 12 сентября 1970 года .....	85
Из письма от 1 октября 1970 года .....	86
<b>Глава «БУР» .....</b>	<b>89</b>
Из письма от 20 ноября 1970 года .....	94
Разрыв («Снежинки марта запоздало...») .....	95
<b>Глава «Боженька» .....</b>	<b>96</b>
«Кто в скорбной нежности всех нас теплом дарит...» .....	97
Из письма от 3 декабря 1970 года .....	98
Зов («Перекасти то поле дикое венком...») .....	99
Из письма от 7 декабря 1970 года .....	99
«На удивленье мягкая пороша...» .....	101
«Холодов льдисто-хрусткая ясность...» .....	103
Из письма от 26 декабря 1970 года .....	108

Открытка от 28 декабря 1970 года .....	112
Открытка от 1 января 1971 года .....	113
«Зима, цепenea снегами...» .....	113
Из письма от 5 января 1971 года .....	114
Из письма от 22 января 1971 года .....	120
<b>Глава «Лагерная кормежка» .....</b>	<b>123</b>
Из письма от 10 февраля 1971 года .....	127
«Четыре стены, снегопад за окном...» .....	128
Из письма от 25 февраля 1971 года .....	133
Из письма от 5 марта 1971 года .....	137
Из письма от 30 марта 1971 года .....	141
<b>Глава «Эдик Хямяляйнен» .....</b>	<b>145</b>
Из письма от 9 апреля 1971 года .....	150
Из письма от 20 апреля 1971 года .....	154
Из письма за май 1971 года .....	159
«Ты прошепчи, ты крикни – я приду...» .....	166
Из письма от 7 июня 1971 года .....	166
«Несется солнце за вагоном...» .....	168
Земля отцов («Прикажи умереть...») .....	170
Из письма от 24 июня 1971 года .....	171
«Я жду тебя, медлительный июль...» .....	174
<b>Глава «Мой уголок» .....</b>	<b>175</b>
Из письма от 12 июля 1971 года .....	177
«Пластинка русского романа...» .....	180
Из письма от 16 июля 1971 года .....	180
Из письма от 30 августа 1971 года .....	181
Из письма от 27 сентября 1971 года .....	189
Из письма от 28 октября 1971 года .....	194
«Ты голубкой слетишь на ковчег...» .....	195
Из письма от 10 ноября 1971 года .....	197
Из письма от 12 декабря 1971 года .....	202
Из письма от 23 декабря 1971 года .....	203
Из письма от 27 января 1972 года .....	205

Из письма от 10 февраля 1972 года .....	209
Из письма от 23 февраля 1972 года .....	211
Из письма от 9 марта 1972 года .....	215
«Душа молчит, ей нечего сказать...» .....	219
Из письма от 28 марта 1972 года .....	220
Из письма от 30 марта 1972 года .....	222
Из письма от 3 апреля 1972 года .....	223
Из письма от 8 мая 1972 года .....	225
«Несется солнце за вагоном...» .....	228
Ревность («Твоих улыбок перламутры ...») .....	229
«Моей девочке льноволосой...» .....	230
Из письма от 9 мая 1972 года .....	230
Из письма от 20 мая 1972 года .....	233
«Знаю, сосны есть где-то...» .....	236
«Ночью дрожащие слезы текут...» .....	238
Из письма от 23 мая 1972 года .....	238
«В селе Коломенском – нарядная трава...» .....	239
Из письма от 1 июня 1972 года .....	240
<b>Глава «Водоколонка» .....</b>	<b>242</b>
Из письма («Ах, если б можно было вернуть...») .....	243
Из письма от 3 июня 1972 года .....	244
«От далёкой железной дороги...» .....	245
Из письма от 14 июня 1972 года .....	245
Из письма от 21 июня 1972 года .....	248
«На рассвете ты снова к нему поспешишь...» .....	248
Из письма от 30 июня 1972 года .....	250
«Та ночь неутоленных ласк...» .....	250
Из письма от 8 июля 1972 года .....	250
«Руки твоей не выпуская...» .....	251
<b>Глава «Малая зона» .....</b>	<b>253</b>
Из письма от 31 июля 1972 года .....	256
Из письма от 11 августа 1972 года .....	258
«Мои хризантемы дожили до снега...» .....	259

Из письма от 9 сентября 1972 года .....	260
Осенняя земля	
(«Последние листы, познавши одиночество...»)	262
<b>Глава «Под соснами за сараем» .....</b>	<b>263</b>
«Родная алость губ твоих, дарящих...» .....	266
Из письма от 12 сентября 1972 года .....	267
«На закате, по осени, близость беды...» .....	269
Из письма от 28 сентября 1972 года .....	272
«Ты осчастливила меня своим лицом...» .....	274
Из письма от 5 октября 1972 года .....	274
Из письма от 9 октября 1972 года .....	276
Из письма от 23 октября 1972 года .....	278
Из письма от 9 ноября 1972 года .....	280
«Вселенское соитье снегопада...» .....	281
«Мечтательной зимой очаровался город...» .....	283
Из письма от 24 ноября 1972 года .....	283
Из письма от 21 декабря 1972 года .....	290
«За снежной белесью вагонного окна...» .....	290
Из письма от 5 февраля 1973 года .....	291
Из письма от 5 марта 1973 года .....	296
«Вся непостижная Москва...» .....	298
«Расшибаясь о деревья...» .....	299
Из письма от 6 марта 1973 года .....	300
<b>Глава «Святая Пасха» .....</b>	<b>306</b>
Воскресение («Опять на святцах – русская весна») .....	307
Из письма от 28 апреля 1973 года .....	308
Из письма от 24 мая 1973 года .....	312
Прощание («Последние слова, колес вагонных скрип...») .....	313
Из письма от 9 июля 1973 года .....	315
«Поволокой пасмурного неба...» .....	316
<b>Глава «Мое окно» .....</b>	<b>320</b>
Из письма от 20 августа 1973 года .....	322
<b>Глава «Сестра Галина и брат Михаил» .....</b>	<b>328</b>

Из письма от 25 сентября 1973 года .....	332
Инфанта («Опять мой флюгер повернул на север») .....	334
Открытка от 27 октября 1973 года .....	335
Из письма от 16 ноября 1973 года .....	336
«Где ты, моя большеглазая...» .....	338
<b>Глава «Уединение по случаю» .....</b>	<b>341</b>
Из письма от 26 ноября 1973 года .....	345
Из письма от 5 декабря 1973 года .....	347
«Твой светлый лик таит иносказанья...» .....	348
Из письма от 19 декабря 1973 года .....	349
Из письма от 3 января 1974 года .....	351
«Недолго мне уже осталось...» .....	352
<b>Глава «Молитвы» .....</b>	<b>353</b>
Молитва («Сохрани ее, Боже, в затишье лесов...») .....	354
«Господь мой, бессмертный и крепкий...» .....	356
Из письма от 28 января 1974 года .....	357
Из письма от 11 февраля 1974 года .....	359
Из письма от 7 марта 1974 года .....	360
<b>Глава «Помиловка» .....</b>	<b>365</b>
<b>Глава «Возвращение домой» .....</b>	<b>370</b>
<b>Послесловие .....</b>	<b>374</b>
<b>Завершающее слово .....</b>	<b>376</b>
«Опять во сне мерещится облава...» .....	376

ООО «Имидж Принт», 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70,  
оф. 129, тел. (4872) 35-76-10, e-mail: [post@ppc-ip.ru](mailto:post@ppc-ip.ru)

Тираж 8000 экз. Заказ № 0276/13

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь, [www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)